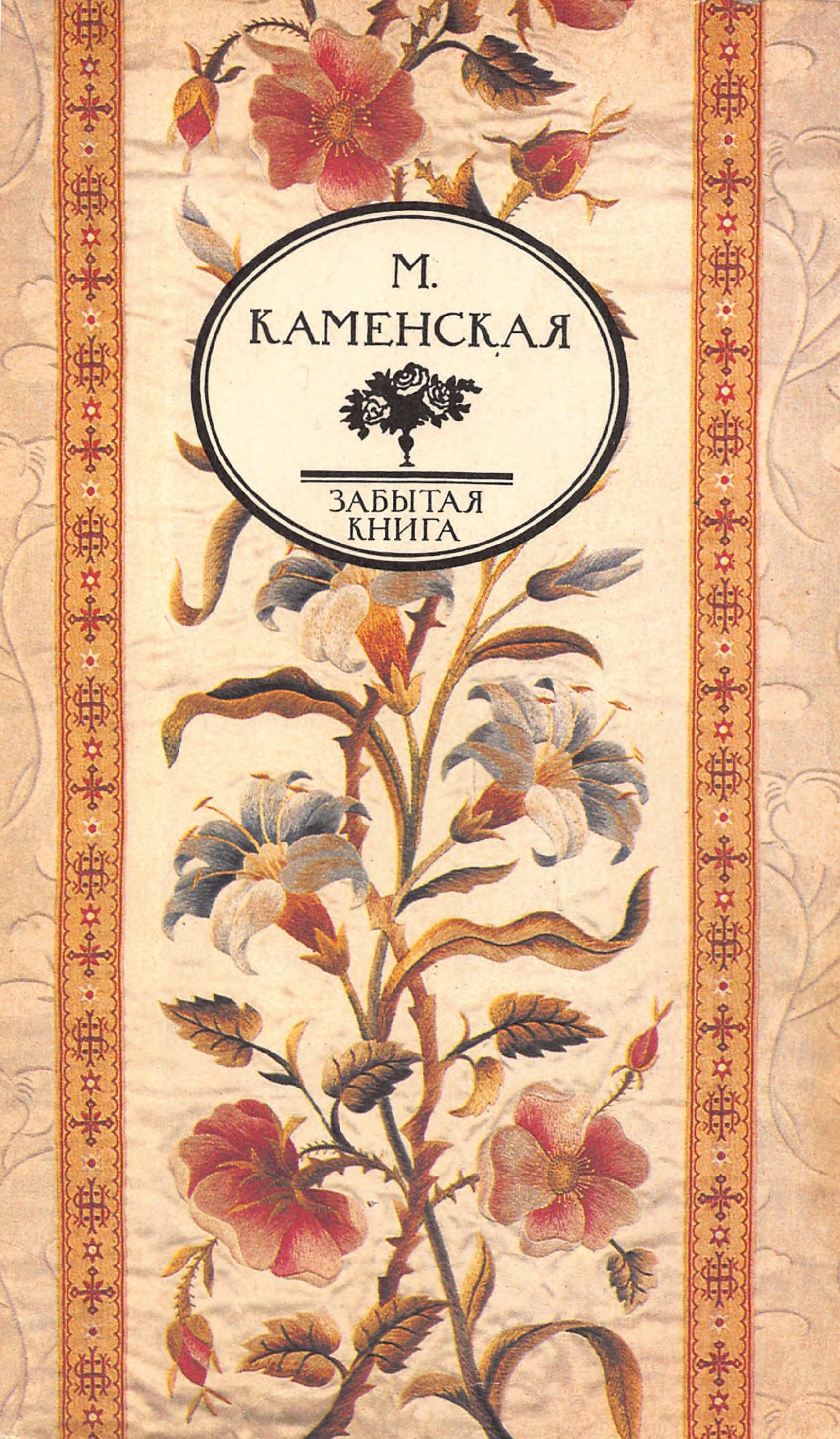

М.
КАМЕНСКАЯ
ЗАБЫТАЯ
КНИГА



ЗАБЫТАЯ
КНИГА

М. КАМЕНСКАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

1894, № 1—10, 12.

М. КАМЕНСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ



МОСКВА
«Художественная литература»
1991

ББК 84Р1
К18

Подготовка текста, составление,
вступительная статья и комментарии

В. М. Боковой

Оформление художника

А. Семенова

К $\frac{4702010101-168}{028(01)-91}$ КБ-3-49-91

ISBN 5-280-01767-1

М. Ф. КАМЕНСКАЯ И ЕЕ «ВОСПОМИНАНИЯ»

«Воспоминания» Марьи Федоровны Каменской (1817—1898) были опубликованы в 1894 году в журнале «Исторический вестник». Оцененные современной прессой как «наиболее интересные материалы по части мемуаров, помещаемых в последнее время в наших исторических журналах» *, они вызвали интерес и у обычных читателей, и у специалистов по истории России первой половины XIX века — историков, искусствоведов, филологов. И вскоре с их легкой руки многие эпизоды и факты из «Воспоминаний» стали кочевать из работы в работу без всяких ссылок на первоисточник.

Между тем шло время, и номера журнала с «Воспоминаниями» делались все менее доступными широкой публике.

В 1930 году известный пушкинист Николай Осипович Лернер предпринял попытку переиздания мемуаров Каменской. Книга была полностью подготовлена к выходу в свет, но по каким-то причинам в последний момент набор был рассыпан и издание не состоялось.

И постепенно, «Воспоминания» М. Ф. Каменской перешли в разряд «забытых» книг. Такая судьба была одновременно и удивительна и понятна. Удивительна, потому что увлекательность воспоминаний и их обращенность к любимой читателями пушкинской эпохе, казалось, должны были обеспечить книге стойкий читательский интерес. Понятна, потому что непоколебимый монархизм автора «Вос-

* Московские ведомости, 1894, № 101.

поминаний» сделал их на долгие годы не вполне удобными для печати. Да и сама Каменская, восхищающаяся Булгариным и Кукольником и как писательница мало известная даже современникам, не вызывала энтузиазма у издателей.

Действительно, М. Ф. Каменская не обрела писательской славы. Но при всем том она была талантливым и литературно одаренным человеком. Эта даровитость заложена в ней едва ли не на «генном» уровне, ибо по рождению она была графиней Толстой — Алексей Константинович был ее двоюродным братом, а Лев Николаевич — троюродным.

Незаурядность, природная одаренность «бродила» в Толстых, у одних находя выход в творчестве (чаще всего литературном, хотя были среди Толстых и художники, и композиторы), у других — в неистовой тяге к собирательству, у третьих же — и таких было особенно много — в эксцентричностях разного рода, от безобидного чудачества и страсти к шутовству до «эгоцентризма и дикости» *, причем эксцентричность вполне могла сочетаться и с творчеством, и с собирательством.

Эта «чудаковатость» родни была замечательно подмечена М. Ф. Каменской. Очаровательная неуклюжесть «дяди Константина», добровольное скоморошество Александра Петровича, потрясающий воображение эпатаж «Американца», неукротимая пылкость Аграфены Закревской, артистическая непосредственность отца — все это схвачено и передано в ее «Воспоминаниях» с подлинным литературным блеском.

Отец мемуаристки, Федор Петрович Толстой (1783—1873),— оригинальный художник, знаменитый медальер, едва ли не первым в России возведший медаль на ступень высокого искусства, вице-президент Академии художеств (1828—1859),— поистине главный герой этой книги. Все знавшие его отмечали необыкновенную разносторонность его личности. Медальер, рисовальщик, скульптор, гравер, живописец; очень недурной механик, слесарь и часовщик; он превосходно жонглировал, фехтовал, ездил верхом (даже брал уроки вольтижировки), танцевал (учился у знаменитого Дидло), писал драмы и прозу, занимался гальванопластикой (и составил учебник по этому делу) и даже мультипликацией; основательно знал физику, химию, зоологию, астрономию, историю, археологию, политэкономию, лите-

---

* Толстой С. Л. Федор Толстой Американец. М., 1926. С. 95.

ратуру. При этом он всегда стремился досконально изучить предмет, дойти до самой сути; во всех ремеслах тщательно изучал технологию, сам делал для себя инструменты, составлял краски. И был он великий труженик: работа составляла для него и содержание, и смысл, и цель жизни.

Чрезмерная одержимость работой тем не менее вовсе не отрывала Ф. П. Толстого от действительности. Он жил полной жизнью, живо интересовался происходящим вокруг и рано начал чувствовать окружающее неблагополучие. Жажда обновления сочеталась у него с неприятием насилия во всех его видах. К тому же как истинный сын своего времени он был воспитан в духе философии Просвещения с его культом Разума, Добродетели и Законности. Личное самоусовершенствование, просветительство и благотворение — вот те пути, которые могли, по мнению Ф. П. Толстого, привести к благодетельным переменам в Отечестве. Его политический идеал не простирался далее ограниченной монархии, возглавляемой просвещенным и, желательно, всенародно избранным монархом,— идеал, также восходящий к философии Просвещения и подкрепленный размышлениями над российской действительностью.

«Отец,— писала младшая дочь Толстого Е. Ф. Юнге,— не был революционером, он всегда был против насилия; он не был и тем, что потом называли «постепеновцем» — не от одного времени ожидал он прогресса, а считал, что всякий по силе и возможности должен способствовать улучшению человеческой жизни и трудом своим, и честным, правдивым словом» *.

Эта установка вовлекла в 1815 году Толстого в масонское движение, где он вскоре достиг довольно высоких степеней, а в 1818 году сделала его членом Союза Благоденствия, в наибольшей степени из всех декабристских организаций носившего просветительский характер. Первоначальная цель Союза — не переворот, а формирование общественного мнения, благоприятного для введения конституции («мнения правят миром»). На членов общества, согласно его устава, возлагалась «обязанность распространения между соотечественниками основных правил нравственности и просвещения, споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия, к коей она самим творцом предназначена».

---

* Юнге Е. Ф. Воспоминания. М., 1914. С. 110.

Цель великолепно соответствовала устремлениям Толстого. «Побудила... меня вступить в благотворительное Общество,— писал он в своих показаниях на следствии,— всегдашняя моя готовность быть полезным всем требующим помощи в нуждах. Не имея никакого понятия о совещаниях и о том, что происходило на оных, я действовал с начала до конца одинаковым образом: помогал, кому мог, давал искренние советы тем, кто от меня их требовал» *. Конечно, утверждая, что ничего не знал о политической стороне деятельности общества, Толстой покривил душой: на заседаниях он бывал и даже на одном из них, поддавшись настойчивости и железной логике Пестеля, подал голос за республиканское устройство для России, что совершенно не соответствовало его искренним убеждениям. Но в основном он был прав: главным для него были просветительство и благотворительность. Поэтому, когда политика в деятельности Союза Благоденствия возобладала, когда радикальные мнения стали брать верх и все настойчивее зазвучала мысль о необходимости переворота, Толстой, не колеблясь, отошел от организации.

Как писала Е. Ф. Юнге, «с декабристами отец разошелся в убеждениях и не хотел ничего знать об их новом обществе: он не верил в возможность осуществления их дел и никогда ни в чем не одобрял насилия, но знакомство с ними он не прерывал и многих из них очень любил. О четырнадцатом декабря он ничего не знал, хотя и виделся накануне с Рылеевым и еще с кем-то...». Пестель «всегда был ему несимпатичен, и влиянию его отец приписывает те крайности, в которые впали декабристы и которые были причиной их гибели» **.

Даже отойдя от общества и не участвуя в восстании, Ф. П. Толстой всю свою жизнь сохранял черты, присущие именно людям декабристского типа: благородство, верность убеждениям, подлинную порядочность, высокое чувство чести, демократизм и внутреннюю свободу. Удивительно, но и по отношению к Николаю I он сумел себя поставить во вполне достойное положение. Как свидетельствовала его дочь, «сила его безыскусственной правдивости влияла даже на Николая Первого. Отец не боялся возражать грозному царю, когда дело касалось его мастерства. Мне известен случай, когда отец при всей свите и всей академии

* Коваленская Н. Н. Художник-декабрист Ф. П. Толстой.// Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 528.

** Юнге Е. Ф. Воспоминания. С. 115—116.

заявил, что «и не подумает» исполнить приказания государя, и, спокойно выдерживая сердитый взгляд Николая, убивавший, как тогда говорили, на месте людей, приступил к изъяснению своих мотивов. К чести императора, дело кончилось тем, что он сказал: «Ну, да тебя не переспоришь, делай как знаешь». Не скрывался Федор Петрович и в своем порицании действий царя и правительства. «Резкие речи иногда доходили до императора; один раз Адлерберг нарочно приехал к отцу и передал ему слова монарха: «Спроси ты, пожалуйста, у Толстого, за что он меня ругает? Скажи ему от меня, чтобы он, по крайней мере, не делал этого так публично» *.

Конечно, наряду с несомненными и блестящими достоинствами Ф. П. Толстому были присущи и недостатки и главный из них — слабохарактерность в бытовых проявлениях — самым печальным образом повлиял в свое время на судьбу его старшей дочери.

В своих «Воспоминаниях» Марья Федоровна старательно избегала разговора о политических пристрастиях отца, а в чем-то заменила их собственными, уже старческими, воззрениями, и это нужно иметь в виду при чтении мемуаров, но самый облик Толстого нарисован с такой любовью и нежностью, «описан так художественно, что,— по свидетельству Е. Ф. Юнге,— читая, я ... вижу его как живого перед собой **.

О детстве и юности Каменской подробно рассказано в «Воспоминаниях». Воспитывали ее в явном соответствии с педагогической теорией Ж.-Ж. Руссо, в свободе и доверии, и в духе присущих ее родителям гуманистических убеждений. Росшая в артистическом кругу, вдали от большого света, она не приобрела и обычных светских пороков, сохранила простоту, естественность и здоровые чувства. По своей красоте она могла рассчитывать на блистательную, по светским понятиям, партию. Но и среда, и воспитание, и пылкое воображение заставляли ее искать не просто героя, но героя романтического. Первым ее избранником стал знаменитый в ту пору драматург Нестор Кукольник, чей блистательный портрет кисти К. П. Брюллова наверняка памятен читателю (длинные, до плеч, волосы, черный глухой сюртук и цилиндр в руках). Возникшее чувство было обоюдным, но увенчаться браком не

---

* Юнге Е. Ф. Воспоминания. С. 119—120.

** Там же. С. 110.

могло: Кукольник был женат, хотя и не слишком афишировал это обстоятельство. Женился он еще до своего приезда в Петербург в 1831 году, а с Машенькой Толстой они познакомились в конце 1833 года. Марья Федоровна либо действительно не знала о жене Кукольника, либо пожелала как-то выгородить дорогого ей человека, но только в «Воспоминаниях» обстоятельства их разрыва окружены таким туманом, что заставляют читателя строить самые разные догадки.

Окончательно вытеснило из ее сердца первую любовь и решило дальнейшую судьбу появление в 1837 году нового героя — молодого беллетриста Павла Павловича Каменского (1810—1871), красавца с черными бархатными глазами, вояку-«кавказца» с Георгиевским крестом в петлице, «друга» и подражателя Марлинского, краснобая, остроумца, певца, танцора и т. д., и т. п. Этот брак стал для Марьи Федоровны источником и большого счастья, и горчайших мук.

Жизнь щедро оделила ее интересными встречами с писателями, художниками, актерами (лишь часть этих знакомств отражена в «Воспоминаниях»). М. И. Глинка дружил с ее мужем и посвящал ей романсы; К. П. Брюллов писал ее портреты и делал с нее эскизы для своей «Осады Пскова»; немолодой уже П. А. Вяземский, встретив ее как-то в маскараде, подарил на другое утро книгу с посвящением:

Прелестному из всех прелестных домино,
Которое желал бы я узнать без маски; но
Нескромностью боясь нарушить тайну маски,
Готов я, если так, покорно, без огласки
Хранить ее как безымянный клад,
Как сон таинственный, на счастие попытку,
Которую, на радость аль на пытку,
Глубоко в душу мне забросил маскарад *.

Мужа своего она очень любила и не переставала любить до самого конца, несмотря на то, что с годами все заметнее проявлялись непривлекательные черты характера Каменского: лживость, хвастовство, слабоволие и совершенно непостижимое легкомыслие. В конце 1840-х годов, с трудом добившись разрешения на заграничную поездку, он уехал в Англию, где при посольстве служил его брат, а оттуда, не сказав никому ни слова и уж точно без вся-

* ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, ед. хр. 919, л. 8.

кого разрешения, махнул в Америку, которую ему внезапно захотелось посмотреть. В Петербурге стали злословить, говорить, что Каменский бросил семью, но он вскоре вернулся... Со службы его к тому времени за просрочку отпуска выгнали, а самовольное путешествие было чревато серьезнейшими неприятностями. Спасло лишь вмешательство самого императора Николая I, которого Марья Федоровна умолила о прощении мужа. Надо сказать, что Николай Павлович вообще очень благоволил к ней и не однажды исполнял ее просьбы.

Позднее, когда Л. Н. Толстой начал работать над повестью «Хаджи-Мурат» и интересовался личностью Николая I, Е. Ф. Юнге по его просьбе записала для него несколько семейных анекдотов, и среди них такой: «Когда сестра моя была уже замужем, Николай Павлович очень ухаживал за ней в маскарадах. Сестра рассказывала, что за ними там всегда ходил по стопам какой-то субъект; раз Николай Павлович заметил его и обернулся к нему, и субъект вдруг исчез, как сквозь землю провалился. Один раз, тоже в маскараде, Николай Павлович говорил ей, что не знает другой такой умной и привлекательной женщины, как она, и вдруг остановился и сказал: «Просите у меня теперь все, что вы хотите, даю вам мое царское слово, что не откажу, что бы это ни было». Она ответила, что не из корыстных видов беседует с ним, что ей ничего не надо. Впоследствии ее горькая жизнь заставила ее не раз прибегать к императору, который один мог помочь ей» *.

Вернувшийся из Америки Павел Каменский оказался, таким образом, без службы, без денег и без дела. Его недолгая литературная известность осталась в прошлом. Со скуки он начал попивать, и в короткий срок его безобидная поначалу склонность к кутежам выродилась в настоящий алкоголизм. Марья Федоровна, с кучей детей на руках, с пьющим мужем оказалась без всяких средств к существованию. Отец помогал, но редко и нерегулярно: еще в 1840 году он женился на Анастасии Ивановне Ивановой (1817—1889), ровеснице своей дочери. Молодая мачеха, женщина энергичная, властная и жестковатая, падчерицу невзлюбила, и семья Каменских тогда же принуждена была оставить квартиру Толстых в Академии. Слабохарактерный Федор Петрович, быстро подпавший под влияние жены, не препятствовал этому шагу, хотя мучился потом вынужденной разлукой с любимой дочерью. С тех пор Марья

---

* Юнге Е. Ф. Заметки о Николае I.//*ЛН*, т. 37—38. С. 648.

Федоровна даже видалась с отцом лишь украдкой, изредка приходя к нему прямо в кабинет по черной лестнице.

Дальнейшая жизнь Каменских сложилась безрадостно: муж пил, с большою ловкостью занимая повсюду деньги, и просто пропадал из дому, и тогда кое-кто видел, как он, грязный и оборванный, просит на улицах подаяние. Потом он возвращался, переставал пить на месяц, на два, на год, даже устраивался на службу, но вновь срывался, и все начиналось сначала. Марья Федоровна заботилась о воспитании детей, которых, к счастью, удалось пристроить в казенные учебные заведения (детей в семье было шестеро, еще четверо умерли в младенчестве), и, как умела, зарабатывала на жизнь: писала и печатала в журналах стихи, прозу, драмы, продавала свое рукоделие... Друзья и родственники по мере сил помогали ей. Кузен, известный писатель Алексей Константинович Толстой, хлопотал о публикации ее сочинений, о пособиях из литературного фонда. «Мне достоверно известно,— писал он в марте 1868 года литератору и путешественнику Е. П. Ковалевскому,— что она находится в крайней бедности. Если Вы, глубокоуважаемый Егор Петрович, возьмете на себя, по предоставленному Вам праву, помочь ей из Литературного фонда собственным Вашим распоряжением, не дожидаясь исполнения формальностей, и поможете ей сегодня или завтра — Вы этим окажете ей и семейству ее благодеяние» *. По распоряжению Ковалевского, Каменской выдали в тот раз 50 рублей, а затем, когда формальности были исполнены,— еще 75.

Но эти обстоятельства, как ни удивительно, не влияли на атмосферу любви, которая царила в семье Каменских. Известный юрист В. И. Танеев в свои молодые годы, в конце 1850-х годов, наблюдавший за их жизнью, позднее с нескрываемым раздражением вспоминал:

«П. П. Каменский был человек лет под 50, крепкий, бодрый на вид, но на самом деле совершенно разрушенный пьянством. Он редко терял сознание, но он постоянно пил... просто голый спирт... Главными его пороками были ложь и хвастовство. Он постоянно лгал и постоянно хвастал своим умом и своей красотой. Жена его... была действительно достойная женщина, добрая, порядочная, умная. В молодости она была красавицей и была привлекательная и теперь, несмотря на свои сорок лет, высокая, стройная, с поднятой

---

* Памятники культуры. Новые открытия. 1979. М., 1981, с. 104—105.

головой, с правильными, красивыми чертами лица. У нее было два недостатка: стремление быть писательницей и излишняя любовь к мужу, который совсем не стоил ее любви. Она писала плохие драмы... плохие романы... и очень дорожила ими. В молодости она была страстно влюблена в своего мужа и сохранила эту любовь до последних дней. Она постоянно хвалила его ум, его талант, его красоту... Все их дети были необыкновенно красивы, как только могут быть красивы дети красивых родителей... Семейство Каменских было кругом в долгу. Чем они жили, как ухитрялись, я никогда не мог понять. Никто из них никогда ничего не делал. Они жили в совершенной праздности. Единственным их занятием в течение дня было хвалить друг друга. Родители хвалили своих детей, удивлялись их уму и красоте, удивлялись уму и красоте друг друга. Дети хвалили своих родителей, удивлялись им и удивлялись друг другу...» *

В 1871 году П. П. Каменский умер. Через несколько лет его вдову пригласили «состоять» при детях великого князя Владимира Александровича и смотреть за его дочерьми и за их гувернантками. Ей было положено жалованье в 1000 рублей в год, казенная квартира и экипаж. В. Н. Куликова, знакомая М. Ф. Каменской, писала о ней в эти годы: «Она очень довольна своей службой, хотя говорит, что интриги во дворце без конца и что надо иметь много энергии и силы воли, чтобы переносить все это» **.

Последние годы Каменская прожила в семье одного из младших сыновей — Гавриила Павловича Каменского (1853—1912) ***. Ей было еще суждено похоронить троих своих детей: в 1886 году, тридцати девяти лет от роду, умерла Мария, в 1891 — скончался Федор, а в 1893 — Анна. Анна Павловна, в первом браке Карлинская, во втором — Барыкова, еще и при жизни своей доставляла матери немало огорчений: известная поэтесса, она в начале 1880-х годов поддерживала связь с южнорусскими народовольцами, сотрудничала в нелегальной печати, а в 1884 году в связи с делом Г. А. Лопатина была арестована в Ростове-на-Дону и месяц провела в тюрьме.

После смерти Анны Марья Федоровна несколько месяцев

---

* Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем. М., 1959. С. 377—379.

** ЦГАЛИ, ф. 819, оп. 1, ед. хр. 287, л. 123 об.—124.

*** «Это идеально прекрасный тип русской старухи — цельный и оригинальный»,— писала в 1889 г. о матери А. П. Барыкова (Ефремин А. А. П. Барыкова. М., 1934. С. 12).

была тяжело больна, а когда поправилась, приступила к последней в своей жизни большой литературной работе.

Ее наследие как писательницы не слишком велико: несколько стихотворений, две стихотворные сказки, четыре пьесы, три рассказа, три романа. Почти все написано в промежутке между 1850 и 1862 годами. Один из романов (видимо, «Бабушкин внук») писался во второй половине 1860-х годов и долгое время оставался неопубликованным. Ни поэзия, ни драматургия Каменской успеха не имели. Стихи ее современная критика (включая Н. А. Добролюбова) оценивала неизменно отрицательно, пьесы ставились, но публика принимала их холодно. Более удачна была ее проза, но и она не поднималась над тогдашним средним журнальным уровнем. Писательнице превосходно удавались характерные персонажи, она умела написать диалог, интересно пересказать где-то услышанный или подсмотренный анекдотичный либо необычайный случай — всё качества незаменимые для мемуариста, но зато она совершенно не умела построить сюжета, не владела композицией, а уж о передаче психологии героев и говорить не приходилось, их нравственное перерождение совершалось мгновенно и зависело только от извивов фабулы. В результате романы Каменской распадались на множество более или менее забавных и увлекательных эпизодов, и большинство из них имело мемуарную основу. Будущие главы «Воспоминаний» обыгрывались в беллетристике, затем многократно обкатывались в устных рассказах (а рассказчицей Каменская, по воспоминаниям ее знакомых, была превосходной) и наконец в начале 1890-х годов она принялась их записывать.

Эти наброски воспоминаний увидел в 1893 году давний знакомый Марьи Федоровны, известный писатель Д. В. Григорович, и с его помощью старая писательница снова «вышла в свет». В 1894 году популярная «Нива» напечатала давно лежавший без дела роман «Бабушкин внук», а на страницах «Исторического вестника» стали публиковаться «Воспоминания».

Марья Федоровна с большой ответственностью отнеслась к работе над этой книгой. Был открыт заветный шкафчик, где хранились старые письма, альбомы, деловые документы *, все это пересмотрено, перечитано, наброски «Воспоминаний» приведены в порядок, и в первые три номера журнала было передано сразу пять глав. Остальное еще предстояло написать,

* Архив М. Ф. Каменской, как и рукопись «Воспоминаний», погиб при пожаре.

и Каменская взялась за дело с рвением, и на протяжении почти всего года непременно выдавала по главе для каждого нового номера.

Погружение в прошлое давалось нелегко: воспоминания волновали и мучили ее, за работой она смеялась и плакала, потом начались ночные кошмары, бессонница. Сын и невестка следили за матерью с тревогой, и когда та начала заговариваться, категорически потребовали прекратить работу. Одиннадцатый номер «Исторического вестника» вышел без «Воспоминаний», а в двенадцатом — появилась последняя коротенькая глава, кое-как доведенная Марьей Федоровной до годов ее замужества.

Многое из задуманного и обещанного осталось неосуществленным, текст местами сохранил следы спешки, недостаточно литературно отделан, встречаются и фактические ошибки,— но и в таком виде «Воспоминания» М. Ф. Каменской стали значительным явлением русской мемуарной литературы.

Главная их ценность, несомненно, историко-бытовая. Быт вообще, а тем более быт русской художественной интеллигенции первой трети XIX века, да еще переданный с такою красочностью и обилием деталей,— чрезвычайная редкость в нашей мемуаристике. А ведь среди героев книги не только художники, но и писатели, и актеры, многие из которых составляли гордость своего времени. Время же это то самое, «пушкинское», столь дорогое сердцу читателя, и Каменская проводит нас по нему хотя и мельком, но показав все самое заметное и примечательное. Хоть одним глазком, да заглянет она и в деревню, и в людскую, и в купеческое жилище, и в дворянский дом, и в великосветский салон, и в храм, и в театр, и на бал, вспомнит и об Отечественной войне, и о наводнении 1824 года, и о восстании на Сенатской площади, и о холере, и о смерти Пушкина, и об открытии Александровской колонны, расскажет, что ели, как одевались, у кого причесывались, что танцевали, на чем ездили, где и как развлекались, чем лечились ее современники (и между прочим, выведет на сцену целую галерею тогдашних «экстрасенсов» и целителей, что тоже небезынтересно для наших дней).

И еще нельзя не обратить внимания на высокую духовность книги, на удивительно чистый, добрый, не замутненный ни злобой, ни раздражением взгляд на людей и события. Эту чистоту и доброту не исказили ни возраст, ни пережитая, далеко не легкая и не щадившая автора жизнь.

Конечно, есть множество мемуаров глубокомысленнее и солиднее, «Воспоминаний» М. Ф. Каменской, но не так много найдется таких, что оказались бы занимательнее. Читаешь их поистине «на одном дыхании».

И перелистывая эти густо заселенные разноликими и разнохарактерными персонажами страницы, читатель наверняка не раз улыбнется и не раз взгрустнет вместе с автором, чтобы после, встретив в каких-нибудь других, серьезных, «больших» мемуарах имя Толстого-Американца или Павла Каменского, Александры Михайловны Каратыгиной или коварной Турчаниновой, или еще кого-нибудь из многочисленных героев этой книги, «узнать» их и принять как старых и добрых знакомых. А закрыв книгу, наверняка почувствует, что в чем-то лучше и ближе узнал это столь далекое от нас «доброе старое время».

В. Бокова


ВОСПОМИНАНИЯ

I

Дед мой граф Петр Андреевич Толстой.— Бабушка Елизавета Егоровна.— Мой отец.— Обнаруженная им с детства страсть к художеству.— Нянька Матрена Ефремовна.— Марья Степановна Дудина.— Ф. Й. Прянишников и Н. С. Кожухов.— Оригинальная свадьба моего отца.— Моя мать.— Рождение сестры Лизы

Давно собиралась я написать мои воспоминания. И материал для них у меня собран и лежит наготове, только бы приняться за работу... А все что-то не писалось!.. Не потому ли, что в ту пору я жила больше жизнью других, дорогих мне существ, чем своей. Но теперь милая старина в памяти и сердце начала сильно всплывать наверх... и захотелось мне на старости лет, хоть на бумаге, снова пережить мое хорошее прошлое.

Память моя, слава Богу, еще мне не изменила, и, как у всех старых людей, чем дальше от меня события, тем крепче они сидят в голове моей, тем яснее видятся глазам моим... О том же, что было еще до меня, буду рассказывать со слов отца моего, матери, дядей, теток и нянюшки отца моего, Матрены Ефремовны, которая приняла отца моего, графа Федора Петровича Толстого *, на руки в день появления его на свет Божий и рассталась с ним, когда, 90 лет от роду, умерла, и он сам с почестью проводил ее на Смоленское кладбище.

Не надо думать, что со слов простой няньки я могла напутать и наговорить небывальщину,— нет! Эту Матрену Ефремовну с наслаждением слушали литераторы мое-

* Бывшего потом вице-президентом Академии художеств. (*Примеч. автора.*)

го времени и, выйдя из ее комнаты, говаривали: «Это не старуха, а живая книга». А уж семью-то своих господ знала она, как свои пять пальцев, и потому для записок моих будет великое подспорье.

Не хочется мне начинать мои воспоминания с себя, с моего детства и юности. Я не знаменитость, и мне это совсем не по чину. Да и для ясности моей будущей болтовни лучше будет, если я поговорю прежде о тех, кто жил до меня, кому я обязана жизнью. Начну с человека, который первый врезался в мою детскую память, с обожаемого мною деда моего, графа Петра Андреевича Толстого.

Отец моего отца, граф Петр Андреевич Толстой, родился в 1746 году и был правнуком сотрудника великих дел Петровых, тайного советника Петра Андреевича Толстого[1], которому Петр I, перед смертью своей, пожаловал графское достоинство.

Дед служил при Екатерине II генерал-кригс-комиссаром[2] и за усердную службу свою и необыкновенную честность был взыскан милостями государыни. Он был человек не богатый: судьба, как видно, очень мало положила ему под подушку. Теперь даже трудно поверить, чтобы родной правнук Петровского любимца Толстого, у которого было несколько тысяч душ крестьян, мог быть не богатым человеком... Так помнится этот прадед дипломатом, царедворцем и богачом, что забывается превратность его судьбы; забывается, что за сопротивление свадьбе Петра II с дочерью Меншикова[3] он был лишен всех прав состояния и сослан в Соловецкий монастырь, что имения были у него отобраны в казну, и наследникам его, уже при императрице Елисавете Петровне, были возвращены только 2 000 душ, которые и раздробились впоследствии на весь плодовитый род его. Вспомнишь все это и поймешь, отчего дедушка мой был не богатый человек..Да и старики наши Толстые часто говаривали: «Из нашего рода богатых нет никого; только те и богаты, которые поженились на богачихах»... А дед и женат-то был на бедной, стало быть, и достатка ему неоткуда было взять, а пользоваться ради наживы случаями в жизни он не хотел. В пример тому вот один случай, в котором дед мой оплошал по понятиям человеческим. Во время службы его кригс-комиссаром, в комиссариате загорелась комната, в которой была касса. Граф бросился туда, с опасностью жизни спас казну и всю в целости представил начальнику, фамилии

которого я не знаю, а слыхала только, что он был другом моего деда. Пораженный поступком графа, начальник выслал всех из кабинета, притворил дверь и сказал:

— Дурак ты, граф Петр Андреевич, чистый дурак!..

— За что ты ругаешься? — спросил удивленный граф.— Ведь тут все цело!..

— Знаю, знаю, батюшка, что у тебя все цело... Да вот оттого-то, что все цело, ты и дурак! набитый дурак! Огня-то, братец ты мой, мы считать бы не стали, что-нибудь, наконец, да могло бы сгореть... Жаль мне тебя, братец, жаль! Будешь ты беден всю свою жизнь.

В 1796 году скончалась императрица Екатерина Алексеевна, а с нею закатилась и счастливая служебная звезда графа Петра Андреевича. В первые же дни воцарения императора Павла I дед был отставлен от службы. Причина этой немилости, предполагают, была следующая.

Павел Петрович, будучи еще наследником (нуждаясь, вероятно, в деньгах), прислал однажды к деду моему нарочного с просьбою одолжить его высочеству заимообразно из кассы комиссариата известную сумму денег, на что граф, хоть и предчувствовал свою будущую участь, но, по строгому в то время запрету императрицы Екатерины, принужден был отказать. Получив отрицательный ответ, великий князь очень разгневался и сейчас же послал своего нарочного обратно к графу с таким приказанием:

— Поезжай и скажи ему, чтоб он это помнил!..

Дед мой в молодые годы женился на бедной девушке Елизавете Егоровне Барбот. Бабушка моя была немка родом, умная женщина, прекрасная мать и большая рукодельница. И если бабушка не умела рисовать кистью, то она производила иголкой и шелком по полотну «à petits points» * такие пейзажи и цветы, что им дивиться надо. Это и я могу подтвердить, потому что работы ее сохранились у меня до сих пор. Сверх этого, бабушка, любя без памяти маленьких детей своих, за неимением средств покупать им часто игрушки, делала их сама; особенно хорошо выходили у нее кареты екатерининского времени: так хороши были эти кареты, что их даже приезжали смотреть как редкость. Знаменитый каретник того времени попросил тоже позволения видеть работу

---

* «мелкими стежками» (*фр.*).

графини. Когда ему показали, он пришел в неописанный восторг и сказал:

— Графиня лучше меня делает экипажи.

Кажется, не было работы, которой бы не умела делать бабушка; она даже плела из соломы шляпы на манер итальянских. Все эти искусства она передала дочерям своим. Бабушка была художница в душе, и ее только влиянию надо приписать то диво, что в те времена в графской семье мог развиться такой художник, как мой отец.

У бабушки и деда моего было семь человек детей: пять сыновей — Александр, Владимир, Константин, Федор (отец мой) и меньшой Петр, и две дочери — Вера и Надежда. О них я поговорю после, а теперь мне хочется поскорее перейти к моему отцу.

Отец мой родился в 1783 году, 10-го февраля, в С.-Петербурге. До сих пор я с особенною любовью смотрю на два первые окна от дома Юсупова в бельэтаже Комиссариата. Это была комната бабушки моей, родина моего дорогого отца! Как часто он рассказывал мне, что Екатерина II, катаясь в санях, почти всякий день проезжала мимо этих окон, кивала ему головой и рукой посылала поцелуи...

По особой ли милости или по обычаю того времени — не знаю, только отца моего при крещении уже записали сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк. Никому в то время невдомек было, что этот младенец, с пеленок обреченный быть воином, родился художником в душе... Подрастая в родной семье, отец мой составлял исключение из детей и игрушками не играл; его игрушками были бумага, карандаш, краски, и он пачкал ими с утра до вечера... Сколько этих первых рисунков сохранилось у меня до сих пор! [4] По ним тогда же можно было догадаться, что ребенок рожден художником, и без всяких мытарств следовало бы прямо отдать его в Академию художеств. Но тогда это было немыслимо. Отдать графского сына в Академию художеств было почти равносильно тому, как отдать его в мальчишки к сапожнику [5] или в науку к портняжке. Матрена Ефремовна, няня маленького графа, вся до мозга костей пропитанная знатностью и важностью господ своих, была очень недовольна страстью маленького графа к рисованию.

— Да, мать моя,— говорила она мне про детство отца,— мучение истинное было с твоим отцом. Еще

пузырь-пузырем был, а как вопьется в свое проклятое рисование, так никаким родом его не оторвешь. Рисует, рисует до тех пор, пока грех с ним не случится... И ведь какая хитрая бестия мальчишка был: не успеешь, бывало, глазом мигнуть, а он уж из детской исчез... Смотришь, а он преважно идет назад, а у самого по штанишкам салфетка повязана, и как дельный какой говорит:

— Няня, я хочу в повара играть.

Уморительно то, что Матрена Ефремовна, кажется, до конца жизни не забыла и не простила отцу этого преступления. Ему было уже за 50 лет, а ей и все 80, и если он, как-нибудь заработавшись, забудет зайти к ней утром поздороваться или вечером проститься, то она уже непременно попрекнет его словами:

— Что не зашел вчера? Заважничал, нос задрал... А давно ли в повара играл?!..

Да и не она одна, а и вся родня отца, по понятиям того времени, косо смотрела на страсть маленького графа к художеству. Маленький граф-художник безапелляционно должен был быть военным. И, видно, старшие добились своего, если биография отца гласит, что он десяти лет от роду уже гарцевал на коне рядом с фронтом.

Первое научное образование свое отец мой получил в славившемся тогда Полоцком училище. В 1798 году, пятнадцати лет от роду, он был определен в морской корпус [6]. По выходе оттуда, в 1804 году, по высочайшему повелению, отец был назначен адъютантом к министру морских сил, вице-адмиралу Чичагову. Но тут морская служба его и кончается, во-первых, потому, что он не мог выносить морской качки, а во-вторых, потому, что непобедимая страсть тянула его в художественный мир... Выйдя мичманом в отставку [7], он тотчас же стал посещать классы Академии художеств. И с тех пор ни гонение судьбы, ни бедность, ни нужда, ни косые взгляды аристократической родни не могли уже его свернуть с любимого, избранного им пути. И кому у нас на Руси и даже в Европе не известно, до какого совершенства дошел наш русский художник-самородок, граф Федор Толстой?! Как медальер, гравер, акварелист, живописец и скульптор, он во всех разнообразных родах своей художественной деятельности составил себе равносильную славу.

Читая его биографию, недоумеваешь, как один человек в одну только жизнь мог столько наработать, сколько наработал мой отец. А сколько истинного добра он сделал за свою 90-летнюю жизнь, так этого и не перечесть...

Много написано биографий отца, в которых говорится подробно об его служебной и художественной деятельности и потому не буду повторять уже столько раз написанного. Мне хочется поговорить об отце моем, как о человеке, как о семьянине, в домашнем быту его; тем более, что во всех биографиях его пропущено то время, когда он был женат на матери моей. А это-то и было именно то время, когда отец был в полной своей силе и когда в дом его стекались литераторы, художники и музыканты, словом, вся интеллигенция того времени.

Сделавшись художником, отец мой стал жить отдельно от дедушки.

Нянюшка Матрена Ефремовна не хотела расстаться с своим воспитанником и тоже переехала от старого графа на вольную квартиру. Посещая классы Академии художеств, отец сделал такие быстрые успехи, что обратил на себя внимание государя Александра Павловича и в 1806 году определен был в Эрмитаж с жалованьем 1500 рублей ассигнациями в год. Холостому графу с нянюшкой Матреной Ефремовной на эти деньги жилось хорошо и даже роскошно. Вырвавшись на свою волюшку, юный отец мой нанял себе хорошенькую квартиру в угловом доме у Цепного моста (близ Летнего сада), в нижнем этаже, и разукрасил уголок свой чисто художнически... Кажется, его очень тешило то, что на его артистическую обстановку ходили заглядывать в окна разные дамочки. Верно, не на одну обстановку ходили смотреть они, а больше на самого юного художника, красавчика, со светло-русыми кудрями, в черной бархатной блузе. Но отец мой, вероятно из скромности, об этом умалчивал [8].

Матрена Ефремовна царствовала в доме воспитанника своего деспотически: жалованье его отбирала до копейки и распоряжалась всем по своему усмотрению. Кормила графа сладко и одевала хотя по его вкусу, но по-барски. И надо отдать ей справедливость, что все это она делала дешево и сердито. Но бедную старуху ожидал удар: ее возлюбленный графчик стал запропадать от Цепного моста... К великому ее горю и злости,

граф познакомился с будущей моей бабушкой, вдовою коммерции советника [9] Дудиной.

Марья Степановна Дудина была милая, добрая женщина. Рано овдовев, она доживала последние крохи, оставшиеся после смерти мужа, покоя последние дни 80-летней матери своей, Евфимии Ермиловны Макшеевой, и растя и воспитывая семь человек сирот: трех сыновей и четырех дочерей. Старшие дети, Екатерина и Александр, росли еще при жизни отца, когда было больше средств, и потому получили хорошее образование, а всем меньшим пришлось учиться на медные гроши. Видно, трудны были в то время обстоятельства бабушки моей, если она принуждена была совсем взять из пансиона вторую дочь свою, Анну, когда ей было только 14 лет. Но умная, дельная девочка от этого ничего не потеряла: она продолжала с помощью старшей сестры заниматься дома, а когда сестру ее выдали замуж, пристрастилась к чтению и сама окончила свое образование. Мария Степановна тогда сама существовала только тем, что, живя в остававшемся ей после мужа собственном доме, отдавала маленькие квартирки со столом, работала и продавала свою работу. В числе ее жильцов-нахлебников были два молодые, еще неоперившиеся, почтамтские чиновника: Федор Иванович Прянишников, впоследствии главный начальник почт, меценат и страстный любитель изящных искусств, после которого осталась замечательная коллекция картин, и другой — Николай Степанович Кожухов, впоследствии московский почт-директор. Этот даже породнился с бабушкой, женясь на ее родной племяннице Александре Ивановне Яковлевой. Кстати, чтобы не забыть, расскажу, что мне передавала бабушка о своих жильцах.

«Оба милые, прекрасные молодые люди были, я их очень любила. Только пугали же они меня и детей, злодеи!.. Прянишников смолоду лунатик был: как ночь, и пойдет катавасия, начнет ходить, петь, целые обедни ведь служил... А Кожухов трусишка был страшный! Как только услышит, что Федор Иванович в своей комнате заколобродил, сейчас вскочит, схватит со стены ружье и давай бегать с ним по всему дому, как ошалелый, и кричит: «воры, воры, караул, помогите!» И ведь знал, перезнал, кажется, что это в припадке лунатизма друг его возлюбленный поет. Ан, нет! Как один запел, другой — за ружье! Такие странные были! Душа в пятки

уходила. Все думалось: ну, как выстрелит... Да нет, куда! он сам, кажется, своего ружья боялся».

Прянишников и Кожухов оставались всю жизнь свою неразрывными друзьями. Я упомянула теперь про этих лиц потому, что они тоже часто будут попадаться в моих рассказах.

В то время, когда мой отец познакомился с семейством Дудиных, Мария Степановна еще жила на Васильевском острове, в 9 линии, в своем доме, из ворот в ворота с церковью Благовещения. При доме ее был громадный сад с столетними деревьями и большим прудом. Отец, часто вспоминая о счастливых годах того времени, вспоминал дом и сад бабушкин и рассказывал мне, что сад был так велик, что проходил насквозь все пространство от 9 до 10 линии и там заканчивался глухим забором. Представьте себе, этот дом, весь построенный из дуба, живехонек до сих пор. Но, увы! от сада не осталось ни деревца. Переходя от покупателя к покупателю, чудный сад застроился целым кварталом домов... А прочно, видно, тогда строили: сколько с тех пор провалилось новых каменных домов, а он, старенький молодец, все стоит невредим!

В 1809 году семейство Марии Степановны Дудиной состояло из матери ее, слепой Евфимии Ермиловны, 17-летней дочери Анны *, дочери Марии, девочки лет 15-ти, и младшей дочери, еще ребенка, Сашеньки (старшая, Екатерина Федоровна, в это время уже была выдана замуж за харьковского прокурора Петра Яковлевича Любовникова), сына Александра Федоровича, прелестного молодого человека, который тогда был уже на службе, среднего, юноши Федора, и меньшого мальчика Алеши. Все дети Марии Степановны были очень красивы собой, но лучше всех, грациознее, умнее и добрее была вторая дочь Анна Федоровна. Вот она-то и была причиной частых исчезновений юного художника из квартирки его у Цепного моста. Отец увидел прелестную Анну, или Annette, как звали ее в семье, сердце художника растаяло, он влюбился в нее без памяти, она в него тоже, и в том же году они обвенчались.

Можно себе вообразить, в какую несказанную ярость пришла няня Матрена Ефремовна, когда отец мой сказал ей, что он посватался за дочь коммерции советника Анну Федоровну Дудину. Все лицо старухи от злости

---

* Впоследствии моей матери. (*Примеч. автора.*)

покрылось пятнами, и с пеной на губах она едва могла выговорить:

— Кто ты? Скажи мне, кто ты? Граф али нет? Коммерции советница!.. Купчиха, значит? Купчиха Дудина... Хуже-то, видно, не нашел? Что, свет-то для тебя клином сошелся, что ли? Ни одной ни княжны, ни графини не осталось? Коммерции советницу подцепил! Важную птицу, нечего сказать!.. Так знай же ты, что я твоей купчихе не слуга!.. И тебе не слуга!.. Уйду, уйду, и видеть ее не хочу!

Отец тоже вспылил, перебранились тут два сердечные друга не на шутку, и Ефремовна точно, не дождавшись свадьбы отца, ушла жить к брату его, графу Владимиру Петровичу. Но, видно, после положила гневна милость, потому что я помню ее, как только начала сознавать себя, всегда непременным членом нашей семьи. Но, кажется, на неравность брака графа с дочерью коммерции советника она не переставала негодовать до самой смерти своей. И хотя графиня была необыкновенно добра к няне своего мужа, Ефремовна все-таки за барыню ее не почитала и относилась к ней всегда холодно и важно. Должно быть, доброта и ласковость Анны Федоровны именно и не нравились старухе; по ее мнению, графине такой быть не подобало. На вкус, видно, товарища нет: совсем иначе смотрел на доброту маменьки старик-разносчик, который, на моей уже памяти, носил ей на дачу разный товар: торгуется она, бывало, с ним, а он ей шуточки-прибауточки отпускает. Раз болтал, болтал, да вдруг серьезно и сказал: «Матушка ты моя, белая барыня! Какая ты важная и какая ты добрая!.. А у другой, у шельмы, полторы души с надставкой, а поди-ко, как рыло воротит»...

Моя мать была статна, прелестна собою, по тому времени прекрасно образованна, великая рукодельница и даже немножко художница: она рисовала пером с гравюр так хорошо, что ее рисунки и теперь даже многие принимают за самую тонкую гравюру. Да это все ничего; она помогала мужу в его трудах; например, делать алебастровые снимки с медалей 1812 года было очень трудно, потому что фон должен был быть голубой, а фигуры белые. Хорошо, без пятен на фоне, умел отливать их только сам отец мой. Но чтобы избавить художника от чисто механического труда, маменька научилась этой премудрости и всегда отливала их сама. А когда отец хотел послать экземпляр своих медалей в дар кому-нибудь

из высокопоставленных лиц за границу, мать моя оклеивала их изящнее всякого переплетчика... Даже нужные бумаги и письма за отца на французском и русском языке сочиняла и писала она же. А главное, своею пластическою, античною красотою она влияла на вкус отца. Я даже могу доказать это: возьмите поэму «Душенька» Богдановича, иллюстрированную гравюрами графа Федора Петровича Толстого [10], разверните ту страницу, где Душеньке в подольчик яблочки валятся сами... Это моя мать с ее грацией, с ее прелестным выгибом шеи! Мне-то уж как не узнать ее! Да, влияние маменьки моей во всех женских фигурах, исполненных отцом в ее время, неоспоримо. Отчего же после, под старость отца, когда испарился из памяти образ когда-то любимой женщины, все женские фигуры у него стали выходить далеко не так античны, как прежде! Вот хотя бы «нимфа, льющая из кувшина воду» [11], что стоит в Петергофе на пруде: талия у нее непомерно длинна и тонка. Да и в альбоме отца все женщины, нарисованные за последнее время, отличаются тем же недостатком, оттого, что то, что постоянно перед глазами художника, невольно запечатлевается в его мозгу, а мозг водит его кистью и резцом...

Вот еще этому пример — знаменитый рисовальщик профессор Егоров: у него тоже все Богородицы выходили — жена его Вера Ивановна, а все ангелы — старшая дочь его Наденька. Видно, что от этих впечатлений даже знаменитым художникам отбиться трудно!.. Мать мою во всех биографиях графа пропустили, точно она и не существовала; хоть бы вспомнили, что она вдохновляла мужа своего в то время, когда юный талант его быстрыми шагами подвигался вперед, в то время, которое Пушкин обессмертил стихом:

Толстого кистью чудотворной [12]...

Однако я забежала далеко вперед, а мне еще надо описать оригинальное брачное торжество моих родителей. Вот как оно совершилось: в один прекрасный день из ворот дома Марии Степановны Дудиной молодой, сияющий счастьем мичман в отставке вывел за руку свою невесту, свою обожаемую Аннету... На нем был его неизменный морской мундирчик, на непокрытой голове развевались кудри... На ней было простое белое коленкоровое платье, да из своего сада венок из жи-

вых цветов на голове. Держась рука с рукой, они пешком перешли через улицу и вступили в храм Благовещения, где Бог судил им соединиться навеки... За ними следовали шафера, братья и сестры невесты, да несколько человек закадычных друзей отца моего и бабушки. Из церкви молодые и провожатые их вернулись в дом бабушки опять-таки по образу пешего хождения... Ни парадного обеда, ни бала в этот день не было. Пообедали запросто, чем Бог послал, и молодежь разбрелась по саду, поливала цветы, чистила дорожки, каталась в лодке по пруду и под вечер бегала в горелки на большом круглом лугу против дома... Как просто! а сколько тут было настоящей, чистой, святой любви!..

А как хороши были в то время эти молодые счастливцы! Так, говорят, хороши, что, когда они под ручку гуляли по мосткам Большого проспекта, во всех боковых садиках раздавались крики: «Бегите, бегите смотреть, красавцы Толстые идут»... И от этих двух прелестей суждено было родиться мне... Но я опять забегаю, а надо еще пропустить вперед старшую сестру мою Лизаньку, которая появилась на свете за шесть лет до меня.

В 1811 году, 10-го августа, у молодой четы родился первый ребенок, дочь Елизавета. Прелестное дитя, которое через год отец увековечил на семейной картине, или, вернее сказать, горельефе в греческом стиле [13], вылепленном по грифельной доске розовым воском. Себя и жену он изобразил на нем в античных костюмах, а малютку Лизу совсем голенькую, еле прикрытую наброшенным на нее вуалем, сквозь который ясно проглядывает все детское тельце. Тонкость и красота лепки в этом горельефе удивительные! Вероятно, сестра Лиза, подрастая, стала забавным и прелестным ребенком, если обе семьи, и Толстые, и Дудины, как говорится, в ней души не чаяли: собой, говорят, она была очень хороша, настоящий амурчик! да и умница, скороспелочка маленькая! Несколько забавных анекдотов про нее до сих пор сохранилось в моей памяти. Начать с того, что первые слова, которые она выговорила, были не «папа» и не «мама», а «ура, победа!». Всех окружающих ее это очень удивило. Вероятно, в ту минуту, как детеныш это выговорил, у всех вышло из памяти, что шел 1812 год и что в то время слова «ура, победа» не сходили с языка русского человека. Так ничего не

было мудреного, что ребенок первыми их запомнил и первыми выговорил. Все, кроме бабушки Марии Степановны, это сообразили; но старушка этой простой логике никак не поддавалась, видела в этом диво и, сердясь, спорила со всеми.

— Ну, что вы такое говорите, что это не диво! Конечно, диво! Ведь она, моя голубушка, победу тогда напророчила, победа-то ведь была!..

И переуверить старушку было невозможно. Потом до глубокой старости любимый рассказ бабушки был про необыкновенный ум внучки Лизаньки. Как часто она мне говаривала: «Ты не поверишь, матушка, что это за ум был: все знать хотела, все ей вынь да положь! Трех лет проказница грамматикой вздумала заниматься!.. Уморила она тогда меня со смеху! Жила у меня в то время кухарка, чухонка [14], говорила по-русски так, что и не поймешь: всех мужчин называла «она», а всех женщин «он». Вот и наша Лизочка за ней отца стала звать «она», а мать «он». Разумеется, мы все ее останавливали. Вот раз пошла я с ней гулять по мосткам, веду ее за ручку, а нам навстречу козел, а за ним свинья. Тогда ведь всякая животина без церемонии по мосткам разгуливала. Ну вот, увидала Лизанька козла, да и спрашивает меня:

— Бабушка, козел ведь «он»?

— «Он», душенька! — отвечаю я.— Он мужчина, ну, и значит «он».

— И дедушка мой «он»?

— Разумеется, «он»!

Прошел мимо нас козел, а за ним выступает свинья. А Лиза опять за расспросы:

— А свинья, бабушка, «она»?

— «Она», милая, «она». Ведь она женщина, ну, стало быть, «она».

— Значит, и ты, бабушка, «она»?

Я так и покатилась со смеху... Вишь, какая нашлась грамотейка, свинью к бабушке приравняла».

На этом рассказе бабушки Марьи Степановны о грамматических способностях сестры Лизы прерывается у меня нить воспоминаний о первых годах ее жизни. Покину ее до тех пор, когда можно будет говорить о ней с моей собственной памяти.

II

Появление мое на свет.— Тогдашняя Петербургская сторона.— Житье-бытье моего деда.— Дядя граф Александр Петрович Толстой.— Его выходки и проказы.— Женитьба дяди.— Его теща генеральша Рытова.— Оригинальное воспитание ею внучки.— Кончина дяди

Я родилась в 1817 году, 3-го октября, на Большом проспекте Петербургской стороны, в доме Слатвинского. Но, увы, в хрониках Петербургской стороны за 1817 год не упомянуто даже ни одного слова о появлении Машеньки Толстой на свет Божий. Моя память начала развиваться очень рано: я стала запоминать людей и обстановку, их окружающую, с двухлетнего возраста! Разумеется, никто из больших в эту раннюю память мою не уверовал; все думали, что я болтала тогда не с своей памяти, а только со слов старших. Но сколько раз, будучи уже взрослою девушкою, какою-нибудь самою ничтожною вещицей, которая могла привлечь внимание только маленького ребенка, мне удавалось доказать моим неверующим дядям и теткам, что я точно запомнила сама, а не со слов старших. Странное дело, что прежде всего врезались в мою детскую память не отец мой, не мать, не дом, где мы тогда жили, а зеленый берег Невы и дедушка мой граф Петр Андреевич. Вероятно, потому, что весь мир мой тогда заключался в береге Невы и кусочке 13-й линии, где в сереньком домике в три окна жил мой возлюбленный дед. Господи! как мне весело было тогда гулять с няней по этому берегу, какая большая трава росла на нем, сколько желтого цикория, одуванчиков на ней цвело! Иду, бывало, и рву без конца. А няня ворчит: «Не рви, матушка, эту гадость, ручки почернеют, после не отмоем!» Как теперь вижу я этот тогдашний берег: мощен он был крупным булыжником только наполовину, около домов, а другая половина и весь откос до самой воды были зеленые. Сколько судов стояло около самого берега, видимо-невидимо!.. И с каждого судна на берег были перекинуты доски. На берегу нет-нет да дрова, как в печке, положены и горят. А около огней хорошенькие женщины с золотыми лбами, в белых кофточках и юбочках стряпают, кофе варят... И тут же около них какие-то черные, запачканные люди на траве валяются: кто спит, кто коротенькую трубку курит... Очень, помню, удивлялась я тому, что у этих женщин лбы золотые! А няня ходит

за мною и поучает меня: «Это, матушка, у них не лбы золотые, а бляхи такие ко лбу привязаны; это голландки, у них мода такая; а пачканые в дегте черные черти — это их мужья, голландцы. А вон там, посмотри, стоят верзилища в широченных юбках да в красных колпаках, это греки. Все они из-за моря к нам на кораблях понаехали». Интересовало меня тоже очень, как лошадей с берега купали: совсем голые кучера верхом на лошадях съезжали в воду и кружились и плавали на них по Неве. А то помню еще, как страшно мне было, когда водовозы с бочками далеко в воду заезжали; заедут глубоко, глубоко и начнут кричать: затянуло, затянуло, спасите! помогите!.. Поднимется шум, гвалт, народ с берега кинется их спасать, и еле-еле вытащат лошадь с бочкою на берег. Насмотримся мы, бывало, с няней на все эти чудеса, и поведет она меня за ручку дальше по берегу к Морскому корпусу, где тогда на том месте, где теперь памятник Крузенштерна стоит, тоня [1] была и большими сетями страсть сколько лососины вытаскивали. Взойдем мы, бывало, на плот с навесом, а там непременно дедушка Петр Андреевич сидит на лавочке и рядышком с ним всегда один и тот же толстый купец с красным зонтиком, а в ногах у них большие лососки лежат. Видно, оба они большие любители до рыбной ловли были!

А то помню дедушку еще у него на дому, в его хорошенькой гостиной. Даже стулья помню, которые там стояли: темного красного дерева, спинки в виде лиры, с лебедиными, согнутыми крючком головками. У двух окон в уголках два вольтеровские кресла стояли, на одном дедушка сидел, в коричневом бархатном сюртуке, рубашка с большими брыжжами [2] и на голове у него белый, как снег, колпак. В руке трубка с мягким волосяным чубуком, а сама трубочка узенькая, белая, фарфоровая, и на ней черною краскою домик и деревцо нарисованы. На окне около деда большая фарфоровая чашка с кофе, вся золотая с портретом. Сам дедушка прелестный, полный, румяный, высокого роста старик; на голове у него не было ни единого волоска; в гости он ходил в седом парике, а дома прикрывал свою голову белым вязаным колпаком. Покойница маменька рассказывала мне, что я малюткой просто влюблена была в своего деда! Когда она, бывало, приведет меня к нему и поднимет на руки, чтобы я могла поцеловать его, я вся затрясусь от радости, мгновенно сорву с него колпак и жадно вопьюсь губами в его

лысину... Помню тоже, в другом углу против дедушки, на таком же вольтеровском кресле, какую-то бледную тень человека в белом халате, с страшно исхудалым лицом, который все кашлял и плевал в хорошенький тазик красной меди на львиных ножках. Этого несчастного больного я боялась и глядела на него только издали...

Это был старший сын дедушки, граф Александр Петрович Толстой, известный весельчак, остряк и забавник Павловского и Александровского времени, который после бойкой придворной и светской жизни угасал от злейшей чахотки в доме отца своего... Он скончался 22-го августа 1819 года, а я родилась 3-го октября 1817 года; стало быть, мне было два года, когда он умер, а я его помнила! и его тазик красной меди на львиных ножках, позабытый всеми, помог мне доказать мою правоту, что я помнила точно сама, а не со слов старших. Раз как-то, когда мне было уже лет 15, отец разговорился о своем покойном батюшке; я прислушалась, прервала его и спросила:

— Папенька, а куда же девался тот другой дедушка, который всегда сидел против моего дедушки?

— Про кого это она говорит? — спросил отец мой, взглянув на маменьку.— Неужели про брата Александра?

— Не может быть! Это невозможно! Ведь ей было всего два года, когда брат Александр умер! — в один голос сказали мать моя и тетки.

Тут уж я заспорила не на шутку.

— Нет, я помню, помню его!.. Еще у него в ногах стояла такая хорошенькая плевательница на львиных ножках... Вот вы сами все забыли, а я помню!.. Пойдемте в кладовую, я вам покажу, где спрятан этот тазик.

Кто-то из теток пошел со мною, и я сейчас же отрыла в разном хламе этот тазик и торжественно снесла его на показ всем в гостиную.

— Она права,— оглядев плевательницу, сказал папенька,— точно, это тазик брата Александра Петровича. Какая хорошенькая античная вещица! Как это я совсем забыл про него... Поставь, Маша, его где-нибудь на виду!..

И с тех пор мое вещественное доказательство почетно стало на видном месте и положило конец неверию в мою раннюю память.

Теперь же, не расставаясь с дядюшкой Александром Петровичем, которого я видела и запомнила только умирающим, расскажу все, что я слышала о нем и о его

проказах от отца моего и тетушки моей графини Надежды Петровны Толстой.

Граф Александр Петрович родился в Петербурге в 1777 году, 2-го августа. Раннее детство свое он провел в доме родителей, затем воспитывался приватно у гувернера 1-го кадетского корпуса, Папинье. Потом был зачислен офицером в лейб-гвардии Семеновский полк, участвовал в кампании 1812-го года, получил контузию, был награжден орденами: св. Владимира с бантом, прусским «pour le merite» * и Анненскою шпагою [3]. Впоследствии состоял в свите императора Александра I. В 1816 году, в чине полковника, по расстроенному здоровью, вышел из военной службы в отставку и служил до самой смерти в Государственном банке. Как храбрый офицер и усердный служака, граф Александр Петрович был любим начальством, обожаем товарищами и подчиненными. Сердце он имел добрейшее, был умница, остряк и, как говорится, душа компании. Особенностью его характера была всегдашняя неудержимая веселость. При этом он обладал еще врожденным даром смешить людей до упаду. Граф Александр Петрович был среднего роста, прекрасно сложен, очень силен и удивительно ловок во всяком своем движении. Лицом особенно красив он не был, но имел самую подвижную физиономию и прекрасные говорящие глаза. С послушным лицом своим он мог, говорят, делать все, что ему хотелось; даже волосы свои передвигал с места на место, отчего делался совсем неузнаваем. Что ж мудреного, что с такими данными и необузданною веселостью он на своем веку сумел понаделать столько проказ, сделаться всеобщим любимцем и прослыл первым шалуном и забавником своего времени. Наши старики Толстые говорили мне также, что Александр Петрович творил свои шалости не думая, с налету: едва мелькнет какая-нибудь мысль в голове (часто самая шальная) и бац! сделано, готово!.. А там: «суди меня Бог и великий Новгород!» Граф так был всеми любим, что из самых непростительных своих проделок выходил сух, как гусь из воды... Какая жалость, что почти все анекдоты про него далеко не цензурны, и мне придется рассказать только те, которые хоть кое-как сойдут у меня с рук.

Начну с самого невинного. Раз, за большим, очень парадным обедом, у одной всеми уважаемой пожилой

---

* «за заслуги» (*фр.*).

барыни сделалась невыносимая зубная боль. Хозяева и гости повскакивали со своих мест, окружили больную, и каждый своим средством старался прекратить зубной раж. Протискался к барыне и Толстой и в самой подобострастной позе просил себя выслушать.

— Ваше высокопревосходительство! Ваше высокопревосходительство! Осмелюсь вам предложить... я обладаю симпатическим средством [4].

— Говори, батюшка, говори скорей! — зажав щеку рукой и качаясь на стуле от страшной боли, проговорила генеральша.

— Вот изволите ли видеть, ваше высокопревосходительство, это средство симпатическое и может показаться вам смешным... но смею заверить ваше высокопревосходительство в том, что...

— Что ты тянешь душу, говори скорей!

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство! Извольте взять дегтю, только самого наичистейшего дегтю...

— Да слышу, слышу! — дергаясь от нетерпения, нервно крикнула дама.

— Да-с, самого наичистейшего дегтю, и извольте помазать им самый кончик носа, только самый кончик носа...

Свидетели этой сцены едва удерживались от давившего их смеха. Сама же страждущая, с верою в новое средство, начала просить, чтобы ей скорей принесли дегтю. Толстой, растягивая каждое слово, с глубочайшим почтением заговорил опять:

— Смею заверить ваше высокопревосходительство, что эта симпатия самая невинная, что вреда вам она не принесет никакого, то есть ровно никакого, хотя позвольте предупредить ваше высокопревосходительство в том, что и пользы от этой симпатии вам тоже не будет никакой, то есть ровно никакой!..

Общий взрыв хохота присутствующих в столовой покрыл слова повесы. Расхохоталась чуть не до истерики и сама больная. Когда ее отпоили водой, она добродушно поманила к себе Александра Петровича и весело сказала ему:

— Поди сюда, милый доктор, поди, поцелуй меня! Ведь зуб-то примолк, не болит, ты меня вылечил...— и, притянув к себе графа, она расцеловала его.

— Простите, ваше высокопревосходительство, как сумел-с,— низко кланяясь, ответил повеса.

— Шут гороховый! — слегка ударив его по щеке, прибавила барыня.— Ведь будь у меня деготь под рукой, я бы помазала нос... Хороша бы я была! Дурак, право, дурак!

Но не всегда шутки дяди Александра Петровича были так невинны и веселы, как излечение больной барыни. Иной раз они солоны приходились тому, над кем он их проделывал.

Раз как-то, в лагерное время, полковой командир Семеновского полка, человек очень добрый, но страшно вспыльчивый, рассердясь на Толстого за какую-то ошибку во время учения, так вспылил и забылся, что перед всем фронтом наговорил графу кучу самых невозможных, непозволительных слов...

Александр Петрович вспыхнул, как зарево, порывисто отвернулся от генерала и быстро пошел в свою палатку. Сгоряча, на ходу мимо фронта, у него даже вырвались слова:

— Хам, скот! Изобью тебя, как собаку, дубиной...

Все офицеры, находившиеся на учении, были свидетелями этой неприятной сцены, а некоторые даже поймали на лету угрозу графа. Они сильно огорчились и встревожились за него. Как только кончилось ученье, ватага офицеров хлынула в палатку графа. Когда первый из них приподнял полотно, чтобы войти, Александр Петрович спокойно лежал на своей койке, и даже (как офицеры припоминали после) по лицу его бегала ему одному присущая задорная улыбочка, точно у него в голове бродило что-то очень веселенькое... Но в одно мгновение лицо его изменилось и сделалось каким-то глупо-бессмысленным.

Подойдя к графу, все офицеры заговорили разом, сожалели, утешали, умоляли не делать из-за этой обиды никакой истории, и все, один перед другим, старались выставить ему на вид ужасные последствия, которые постигнут его, если он исполнит свою угрозу приколотить генерала.

Граф все лежал, не шевелясь, и, казалось, не слышал и половины того, что ему говорили. Потом вдруг, как бы проснувшись от глубокого сна, спросил:

— Кого я бью? Кто меня может разжаловать?

— Да что ты, не слышишь, что ли? Мы говорим про неприятность твою с полковым командиром. Ведь ты хочешь избить его, как собаку, дубиной! — опять вместе заговорило несколько голосов.

— Ах, это вы вот о чем... вспомнил, вспомнил! Успокойтесь, мы с вашим генералом друзья, такие друзья, что, если бы я точно исколотил его, как собаку, дубиной, он не рассердится, а будет меня за это на ваших глазах обнимать, целовать... Не верите? Держу пари на ящик шампанского!

— Держим, что не будет, что ты улетишь ко всем чертям! — крикнули товарищи.

— Идет?

— Идет!

— А теперь убирайтесь сами вы ко всем чертям! Разве вы не видите, что я сам не свой? Голова у меня трещит от боли... Уйдите, голубчики, дайте заснуть, завтра опять буду молодцом!

При последних словах у графа сделалось такое страшно болезненное лицо, что все товарищи удивленно переглянулись между собой и один за другим выбрались из палатки.

Всем им Толстой показался странным и как будто не в своей памяти.

На другой день, к общему горю, Александр Петрович далеко не сделался молодцом, а расхворался не на шутку: начал впадать в беспамятство, забывал даже, как называются вещи, и когда хотел попросить что-нибудь, чмокал только губами, щелкал пальцами и говорил:

— Того, того... как ее?

Товарищи хотели привести к нему полкового доктора, но Александр Петрович так рассердился на них, так начал бушевать, что они побоялись его тревожить. В следующую же ночь спавший мертвым сном лагерь был разбужен страшными криками и шумом: кто-то сворачивал с места палатки и колотил по ним палкой... Когда перепуганные со сна люди повыскакивали из палаток, то им представилась следующая картина: палатка полкового командира лежала совсем набоку, из-под нее раздавался болезненный стон... Граф Толстой в одном нижнем белье, шляпа набоку, парадировал по плацу верхом на огромной дубине и кричал во все горло:

— Здорово, ребята! Спасибо, ребята!

Испуг и удивление в первую минуту приковали офицеров и солдат на месте; но отчаянный крик из-под полотна палатки командира заставил офицеров опомниться и кинуться к нему на помощь. В один миг генерал был высвобожден и поставлен на ноги.

— Что это? Что такое? — с одурелым от испуга и боли лицом спросил он.

— Не знаем-с...— отвечали ему.— Кажется, граф Толстой с ума сошел. Извольте посмотреть: вот он скачет на дубине верхом в одной рубашке...

— Боже мой, какое несчастье! такой отличный офицер!..— с болезненною гримасою, потирая помятые бока, жалостливо проговорил генерал.— Что ж вы стоите, господа? Надо скорей поймать его, связать и отнести в лазарет.

Приказание было живо исполнено. Полковой эскулап начал усердствовать: на графа надели сумасшедшую рубашку, пустили кровь, обливали голову холодной водой и насильно пичкали в него разные мерзости латинской кухни.

Доктор сиял: его наука быстро брала верх над душевною болезнью Толстого. Граф сейчас же присмирел, начал приходить в память и постепенно благополучнейшим образом стал выздоравливать.

Во время болезни товарищи не покидали Александра Петровича, а когда ему стало совсем хорошо, сам полковой командир пришел поздравить его с выздоровлением, при всех офицерах обнял, расцеловал его и, совсем расчувствовавшись, сказал ему:

— Ну, слава Богу, что вы поправились! Знаете ли, меня все мучила мысль, что своею непростительною запальчивостью я был причиною вашей болезни... Если это так, простите меня великодушно! — И они опять обнялись и расцеловались.

Как только успокоенный генерал ушел к себе, граф весело вскочил с кресел и сказал:

— Выиграл! Где мое шампанское? Видели? — целовал, миловал, каялся... Понял, значит!.. А мне того и надо... Что, хорошо?

Удивлению товарищей не было конца. Разумеется, шампанское мигом явилось и было роспито с восторгом. А дороже всего было то, что никогда ни один семеновец сора из избы не вынес: все в Петербурге остались в том убеждении, что бедный граф Толстой сходил с ума, но, слава Богу, его скоро вылечили. Да еще очень хорошо было и то, что после болезни графа Толстого полковой командир на ученьях стал сильно прикусывать свой хлесткий язычок...

Просто невероятно, как такая невозможная штука могла пройти дяде моему безнаказанно!.. Да то ли еще

он творил; видно, «бабушка ему ворожила», что все ему сходило с рук благополучно. Кто не знает, как император Павел Петрович был строг к военному человеку? А даже он на все провинности своего любимца Толстого всегда сам приискивал смягчающие вину причины, которые стоили не наказания, а похвалы. Вот тому пример.

Раз, во время дежурства Александра Петровича в какой-то тюрьме, у него из-под караула убежал преступник. Разумеется, об этом доложили государю.

— А кто был дежурный? — строго спросил император.

Но, узнав имя виновного, тотчас смягчился и сказал:

— Толстой? Толстой прекрасный офицер! Это несчастье... А несчастье может случиться со всяким.

И не только строгого наказания не последовало, но графа не посадили даже на гауптвахту. Офицеры-товарищи диву дались, узнав об этом милостивом решении дела.

— Ну, легко отделался, счастливец! Случись такое несчастье с кем-нибудь из нас, не простили бы!.. Улетел бы голубчик туда, куда Макар телят не гонял!..

— А вам жаль, кажется, что я не улетел? — смеясь, сказал граф.

— Ничуть! Только разница-то уж слишком большая... Любимчик — и больше ничего!

— Завидно?.. Ну хорошо, я эту разницу сравняю...

— Как сравняешь? — спросили офицеры.

— Очень просто: разгневаю государя и полечу, куда Макар телят не гонял.

И точно, дело за словом у графа не стало. На первом же смотру он усердно стал перепутывать все команды, делать все артикулы по-старому, а не по-новому. Государь долго терпел, но, наконец, разгневался и грозно крикнул:

— Толстой, отдайте вашу шпагу!

Граф в одну секунду скорчил убитое, огорченное лицо, засуетился, заторопился, руки у него задрожали: долго и неловко отстегивал он шпагу и, вместо того, чтобы подать ее адъютанту, подал самому государю. Потом также медленно и неловко начал снимать с себя значок и шарф (что было совсем и не нужно), и все это положил на руки государя.

Офицеры после, смеясь, говорили дяде:

— Мы, братец, начали бояться, чтоб ты не разделся догола.

Окончив свое разоблачение, Александр Петрович сделал поворот направо или налево — не знаю, но такой уморительный, что государь улыбнулся, а все офицеры еле удержались, чтоб не захохотать. Граф ушел, а император, все еще держа на руках вещи, которыми навьючил его Толстой, обратился с речью к офицерам:

— Господа офицеры! Берите пример с Толстого: он огорчил меня и так сильно почувствовал свою вину, так этим огорчился сам, что потерял голову и подал свою шпагу мне, вместо того, чтобы подать ее адъютанту. Прекрасный офицер Толстой, прекрасный! Я его прощаю!..

Так дяде моему и не удалось улететь туда, куда Макар телят не гонял.

По восшествии на престол императора Александра I, дядя мой все еще не унялся, а проказничал, очертя голову, еще больше прежнего. Вот еще одна очень забавная из его проделок, и с кем же? — с ангелом доброты, с самим императором Александром...

Покойный государь, летом, во время лагеря, почти всегда присутствовал на учениях; а так как эти учения продолжались довольно долго и часто переходили за адмиральский час, в который его величество привык заморить червячка, то на такой случай в палатке его ставился холодный завтрак, и государь, как только начинал чувствовать голод, входил в палатку один, наскоро закусывал чем-нибудь и опять проворно уходил смотреть на ученье. Свите его величества в лагере завтрака от казны не полагалось; Толстой вызвался помочь этому горю.

— Хотите, я сделаю так, что нам будут давать казенный завтрак?

— Это каким образом? — спросили его товарищи.

— Это уж мое дело. Держу пари на дюжину шампанского, что нам будет от казны полагаться завтрак! Идет?

Разумеется, ему отвечали: «Идет!»

На другой же день, как только завтрак государя был поставлен на место, Толстой, скорчив из себя очень озабоченного чем-то человека, проворно вошел в царскую палатку. Никто и не подумал его останавливать, потому что граф всегда имел туда доступ. Чрез несколько минут Александр Петрович с таким же серьезным видом прошел обратно на плац... Немного погодя, видно, проголодавшись, государь тоже отправился в свою па-

латку. Вошел, взглянул и изумился: вся сервировка его стола была разорена, а завтрак весь съеден дотла!.. Не понимая, что это могло значить, государь вышел из палатки и спросил:

— Кто тут был?

— Свитский офицер граф Толстой, ваше императорское величество! — было ответом ему.

— Не пускать Толстого в мою палатку,— улыбнувшись, сказал государь.— Скрестить ружья и не впускать! Поняли?

Отдав это приказание, его величество в очень веселом расположении духа уехал из лагеря.

На другой день государь, не входя еще в свою палатку, спросил:

— Толстой приходил?

— Приходил, ваше императорское величество,— отвечали ему.

— И не пустили?

— Не пустили, ваше императорское величество.

Очень довольный этим ответом, государь, весело рассмеявшись, вошел в палатку. Но, увы, та же история: по-вчерашнему завтрак его величества был съеден до крохи.

— Позвать ко мне Толстого! — крикнул император.

Толстой мигом явился.

— Ты съел вчера и сегодня мой завтрак? — едва сдерживая улыбку, спросил Александр Павлович.

— Я, ваше императорское величество!

— Скажи мне на милость, что у тебя за фантазия оставлять меня без завтрака?

— Это не фантазия, ваше величество, а свите вашей в лагере завтрака не полагается...

— Вот что! А тебе очень хочется, чтобы он полагался? — расхохотавшись, сказал государь.

— Нам ведь тоже есть хочется, ваше императорское величество!..

— Шут ты гороховый! Ступай, прикажи от моего имени, чтоб с завтрашнего дня вам давали завтрак.

Толстой было рванулся исполнять приказание его величества, но государь остановил его:

— Постой, прежде расскажи мне, каким манером ты сегодня мог съесть мой завтрак? Ведь тебя в палатку не впустили?! Это любопытно!

— Очень просто, ваше величество! Когда меня не пустили, я обошел палатку кругом, выдернул колышки,

подлез под полотно, съел ваш завтрак, вылез обратно и опять воткнул колышки на место. Вот и все-с!

— Точно, очень просто! — расхохотавшись от души, сказал государь.

Пишу все это с подробных рассказов отца, дяди моего графа Константина Петровича Толстого и тетушки моей графини Надежды Петровны Толстой. Пишу и, право, не знаю, чему больше дивиться: ангельской ли доброте императора Александра Павловича или невозможным проделкам возлюбленного моего дядюшки графа Александра Петровича Толстого? Ах, чуть было не пропустила двух самых глупейших его шалостей.

Не помню, в каком именно году, в Зимний дворец привезли (кажется, из Сибири) и установили в одной из зал огромную яшмовую вазу. Я ее видела, она была точно громадных размеров, не очень глубокая, в виде бассейна. Теперь ее давно уже нет; говорят, в 1837 году, во время пожара в Зимнем дворце, она была разбита провалившимся на нее потолком.

Так вот, несколько дней спустя после водворения этой обновки в Зимнем дворце по какому-то случаю был назначен выход. В зале, где была поставлена новая ваза, столпилось много народа: всем любопытно было посмотреть на эту новинку. Дамы особенно ахали и дивились на громадную ее величину. Одна молоденькая фрейлина даже вскрикнула:

— Боже, какая большая! Ведь в ней купаться можно...

— А вот я попробую! — вызвался Толстой и, как был, во всем параде и регалиях, вскарабкался в вазу и начал в ней представлять, как купаются воробьи, как ныряют гуси и утки...

В зале от общего хохота стон стоял... Вдруг дали знать, что государь идет... В то же мгновение Толстой исчез. Ему это легко было сделать: прилег на дно вазы и конец! Но не так легко было всем видевшим его уморительные кривлянья унять свой расходившийся хохот. Государь, проходя между двумя раздвинувшимися рядами дам и кавалеров, заметил, что все они, с раскрасневшимися лицами, еле-еле удерживаются, чтобы не прыснуть со смеху...

— Верно, Толстой? — с улыбкой спросил государь и последовал дальше в другую залу. Не успел он скрыться из виду, как Толстой вскочил на ноги, проворно вылез из вазы и очень важно и чинно присоединился к свите его величества.

За все эти шалости фрейлины просто обожали Александра Петровича: завладели им, как своею собственностью, давали ему разные комиссии, поручения, которые граф исполнял им с превеликим удовольствием.

Вот раз, как-то перед обедом, этим шалуньям вздумалось послать Александра Петровича на придворную кухню узнать, какое сегодня будет пирожное. Он мигом слетал и принес приятный ответ:

— Ликуйте, mesdames, сегодня ваше любимое пирожное: «шпанский ветер»![5] (Так тогда повара называли vent d'Espagne*.)

Девицы возрадовались...

— Не радуйтесь заранее! — скорчив печальное лицо, сказал граф.— «Шпанский ветер» хоть и будет, но горе в том, что вы есть его не будете!

— Какой вздор, разумеется будем!..— заспорили фрейлины.

— А я говорю, что нет!.. И не только вы, никто его в рот не возьмет!.. Я один буду есть... Хотите пари?

— Да почему мы не будем есть?.. почему?..

— Почему?.. ну, уж это мой секрет!..— таинственно ответил Толстой.

Пока они спорили и перекорялись, доложили, что кушать подано. Все поспешили к столу. Граф уселся между двумя фрейлинами. Все барышни, заинтригованные загадочными словами его, с нетерпением ожидали пирожного... Наконец, шпанский ветер появился. Торжественно внесли его официанты и начали разносить по кувертам... Все глаза с любопытством обратились на Толстого; он же в это время пресерьезно повязывал себе вокруг шеи салфетку. Молоденькая соседка графа, трепеща от нетерпения, сидела с ложкою в руке, совсем наготове, чтобы прежде него положить себе на тарелку пирожного. Но, увы!.. в то самое время, когда официант просунул блюдо между нею и им, Александр Петрович, с проворством обезьяны, опередил ее руку, всею своею пятерней захватил горсть сливочной пены и, как мылом, намазал ею себе подбородок.

Все сидящие за столом остолбенели от удивления. А граф, между тем не обращая ни на кого внимания, преспокойно начал столовым ножом брить себе бороду. И когда на ноже набиралась сливочная пена, отирал ее об свой язык и жадно проглатывал.

---

* сударыни... испанский ветер (*фр.*).

Нечего и говорить, что гробовое молчание в столовой сменилось хохотом...

Опять Толстой выиграл пари: до шпанского ветра никто не дотронулся, и фрейлины окончили свой обед не так вкусно, как предполагали, но зато весело. И опять он, как гусь, «вышел сух из воды».

Все остальные, самые интересные анекдоты про графа, как я сказала выше, нецензурны, а потому расскажу лучше о том, как он раз задумал остепениться.

На 29-м году своей жизни Александру Петровичу вдруг пришла фантазия жениться и остепениться. Как всегда у него, сказано — сделано. Он мигом нашел себе невесту, столбовую дворяночку, дочку вдовы генеральши Рытовой, бывшей камер-фрау императрицы Елизаветы Петровны. Посватался и женился. Но эта фантазия не очень-то ему удалась; с женою своею он не прожил и года: молодая графиня скончалась при первых родах, оставив ему после себя дочку, Лизаньку. Не успела бедная женщина закрыть глаза, как матушка ее, генеральша Рытова, потребовала у зятя внучку к себе на воспитание. Александру Петровичу очень не хотелось расставаться с ребенком, но он подумал, что малютке у бабушки будет лучше, чем у него, и согласился на требование тещи. Генеральша завладела внучкой и сейчас же увезла ее к себе. Оставшись один, граф мало-помалу опять втянулся в светскую жизнь, а потом не выдержал и начал опять бедокурить.

А милая бабушка-самодурка, лютая крепостница и ханжа, принялась воспитывать бедную Лизаньку по-своему. И мудрое же это было воспитание!

Первым делом, как только генеральша привезла к себе внучку, было собрать всю свою крепостную челядь и строго-настрого приказала ей беречь маленькую графинюшку, как зеницу ока, никогда ей ни в чем не перечить, все, что она ни пожелает, сейчас же ей подавать, не умничать с графинюшкой и плакать ей отнюдь не давать. Ко всему этому генеральша, строго грозя пальцем, прибавила: «Слышали? ну, чтобы так, как я сказала, у меня и было! А не то... вы меня знаете?!»

Так хорошо знал этот крепостной люд свою барыню, что никому и в голову не могло бы прийти ее ослушаться.

С этой минуты под крылышком бабушки Лизаньке ни в чем не было запрета: на что ни взглянет, к чему ни потянется, все сейчас же совали ей в рот и в руки. А если, Боже сохрани, она ни с того ни с сего заревет,

генеральша, как бомба, влетала в детскую, и тут же, при ребенке, начиналась расправа. А как только малютка начала стоять на ножках, бабушка и ее самое начала учить драться. Поставит, бывало, девочку на стол, подведет к ней старую няню и скажет: «Обидела тебя эта хамка, обидела? а ты, матушка, сними с ножки башмачок и дуй ее по морде... бей, бей крепче!» И генеральша сама показывала внучке, как надо бить. И ребенок, не понимая, что делает, что было силенки колотил свою няню башмаком по лицу. Старуха тихо плакала, а генеральша умирала со смеху.

Александр Петрович ничего не знал про эти безобразия; видел только, что его Лизанька здорова, бела, толста, и был совершенно спокоен. Подошел 1812 год, граф всполошился идти на войну, препоручил братьям своим приглядывать за Лизанькой, не оставлять ее добрыми советами и ушел воевать с французами.

Знаю по рассказам, что дядя Александр Петрович и воевал с таким же увлечением и смелостью, как до этого творил в Зимнем дворце свои невозможные проказы. Счастье и на войне везло ему. Быстро отличился он своею храбростью, нахватал ордена (помянутые мною выше) и, верно, в военной карьере своей пошел бы выше и выше, если бы злодейская контузия разом не остановила его геройского полета. К этому сильному потрясению всего организма дяди прибавились еще болезненные остатки прежней невоздержанной жизни, и здоровье его вдруг расстроилось совершенно. Волею-неволею пришлось выйти в отставку и перейти на более спокойную службу в банк. Когда он водворился опять в Петербурге, братья и сестры открыли ему глаза насчет ужасного воспитания, какое давала бабушка его дочери. Граф, чтобы разом прекратить это зло, отдал девятилетнюю Лизаньку в Екатерининский институт. Но и это разъединение ни к чему путному не повело: Рытова и в институте сумела пустить корни, ездила туда чуть не всякий день, закармливала девочку сластями, на каждом приеме, как пришитая, сидела около нее. И если только отец, дяди или тетка заикались, чтобы дать Лизаньке добрый совет, генеральша, как тигрица, накидывалась на них и всенародно кричала: «Никто ваших советов не просит... Мою Лизаньку воспитует сама матушка императрица!.. так нечего вам тут свои носы совать!..»

Изгнать генеральшу Рытову из института, без особенного скандала и не повредив девочке, было не-

возможно; а потому вся родня Александра Петровича, стараясь избегать стычек с злою, необузданною старухою, разумеется, всякие наставления Лизаньке отложила в сторону. У самого же дяди Александра прежней энергии уже не было; страшная, беспощадная чахотка взяла верх над его скоропостижным характером: он начал таять как свеча и понемногу охладевал ко всему. Стало быть, и он не мог оградить бедную дочь свою от пагубного влияния бабушки. О последствиях этого влияния я расскажу после.

Вот в это-то самое время одинокий, беспомощный Александр Петрович переехал на жительство к дедушке Петру Андреевичу в серенький домик, где я, будучи малюткой, видела насчастного страдальца и запомнила его. Перед смертью он как будто немного оживился; поручил свою Лизаньку и ее интересы отцу и братьям, всех крепостных людей своих отпустил на волю, а камердинеру своему Ивану Кудрявому, родному племяннику нянюшки Матрены Ефремовны, дал даже большое денежное награждение. Поминаю об этом обстоятельстве потому, что этот прекраснейший Иван Кудрявый, вместе с дочкою барина своего, Елизаветою Александровною, явится еще не раз в моих воспоминаниях.

Повторю еще, что граф Александр Петрович умер в 1819 году, и перейду к остальным детям деда моего, о которых мне тоже хочется рассказать все, что знаю.

III

Тетка моя Вера Петровна Шишкова.— Дядя граф Владимир Петрович Толстой.— Дядя граф Константин Петрович Толстой.— Статс-дама графиня Мария Андреевна Румянцева.— История ее замужества.— Характеристика дяди Константина Петровича.— Неожиданное приданое.— Тетка графиня Надежда Петровна Толстая.— Приключение с дедом.— Дядя граф Петр Петрович Толстой.— Его трагическая кончина

Рассказывая о моем детстве, я так поспешила похвастаться моею раннею памятью, что перескочила через старшую дочь деда моего и принялась прямо за дядю Александра. А тетушку Веру Петровну пропустить было бы грех, потому что она была очень хорошая женщина, и притом любимица отца моего, и он сам рассказывал мне о ней с особенно теплым чувством... Итак, перве-

ницей у деда с бабушкой была тетка Вера. Она родилась в 1776 году, 2-го августа. Воспитание получила домашнее, довольно необыкновенное для знатной барышни екатерининского времени. По словам покойного отца моего, любимая сестра его была совершенство. Стройна, хороша собой, добра, как ангел, и обладала всеми возможными талантами: рисовала, играла на фортепиано, пела, сочиняла романсы, сама клала их на музыку и очень мило писала стихи. А главное — рукодельница была удивительная: не было работы, которой она не делала бы превосходно. У меня до сих пор сохраняются ее рисунки акварелью в стиле Ват⟨т⟩о и много рукоделий. По-моему, рисунки немного «манерны», но ведь и век такой был, что и барашки, и собаки должны были ломаться и сентиментальничать... А рукоделья самой тонкой изящной работы — удивительно хороши...

Вера Петровна любила до безумия брата своего Федюшу и, лаская его, называла всегда «мой маленький Рафаэльчик!». Должно быть, она тоже сильно повлияла на развитие в нем художественного таланта... Жаль, что брату и сестре не долго пришлось прожить вместе. В 1793 году, 17 лет от роду, тетка Вера вышла замуж за Дмитрия Семеновича Шишкова, родного брата адмирала Александра Семеновича Шишкова, который так усердствовал над «изысканием корней русских слов» [1]. Чрез два года после своей женитьбы, Дмитрий Семенович получил какое-то важное назначение в Сибирь и уехал туда с женою. И бедной молодой женщине не суждено было возвратиться в Петербург. На великое несчастие Шишкова, обожаемая им жена, 22-х лет от роду, вторыми родами скончалась. Старшая дочь их, Елизавета, в которой они оба души не чаяли, жила еще и на моей памяти, а второй мальчик умер вместе с матерью.

После тетушки Веры Петровны у меня осталась драгоценная память, а именно: 84 письма ее из Сибири к отцу и матери. Первое письмо написано с дороги в день горькой разлуки с родителями и значится так: «№ 1. Ижора, 14 мая 1795 г.», а последнее, написанное за несколько часов до ее кончины, значится так: «№ 84. Пресновская крепость, июля 9-го 1798 г.». Боже мой, что это за прелестные письма! В них я прочла всю трехлетнюю жизнь тетки Веры в Сибири, познакомилась с нею и полюбила ее от всей души. Какое светлое созданье была эта женщина! Такую нежную дочь, любящую жену, чудную мать и сострадательную к горю ближнего душу

трудно найти на белом свете. И вместе с этими качествами как она была мила и женственна!

Перехожу ко второму брату ее, Владимиру Петровичу. Странное дело, что этого дяди я не помню совсем, а могла бы помнить прекрасно, потому что мне было уже семь лет, когда он умер, в 1824 году. Видно, он ничем особенным не обратил на себя моего детского внимания, что изменила мне моя хорошая память. По рассказам о нем могу сказать только то, что сначала он был военный, служил в Кексгольмском полку, потом перешел в статскую службу и до конца жизни состоял на службе в почтамте; что человек он был милейший, душа компании, великий дамский угодник, как все Толстые; немножко рифмоплет и любимец всех родных и знакомых; женат не был. Вот и все, что могу сказать о нем.

Теперь добралась я, наконец, до дяди Константина, которого знала хорошо и очень любила. Разумеется, и об его детстве и юности буду рассказывать «со слов больших», потому что между его и моими годами разница на целые 38 лет. Граф Константин Петрович родился в Петербурге в 1780 году, 12 февраля. Первые годы детства тоже провел в доме родителей. Про эти годы Матрена Ефремовна, общая их с отцом моим няня, повествовала мне так: «Костенька маленький чистая ступа был! Головища у него была пребольшущая, все его перетягивала... А туда же, за Федичкой норовил разные штуки показывать. Тот, бывало, стройненький, легонький, как перышко, кувыркнется и станет на ножки, как струночка. А Костенька тоже за ним — кувырк! и головизной, как свайкой, об пол хлоп!..» После, когда дяде пришла пора учиться, его, по ходатайству статс-дамы Марии Андреевны Румянцевой, определили в Шляхетский кадетский корпус (ныне Первый кадетский). Это было еще при директоре графе де-Бальмене; но скоро его заменил родственник императрицы Екатерины II, известный умница граф Ангальт, тот самый, который для облегчения маленьким кадетам будущего их учения придумал расписать каменную стену вокруг их сада фресками и изобразить на них известные исторические события, страны света, географические карты, светила, планеты небесные и все, что впоследствии должно было войти в их уроки. Стену эту тогдашние художники расписали прекрасно, и граф Ангальт назвал ее muraille parlante *. И точно,

* говорящая стена (*фр.*).

стена эта наглядно говорила о многом, так что мальчуганы, не учась еще серьезно, бегая и играя в саду, невольно заглядывались на картинки и приходили в классы уже подготовленными.

Не могу вытерпеть, чтобы не бросить на минуту дяди и не передать здесь того, что он рассказывал мне впоследствии про свою благодетельницу Марию Андреевну Румянцеву. Она была дочь богатого боярина Андрея Артамоновича Матвеева и крестница Петра Великого. Часто бывала она в гостях у крестного отца и там познакомилась с денщиком его, Румянцевым. Боярышня была красавица писаная. Румянцев влюбился в нее без памяти и, не подумав о том, что он царский денщик, и больше ничего, заслал сватов к Андрею Артамоновичу. Боярин, напыщенный своей знатностью и богатством, с презрением отказал денщику наотрез... Румянцев с горя, да и потому, что финансовые дела в то время были у него очень плохи, задумал жениться на богатой купчихе. Там дело сладилось, и назначен уже был сговор. Царь Петр узнал об этом в день самого сговора, сел в свою одноколку и покатил в дом купца... И там, не входя даже в комнату, где за брачным столом сидели рядышком жених с невестой, а приотворив только в нее дверь, крикнул своим зычным голосом: «Этой свадьбе не бывать!» Сел опять в одноколку, да и был таков.

На другой день денщик пришел к царю и, горько укоряя его в немилости, сказал:

— Я беден, мне жить не на что, оттого и хочу жениться на богатой купчихе.

Петр выслушал его и ответил:

— Не горюй, погоди. Развернется и моя рука...

Вскоре пришелся день рождения князя кесаря Ромодановского [2], и царь, от своего имени, послал Румянцева с поздравлением. Кесарь, расчувствовавшись сделанной ему честью, на радостях подарил денщику большой золотой кубок, насыпанный доверху червонцами...

Петр, увидав этот подарок, улыбнулся и сказал:

— Ну, что ж?.. Начинает разворачиваться моя рука!..

Потом Румянцев был послан царем с поручениями в Париж, потом жалован деньгами и поместьями. Рука Петра разворачивалась все более и более. Наконец, царь сам поехал к боярину Матвееву сватать своего денщика за крестницу Машеньку... На этот раз Андрей Артамонович отказать побоялся, и свадьба состоялась. Рука

Петра развернулась совсем. Румянцев стал богат и знатен.

Жена Румянцева, Мария Андреевна, жила чуть не Мафусаиловы годы...[3] Имела большой вес при дворе и до конца жизни была чтима и уважаема потомками Петра. В царствование Екатерины II, когда она определяла дядю Константина в корпус, ей было уже 94 года. Она в это время проживала на покое в Летнем саду, во дворце Петра Великого, окруженная шутихами, попугаями, дураками и моськами... Всегда носила красную ленту через плечо и на плече на голубом банте портрет Петра I. Ее собственный портрет, снятый в это время с натуры тетушкой Верой Петровной, сохраняется у меня до сих пор. Долголетняя старушка умерла в 1788 году, 97 лет от роду.

Возвращаюсь снова к дяде Константину. В те времена детей в корпусе принимали очень маленькими, и дядю отдали в малолетнее отделение пятилетним ребенком. 17-ти лет он был уже выпущен офицером в какой-то Фридрихсгамский полк, и военная карьера его пошла быстро и счастливо. Несмотря на то, что дядя рассказывал мне про нее наиподробнейшим образом (не пропуская даже того, что он был лучший танцор в их полку и что раз на балу сама шведская королева выбрала его себе кавалером и танцевала с ним), я все-таки не стану следить шаг за шагом за всеми его отличиями и повышениями, а скажу прямо, что он делал шведскую кампанию и начало французской; верно, он был очень храбр, если получил золотую шпагу «За храбрость», Анну 2-й степени и много еще каких-то орденов и медалей. Такой необыкновенной св. Анны, какая была у дяди, я что-то после ни у кого не видывала: она была очень большая, и на четырех концах креста, на месте теперешней эмали, сидели четыре продолговатые рубина, или стеклышка под рубин, и около них были и бриллианты... Очень нарядный был крест. Но он принес дяде несчастье, или, рассуждая по-военному,— с ч а с т ь е. В сражении, за которое он его получил, дядя был ранен в левую ногу, не мог продолжать военную службу и 26-ти лет выпущен в отставку «с мундиром». Но все это было еще задолго до моего рождения, а когда я начала его знать, он был уже статский, но все-таки носил постоянно свою нарядную с красными каменьями Анну на шее, а все другие ордена в маленьком виде на маленькой же золотой шпаге, как бутоньерку в петличке. Помню,

как я любила разглядывать все эти ордена, и вот в это-то время он и рассказывал мне, за что каждый из них получил. Это все военные доблести Константина Петровича, а теперь надо познакомить с ним, как с человеком. Наружностью он красив не был, но имел самое доброе, милое лицо; телом широк в костях, крепок и силен, в движениях быстр, тороплив, но неловок. Как часто под старость он напоминал отзыв о нем няни Матрены Ефремовны! Очень любил милейший старик делать фокусы, которые ему, как в детстве кувыркание, никогда не удавались... Характером был он слаб и податлив... Но зато сердце имел самое доброе, мягкое и чистейшую душу. На всякое хорошее дело отзывался из первых, ласку и доброе слово ценил выше всего. Да, вполне прекраснейший человек был дядя мой Константин. Выйдя в отставку, он служил в ассигнационном банке и до самой смерти, как старший Анненский кавалер, заседал где-то при раздаче орденов... Женат он был два раза: первый раз на девице Хлюстиной, которая вскоре умерла; второй раз, за год до моего рождения, на девице Анне Алексеевне Перовской. В 1817 году у них родился сын граф Алексей Константинович Толстой, будущий наш поэт и драматург... А тут, через два месяца, и я поспешила выбраться на свет Божий. И очень умно сделала, что не запоздала, потому что, по милости маленького Алеши, облеклась в день моего рождения в батист и кружева, чего бы, по бедности отца моего, никак не могло бы быть... Вот как это случилось. Графиня Анна Алексеевна, дожидаясь нового пришельца в здешний мир и не зная еще, кого Бог ей пошлет, приготовила на всякий случай два приданых: одно для мальчика, а другое для девочки, и, показывая эти прелестные тряпочки моей маменьке, которая была в таком же положении, как она, Анна Алексеевна сказала:

— Вот, Annette, если я рожу мальчика, то девочкино приданое ты возьмешь; а если я — девочку, а ты — мальчика, то — наоборот...

И вышло так счастливо, что я родилась девочкой и «рикошетом» нарядилась в батист и кружева... Но недолго мне пришлось франтить: тетки мои пленились красотою моих кружев и, найдя, что для меня они слишком хороши, тотчас отпороли их и пришили себе к манишкам, а я так и носила обгрызанные распашонки и шапочки...

Графиня Анна Алексеевна, не знаю почему, с дядей Константином не сошлась и через год после рождения

маленького Алеши они разъехались совсем. Так как в делах между мужем и женою судьею никто быть не может, то лучше об этом и замолчать. Отец мой, однако ж, иногда высказывал свое мнение так:

— Брат Константин никогда и не должен был жениться на Анне Алексеевне: она слишком умна для него... Тут ладу и ожидать было трудно.

Анна Алексеевна с своей стороны часто говорила отцу моему:

— Отчего ты не женился на мне, Теодор? Я бы тебя очень любила...

— Да оттого, должно быть, что прежде тебя увидал другую Аннету, влюбился и женился на ней,— тоже шуточкой отвечал ей Федор Петрович.

Я слышала, что до разрыва Анны Алексеевны с мужем она была очень дружна с моим отцом и матерью. И после, когда перестала видаться с ними, сына своего все-таки присылала к нам во все торжественные дни с поздравлениями.

Теперь дядю Константина до поры до времени можно оставить, так как остальную жизнь свою он почти со мною не разлучался, а потому будет часто появляться в моих записках... Пора дать место крестной матери моей, тетке Наде, которая так давно ждет своей очереди.

Графиня Надежда Петровна Толстая, меньшая сестра отца моего, родилась в Петербурге в 1784 году, в здании Комиссариата. Про годы ее детства знаю только то, что ребенком она была маленькая, худенькая, черненькая, как арапченок, с огромными голубыми глазами и длинными вьющимися белокурыми волосами. Этому я верю, потому что и под старость она была почти такая же: только лицом побелела, да чудная коса ее меньше вилась. Потом про нее рассказывали еще, что малюткой, когда воображение не может разыгрываться, она видела двойник своей матери.

Как я говорила выше, квартира деда в Комиссариате выходила на Мойку. Два первые окна в бельэтаже от дома Юсупова принадлежали спальне бабушки Елизаветы Егоровны, потом шла длинная анфилада комнат до ворот, над которыми — полукруглое венецианское окно: это был кабинет деда. Бабушка часто приходила туда посидеть с работой у мужа. Вот раз как-то оба они заметили, что маленькая их Надя, не переставая бегать от спальни до дверей кабинета, постоит молча в дверях, посмотрит на них пристально и опять стремглав бро-

сится бежать к дверям спальни и там постоит, постоит и с большими удивленными глазами бежит назад. Деду это показалось странным; он остановил ее и спросил:

— Надя, что ты все бегаешь то туда, то сюда? Что ты на нас так удивленно смотришь?..

— Отчего это и у вас в кабинете сидит маменька и другая маменька такая же сидит в спальне? — тоже вопросом отвечал ребенок отцу.

Бабушка с дедушкой взяли ее за ручки и повели в спальню.

— Видишь, тебе показалось,— сказала немного испуганная Елизавета Егоровна,— меня тут нет!..

— Да, теперь нет, а были... я вас видела: вон за этим столиком сидели...

И точно, должно быть, девочка видела двойник своей матери, потому что тетка Надежда Петровна помнила этот случай до старости. Ведь если бы теперь такой казус случился, как бы возрадовались спириты и верно прокричали бы тетку Надю удивительным медиумом!..[4] А тогда это видение прошло без всякого следа: девочка продолжала спокойно расти под теплым крылом заботливой умной матери.

До восемнадцати лет тетка Надя прожила в доме отца своего, а когда в 1802 году бабушки не стало, Надежду Петровну взяла жить к себе тетка ее, графиня Мария Алексеевна Толстая, рожденная Сен-При, жена графа Александра Петровича * Толстого, того самого, который играл такую видную роль и царствование Александра II [5]. Из скромной тихой жизни у родителей тетка Надя попала в самый большой свет. Там ее любили, баловали, очень она веселилась, но замуж почему-то не вышла. Однажды я ее спросила:

— Тетенька, отчего вы замуж не вышли? Вы, кажется, были хорошенькая?..

— Оттого, душа моя,— отвечала она откровенно,— что никто никогда за меня не посватался. Ну хоть бы один жених у меня был, а то ни единого!.. Судьба была остаться старой девкой, вот и все...

У тетушки Марьи Алексеевны она прожила недолго. Начали ходить страшные слухи о том, что Наполеон собирается со своими полчищами нагрянуть на нас. Газетные известия сулили общий разгром и на всех наво-

---

* Ошибка М. Ф. Каменской: Петра Александровича. (*Примеч. сост.*)

дили страх... И дед мой, как многие другие помещики, собрался в свою Владимирскую деревню, чтобы спасти и припрятать там от врага в какое-нибудь безопасное место свое серебро и кое-какие остававшиеся в барском доме ценные вещи. Тетка Надежда Петровна не захотела отпустить отца одного: собралась и уехала с ним вместе. Приехав в деревню, граф собрал все небольшое добро свое, приискал укромное местечко и ночью при себе приказал дворовым людям своим зарыть все в землю. Когда это дело было благополучно окончено, он, сделав распоряжение насчет людей своих, с успокоенным сердцем пустился с Надеждой Петровной в обратный путь в Петербург. Бедный старик понапрасну тогда совершил это путешествие: ничего он от врага не припрятал, ничего не сохранил своим детям... Когда нагрянули французы в имение деда, один из тех доверенных людей, который вместе с другими закапывал господское добро, желая подслужиться неприятелям, чая от них за это «великие и богатые милости», указал им место, где все было спрятано. Но этот человек сильно ошибся в расчете: вместо благодарности, французы избили предателя до полусмерти и, повытаскав из земли все дедушкино добро, отправились дальше. Когда враги ушли, то дедушкины мужички и сами принялись до полумертвого изменника: били, били его до того, что забили в лютую чахотку. А потом своим судом отняли у него и избенку, и землишку, и все, что у него было; короче сказать, сделали его «бобылем». Остальную жизнь свою он с женою своею питался мирским подаянием. О них я упомянула потому, что много лет спустя вдова его Прасковья с сыном Ванькой и дочерью Пашкой из жалости были взяты к нам в дом, где Ванька, тогда уже большой Иван, доказал, что «яблочко не далеко падает от яблони». Но об этом скажу в свое время.

Возвращение деда с теткой в Петербург было гораздо затруднительнее, чем поездка в деревню. Они ехали с тремя крепостными людьми, то есть камердинером, горничной и кучером, в своем рыдване на долгих [6]. Все местности, по которым лежал их путь, были взволнованы приближением врагов: дороги были запружены экипажами и пешеходами. Помещики уезжали из насиженных гнезд своих, разного сословия люди бежали сами не зная куда, только бы подальше от французов. Лошадей доставать было трудно; приходилось ждать по целым суткам и ждать, сидя голодом, потому что ничего из

съестного невозможно было достать: все почти лавки по дороге были заперты. Наконец, изведав все эти мытарства и муки, дед с теткой дотащились до Москвы, где еще было тихо, а оттуда совсем спокойно доехали до Петербурга. До окончания войны тетка Надежда Петровна жила при отце, до той поры, пока отец и мать моя пригласили ее жить с нами; это, кажется, было незадолго до моего рождения. Переехав в наш дом, она до глубокой старости не оставляла семьи нашей, а потому теперь особо говорить о ней больше не буду.

Чтобы все мои дяди и тетки были в сборе, мне остается только рассказать о меньшем их брате, Петре, родившемся в 1787 году. Этого мальчика за его доброе сердце, бойкий ум и ласковый нрав обожала вся семья. Как отец мой рисованием, так Петруша с раннего детства бредил кораблями и морем. По его желанию, он очень рано был отдан в морской корпус, где учился прекрасно и с особенным старанием изучал английский язык, который ему вскоре и пригодился. Не окончив еще курса в морском корпусе, 15-ти лет от роду, не могу сказать, как и почему, вероятно, по просьбе старого графа, Петр Петрович был взят знаменитым английским адмиралом Нельсоном в кругосветное плавание. Вскоре юный морячок своим усердием и необыкновенною способностью к морскому делу обратил на себя особенное внимание адмирала; он полюбил юного графа и стал быстро выдвигать его вперед. В английской службе Петруша пробыл шесть лет и в чине лейтенанта опять перешел в русский флот. Несмотря на молодость свою, в английском и русском флоте он был на прекрасном счету у начальства и на него возлагались большие надежды в будущем. По его возвращении на родину в отцовском доме радость была великая. Вся семья не могла наглядеться на своего 22-х летнего красавчика-лейтенанта. Но бедовая эта морская служба!.. Не прошло и года, как опять нужно было расстаться: Петра Петровича назначили в новое плавание по Балтийскому морю, откуда он уже не возвратился. Так близко от родины и родных бедному, полному надежд юноше суждено было погибнуть во время страшной бури!.. Вот что мне рассказывали об этом несчастном случае. Была осень, сильные заморозки... Корабль, на котором находился Петруша, стоял на якоре в виду острова Готланда. Капитан почему-то должен был отлучиться на берег, Толстой за него исправлял должность капитана. Вдруг поднялась ужас-

ная буря, вследствие которой что-то повредилось в корабле и он дал сильную течь. По быстроте, с которой вода начала наполнять трюм, о починке нельзя было и думать. Оставалось только спасать экипаж. Граф живо на двух катерах стал по очереди отправлять людей на остров. При второй переправе на катерах недостало места трем матросам и лейтенанту; они остались ожидать, когда катер вернется за ними. А между тем судно погружалось в море все глубже и глубже. Граф и матросы поднимались выше и выше по реям; старые сильные матросы бодро выносили страшный холод, но юный, более нежного сложения Петруша, крепко держась за верхнюю рею, цепенел от холода и начинал уже погружаться в сонливость. Спасительный катер, спеша к ним на помощь, был уже близко, когда несчастный молодой человек, вероятно, заснув совершенно, сорвался с мачты и упал в море. И он, прекрасный пловец, не сделал даже ни одного движения, чтобы побороться с волнами, а прямо, как ключ, пошел ко дну. Остальные три матроса были приняты на катер и благополучно доставлены на берег. Вот от них-то впоследствии и узнали подробности последних минут Петруши [7]. Так канули с ним вместе в пучину морскую все блестящие на него надежды! Можно себе представить тяжкое горе его родной семьи. Бедному старому графу не осталось даже утешения посидеть и поплакать на могиле так горячо любимого меньшого сына. Тело Петруши, разумеется, найдено не могло быть.

IV

Жизнь моего отца в первое время после женитьбы.— Захолустность Васильевского острова.— Приключение с монахом и с пуделем.— Статс-секретарь Н. М. Лонгинов.— Отец приступает к изображению на медалях событий 1812—1814 годов.— Чрезвычайная трудность и медленность этой работы.— Отношения к отцу императрицы Елисаветы Алексеевны.— Благодетельная смородинка.— Поступление сестры Лизы в Патриотическое училище.— Заботы о ней императрицы.— Мое оригинальное представление государыне.— Безжалостное уничтожение шали.— Возвращение сестры домой

Помянула я всех милых моему сердцу Толстых, начиная с деда Петра Андреевича и до злополучного меньшого сына его, морячка Петруши. Прошу прощения, если я моими рассказами о них нагнала скуку в мои записки. Но было бы больно моему сердцу выкинуть кого-нибудь из этой дружной, тесно связанной семьи.

Они жили вместе на белом свете, пусть же вместе и память о них, хотя для детей моих, живет в моих воспоминаниях. Теперь со спокойною совестью возвращаюсь опять к милому отцу моему.

Первое время после женитьбы его на моей матери они жили в доме бабушки Марии Степановны; в нем родилась и сестра моя Лиза. Лет через пять старушку стали усиленно звать к себе в Харьков старшая дочь Екатерина Федоровна и муж ее Петр Яковлевич Любовников. Старушка соблазнилась, продала дом свой почти за ничто и уехала с двумя дочерьми Марией и Александрой в Харьков. Отец мой принужден был в то время, за неимением денег, нанять себе маленький домик около самого Смоленского кладбища и переехал туда с женою, дочкой, крепостным мальчиком Иваном и девочкой Аксиньей. Кухарку, которая не была нужна, когда они жили у бабушки, пришлось нанять. Тяжело жилось молодому графу-художнику. Богачи родные от него отвернулись. Дедушка мой, Петр Андреевич, помог бы сыну от всей души своей, но сам после войны 1812 года разорился. И папенька, вместо того чтобы ожидать от него помощи, сам, желая облегчить отца, взял от него к себе сестру свою графиню Надежду Петровну. С тех пор дорогая тетка моя совсем вошла в состав нашей семьи, привязалась к маменьке, как родная сестра, а маленькую Лизу просто обожала. Так дружно, хорошо было у них в маленьком домике, что, кажется, они не соскучились бы в нем, несмотря на то, что мимо окон у них с утра до вечера везли и несли покойников. Но тогдашняя захолустность дальних линий Васильевского острова сильно их мучила. Мало того что всякая живность сновала в ногах людей, утки полоскались в лужах, гуси, шипя, гонялись за детьми, козлы и коровы бодали прохожих... Это бы все ничего, но сами люди делали невозможные вещи. Например, к тетке и матери моей однажды среди бела дня вошел в комнату большущего роста монах и стал просить на монастырь. Мать моя подала ему, а он, вместо того чтобы поблагодарить и уйти, взял стул, подсел к их рабочему столику и начал напевать им совсем не постные речи. Тетка Надя, горячка страшная, со страха забодрилась и начала кричать и звать людей: «Иван, Петр, Андрей!» — которых совсем у них и не было. Монах расхохотался и говорит:

— Зови, зови, душечка!.. Разве я не знаю, что у вас и людей-то всего одна кухарка, мальчишка Ванька да дев-

чонка, что с маленькой барышней во дворе играет, а кухарки и Ваньки дома нет... Зови, зови!.. Авось придут!

И, говоря это, он из-под подрясника вытащил до половины большой нож и опять спрятал.

Мать и тетка обмерли от страха и ужаса. Бог весть, что бы было, если бы на счастье папенька не вернулся из Академии и не вытолкал святого отца на улицу. Говорят, что после его накрыли на каком-то чердаке, где он воровал белье, и что он оказался беглым каторжником.

Разумеется, все это пугало бедных женщин и раздражало моего отца.

А то вот еще что было: мимо их окон всякий Божий день разгуливала босая, почти голая, еле прикрытая по плечам коротенькой кофточкой, сумасшедшая дочь генерала Главачевского [1]. Эту несчастную свел с ума «на религии» мистик Лабзин, занимавший тогда место вице-президента Академии художеств [2]. Удивительнее всего то, что никто ее не останавливал, никто не задерживал, когда она, зимой и летом, в костюме Евы, с ведром и мочалкой в руке, проходила чрез весь остров к Неве, зачерпывала там воды и отправлялась в Академию, распевая псалмы, мыть пол перед дверями «Божья угодника», то есть Лабзина. И если какой-нибудь заезжий из-за Невы, увидев это диво, спрашивал с удивлением у будочника: «Это что такое?» — то последний равнодушно отвечал:

— Это ничего-с! Это генеральша-с! Оне немного в уме рехнувшись!..

Вероятно, в то время полиция Васильевского острова была убеждена в том, что генеральшам можно ходить голыми по улицам. Отец мой, обитая в этом захолустье, почти не видя перед своими окнами живых людей, должно быть, сам порою забывал, что он не один живет на белом свете, потому что и про него можно рассказать анекдот в роде генеральши Главачевской. Одноэтажный домик, в котором жил тогда папенька, был так низок, что стоило только спустить ноги за подоконник, прыгнуть — и вы на улице. Вот раз утром отец, зная, что смотреть на него некому, в одной рубашке и туфлях, уселся бриться у открытого окна. На подоконнике, рядом с зеркалом, важно восседал любимец его, красавец белый пудель (увековеченный им на семейном барельефе, вылепленном в 1812 году). Отец намылил себе щеки и начал бриться преспокойнейшим образом. Только вдруг совсем неожиданно с улицы протягиваются

в окно две руки, хватают собаку и исчезают с ней. Наглость этого воровства взорвала моего вспыльчивого отца. Не помня себя, с намыленным лицом, в чем был, он выпрыгнул в окно и пустился за вором. Вор, с пуделем в руках, бежал что есть духу по мосткам. Отец летел за ним... Вор прибавляет шагу, отец тоже. Наконец, почти уже в виду Большого проспекта, отцу удалось на лету схватить мошенника за шиворот и задать ему в загривок такого тумака, от которого он выронил собаку. В погоне за похищенным у него Гектором папенька мчался в совершенном забытьи, ни разу не вспомнив даже о легкости своего костюма. Но тут он вздохнул свободно и наклонился, чтобы подхватить на руки свою милую пропажу, и ему вдруг кинулись в глаза его голые ноги; он очнулся, вспомнил все и сгорел от стыда. Когда, бывало, при отце тетка Надежда Петровна, смеясь, рассказывала про этот с ним случай, он всегда говорил ей:

— Теперь тебе смеяться легко!.. А если бы ты знала, каково тогда было мне! Ведь положение мое было ужасно... Я очутился почти что Адамом на мостках, как на блюдечке... Прятаться некуда, бежать среди бела дня в одной рубашке с голыми ногами — еще хуже, да и запыхался я и бежать-то не мог. Хоть бы шляпу со стыда нахлобучить на глаза, так и той не было. Извозчиков тоже нет... И пришлось мне, рабу Божьему, с милым Гектором у сердца, пряча лицо в его кудрях, мерным шагом дойти до дома.

Бог весть как, но только слух об этом казусе с отцом моим разнесся по петербургскому бомонду [3]. Бомонд пришел в ужас. Ни одна душа не приписала этого смешного случая с Толстым его пылкому характеру и его простой, доброй привязанности к верному псу. Нет! Всем в этом нечаянном приключении хотелось видеть какую-то заднюю мысль: неуважение к общему строю жизни, умышленную эксцентричность и чудачество графа-художника. Один только истинно умный и добрый статс-секретарь Николай Михайлович Лонгинов во всех несправедливых обвинениях твердо отстаивал отца, высоко ценил его как художника и человека и желал ему истинного добра. Николай Михайлович часто заезжал к папеньке в домик у Смоленского кладбища любоваться его произведениями и милым семейным бытом. С какою добротою сулил он, что тяжелое настоящее скоро пройдет и наступит счастливое будущее. Но отца и ободрять было нечего; он был терпелив, работал не из корысти, а из любви к искусст-

ву; работал с утра до ночи и за работою забывал свое порою очень тяжкое положение. И на все у него хватало времени: он и служил в Эрмитаже, и преподавал ученикам своим на Монетном дворе, и сам продолжал страстно изучать красоту линий античной скульптуры, которые так были ему нужны для медальерного искусства; и у себя дома, отдыхая от занятий дня, он то лепил, то рисовал без устали. Сидеть без дела он решительно не мог; без работы сейчас же начинал скучать и не находил себе места. Ко всем занятиям его в то время народная гордость подсказала ему еще новый труд: ему захотелось обессмертить память войны русских с «двунадесятью языками» в 1812—1814 годах. Горячо принялся граф за эту милую его русскому сердцу работу [4]. Живо сочинил и нарисовал сюжет первой медали и уселся лепить ее на грифельной доске розовым воском. Работа мелкая и медленная! А ему предстояло еще с этой восковой медали вырубить настоящую медаль из бронзы. На всю эту процедуру с одной медалью требовалось времени никак не меньше года, а их отец предполагал сделать 21, так что награда за этот тяжкий труд могла быть дана ему только лет через 20. А еще, Боже сохрани, несчастие: на почти готовой бронзовой медали нечаянно зарубится какая-нибудь мельчайшая черта глубже, чем ей следовало, и ошибка непоправима. И медаль и год труда пропали даром. Впоследствии этот тяжелый труд и страшное терпение папеньки я видела своими глазами. Первая медаль началась только несколькими месяцами раньше моего рождения, и я росла с медалями. Как теперь помню, мне было лет 13, и жили мы уже в Академии, когда отец испортил одну почти совсем готовую свою медаль. Господи Боже мой, что тут было! Отец так обозлился на себя, что швырнул из кабинета эту тяжелую осьмиугольную медаль так сильно, что она с громом прокатилась по всей анфиладе наших комнат. И как нам всем было жаль его тогда! Вот почему я всегда обижаюсь, когда пишут про отца:

«Граф Ф. П. Толстой вылепил коллекцию медалей на войну 1812 года».

Вылепил! Точно стакан воды выпил!.. И люди, не понимающие этого дела, верно, воображают, что это очень легко. А бескорыстный художник корпел за этою работою 20 лет... Да оно почти так и было, потому что, когда он окончил последнюю медаль, я была уже невестою Каменского, за которого и вышла замуж 19 лет, в 1837 году.

И даже награду за эти медали — 20 000 ассигнациями *, папенька подарил мне на приданое. В то время он мог уже это сделать, потому что был вице-президентом Академии художеств и не знал больше нужды. Но до этого счастливого времени сколько пришлось ему пережить тяжелых дней.

До самого своего назначения вице-президентом Академии художеств, то есть до 1828 года, отец оставался в чине мичмана в отставке и за обе свои должности — при Эрмитаже и при Монетном дворе — получал жалованья всего 2500 рублей ассигнациями, что на серебро составляло, кажется, что-то около 800 рублей в год. На эти небольшие деньги женатому, семейному человеку очень трудно было сводить концы с концами; приходилось занимать... А делать даже небольшие долги для отца было хуже смерти. Ко всему этому прибавилось еще и сердечное горе: маленькая Лизанька, которая родилась таким цветущим ребенком, вдруг начала не на шутку прихварывать... Про эту хворость сестры моей после бабушка Марья Степановна мне рассказывала так: «Застудили девочку, вот и все! Дура нянька после дождя на сырую траву посадила, я сколько тогда за это бранилась... золотуха-то и пала ребенку «на нутрь».

От этого или от чего другого начало хворать дитя, но надо было его лечить, пригласить хорошего доктора, а на все это требовались деньги... А тут еще и я грозилась со дня на день постучаться на белый свет, так что положение папеньки было почти безвыходное. Но и тут Николай Михайлович Лонгинов помог словом и делом. Пришло ему в голову заинтересовать в пользу отца добрейшую императрицу Елисавету Алексеевну; [5] и вот, в разговоре с государыней, он сумел насказать ей про молодого художника, графа Федора Толстого, столько интересного и хорошего, что ее величество пожелала познакомиться с ним и попросила Лонгинова представить его ей. Николаю Михайловичу только этого и хотелось. На другой же день он представил ей отца. Ее величество более чем милостиво приняла Федора Петровича, с материнским участием расспрашивала про семью его, про занятия и про средства к жизни... Короче сказать, пожелала знать подробно все, что до него касается. Получив

---

* В виде большой золотой табакерки с крупными бриллиантами. (*Примеч. автора.*)

ответы на все свои вопросы, Елисавета Алексеевна сказала:

— Николай Михайлович говорил мне, граф, что вы прелестно рисуете акварелью цветы. Как я желала бы их видеть! Я надеюсь, что вы покажете мне ваши рисунки?!.

На это отец мой ответил, что до сих пор он как медальер занимался больше лепкой медалей; акварелью же рисовал с натуры только ради отдыха, почти шутя, и боится, что у него нет ничего достойного показать ее величеству, но во всяком случае с превеликим счастием представит ей акварели, которые у него найдутся получше.

— Да, да, непременно покажите мне их, граф,— сказала Елисавета Алексеевна и, ангельски улыбнувшись, протянула ему поцеловать свою руку.

На этом Лонгинов и граф откланялись.

Домой папенька приехал совершенно растроганный ласковым приемом государыни и с восторгом передал весь свой разговор с ней маменьке и тетке Наде. Обе они плакали, слушая его, и он тоже со слезами на глазах повторял: «Это святая, это ангел, а не женщина!..» С этих пор в доме отца императрицу, даже на моей памяти, не называли иначе, как «наш ангел-хранитель Елисавета Алексеевна». Разумеется, папенька сейчас же пожелал исполнить желание ее величества, показать ей свои акварели и, мало того что показать, поднести ей что-нибудь хорошенькое. Была у него тогда акварелька, сделанная им с натуры, с м о р о д и н к а, которая ему самому нравилась [6]. Это было больше ничего, как несколько веточек черной, красной и белой смородины, как бы нечаянно брошенных вместе, да на них несколько капель росы, и одну капельку пьет муха. Кто не видал этого восхитительного рисунка, пусть посмотрит его в альбоме отца моего, который находится у сестры моей от второго брака, Екатерины Федоровны Юнге [7]. Стоит она, чтобы на нее поглядеть: смородинку съесть хочется, муха совсем живая... а про капельки росы могу рассказать даже анекдотец, который мне, уже большой, передавала маменька.

Раз как-то к нам приехал Лонгинов с женою и, как всегда, попросил посмотреть рисунки отца. Сидят они и разглядывают их, а маменька со мною на руках стоит около них. Я, говорят, тогда была годовая. Дошли они до смородины и начали ею восхищаться. Мне, видно, надоело, что маменька все стоит на одном месте, и я разревелась...

Вдруг Лонгинова с испугом вскрикнула:

— Графиня, что вы сделали? Посмотрите, Машенька накапала слезами на смородину!..

И Мария Александровна осторожно начала прижимать свой батистовый платок к каплям росы...

Так вот какова была эта смородинка!

Лонгинов решил, что этот рисунок можно поднести государыне. Но, видно, папеньке захотелось и для себя сохранить этот рисунок, потому что он прежде снял с него копию, а потом уже отнес Лонгинову, с просьбою поднести ее величеству, что Николай Михайлович и исполнил немедленно. Даже сам приехал обрадовать отца радостною вестью, что Елисавета Алексеевна от смородинки пришла в восторг и приказала очень благодарить графа за его прелестный подарок. Но этим еще не кончилось. Не успел отец мой остыть от радостной вести, как ее величество прислала ему богатейший бриллиантовый перстень. Конечно, положение отца в то время было не такое, чтобы ему возможно было сохранить этот подарок себе на память... и хоть жаль было, но его живо променяли на деньги... На эти деньги первым делом выбрались из домика у Смоленского кладбища на Петербургскую сторону, в светлый и веселый дом Слатвинского, где, как я писала выше, 3-го октября 1817 года я изволила родиться.

Как умно тогда сделал отец, что снял для себя копию со смородины. Вскоре после того, как он поднес ее государыне, она потребовала его опять к себе и попросила нарисовать ей еще точно такую же смородину. Отец нарисовал, и за второй рисунок опять получил точно такой же перстень. И это было не раз, не два, а, по словам отца моего, он и счет потерял, сколько нарисовал «смородинок» Елисавете Алексеевне... Всякий раз, когда ей хотелось подарить кому-нибудь из своих заграничных высочайших родственников что-нибудь новое, изящное, она опять заказывала еще и еще смородину и за каждую из них к отцу летели перстни... Часто папенька, рассказывая кому-нибудь про начало своей художественной карьеры, говаривал:

— Тяжело мне приходилось, да меня тогда моя с м о р о д и н к а выручала!.. Если бы не она, не знаю как бы я вывернулся... Можно не шутя сказать, что целая семья питалась о д н о й с м о р о д и н о й...

Должно быть, благодетельница отца моего с умыслом тогда избрала этот способ деликатно и безобидно помо-

гать бедному художнику... Но этого еще мало. Вскоре Елисавета Алексеевна стала просить графа отдать старшую дочь его в ее Патриотическое училище (основанное ее величеством в 1813 году для сирот воинов, павших в войну 1812 года, и только после смерти ее, в 1827 году переименованное в Патриотический институт).

Отец мой на эту милостивую просьбу государыни долго не соглашался, отговариваясь тем, что дочь его еще мала и очень болезненный ребенок.

— Это ничего, что девочка мала и болезненна,— уговаривала Федора Петровича государыня,— ей у меня в училище будет хорошо. Мы ее вылечим, доктор там прекрасный... Я пришлю еще своего доктора. Сама буду часто навещать ее... Согласитесь, граф, препоручите мне вашу Лизаньку, и вы не раскаетесь!

И Лонгинов, тайный помощник во всех добрых делах Елисаветы Алексеевны, не отставал от отца моего и дружески советовал ему и маменьке не отказываться от милостивого предложения ее величества и не лишать своей дочери ее будущего счастья.

Нечего было делать, пришлось согласиться, и маменька, скрепя сердце, отвезла восьмилетнюю Лизаньку в Патриотическое училище.

Ее величество более чем исполнила все свои обещания. На маленькую воспитанницу Толстую в училище было обращено особенное внимание: доктора усердно лечили, в классах не утруждали науками, а начальница и классные дамы ласкали и баловали ее... Сама государыня часто навещала Лизу и, когда она была в лазарете, тешила ее прелестными игрушками. Но что было дороже всего, это то, что Елисавета Алексеевна вскоре душевно привязалась к больной девочке. Разумеется, отцу и маменьке тоже было разрешено приезжать к Лизаньке, когда они того пожелают... И можно себе представить, как маменька и тетка Надя пользовались этим милостивым разрешением; даже меня, маленькую, часто брали с собою к сестре или посылали к ней одну с няней, так что и я скоро сделалась своим человеком в училище. Меня там разом все «заобожали». Как только приедем мы, бывало, с няней, ее сейчас посадят в какой-нибудь уголок, а меня схватят на руки, утащат в залы и там целуют, тормошат, мучат без конца... Так что дело часто доходило до рева, тогда классные дамы отнимали меня у девиц, уводили меня и Лизань-

ку к себе в комнату и угощали нас чем-нибудь сладеньким...

При таких льготах сестре моей жилось в училище хорошо. Одно было худо, что бедная девочка в здоровье плохо поправлялась и большую часть года проводила в лазарете; но зато во время болезни ее чаще навещала государыня и больше ласкала и баловала. Раз даже ее величество своею ангельскою добротой подвела свою любимицу под гнев начальства. У сестры моей очень часто болели глаза, так что, боясь света, она почти всегда держала их опущенными книзу. Это очень озабочивало и огорчало государыню. Раз, приехав в лазарет, ее величество ласково спросила Лизаньку:

— Ну, что, Толстая, как твои глаза? Посмотри на меня.

Сестра попробовала взглянуть, но тотчас же опустила веки...

— Не может, бедная моя! — сказала Елисавета Алексеевна и, быстро опустившись на колени, стала подглядывать под ресницы больной девочки.

И больше ничего не было. Но вообще добрая начальница такого унижения ее величества перед воспитанницей переварить никак не могла. И только что государыня уехала, m-me Вистенгаузен с целым синклитом классных дам пришла опять в лазарет сделать воспитаннице Толстой строжайший выговор за то, что она не хотела поднять глаза на императрицу и своим упрямством довела до того, что ее величество стала перед воспитанницей на колени... Назиданиям и морали не было конца... Лиза тогда, не понимая, в чем она провинилась, долго заливалась горючими слезами. И даже когда была уже взрослой девушкой, не могла без ужаса вспомнить про эту с л о в е с н у ю над нею экзекуцию.

Кажется, мне было уже года три, когда m-me Вистенгаузен вдруг пришло в голову показать меня государыне Елисавете Алексеевне, которая обожала маленьких детей. До этого времени, если случалось, что в день приезда ее величества я явлюсь в училище, то меня с няней сейчас же спроваживали домой. Но раз, именно в такой день, меня домой не прогнали, а напротив того, сама начальница отвела меня к Лизе в лазарет и внушительно мне сказала:

— Вот, сиди тут с сестрицей и веди себя хорошо. К нам сегодня приедет императрица, смотри же, при ней не шали! Будь умна!..

— А кто это императрица? — спросила я.

— Императрица — это наша добрая царица. Она не любит капризных детей.

Слово «царица» испугало меня. По страшным сказкам, которые рассказывала мне няня про злых цариц, я их сильно побаивалась. Только что начальница ушла, я со страха подлезла к Лизаньке под кровать. Вероятно, в суете этого никто не заметил, потому что меня оттуда никто не вытащил.

Государыня приехала и, как всегда, прежде всего вместе с начальницей обошла лазарет, осмотрела, обласкала больных девиц, а потом села на кресло около сестры моей и начала говорить с ней. Но каково было удивление Елисаветы Алексеевны, когда из-под кровати Лизаньки выползла маленькая девочка и прямо вскарабкалась к ней на колени.

Государыня начала целовать меня и с удивлением спросила:

— Чья это девочка? Какая прелесть!

(Я думаю, что теперь, в 74 года, мне можно это сказать про себя.)

— Это маленькая Толстая, сестра Лизаньки, ваше величество,— ответила m-me Вистенгаузен, совсем переконфуженная моим неприличным поведением, и строго сказала мне:

— Машенька, зачем ты спряталась под кровать?

— Я боюсь царицы! — прижимаясь к государыне, ответила я.

— Это ты меня боишься? — засмеявшись, спросила императрица.

— Нет, не тебя, я тебя не боюсь, ты не царица.

— А кто же я такая? — продолжала допрашивать меня Елисавета Алексеевна.

— Ты дама! — спокойно отвечала я.

— А царица разве страшная?

— Страшная! Она золотая!..

Начальница училища, должно быть, во время этого разговора не раз пожелала провалиться сквозь землю, но увидав, как императрица от всей души хохотала, прижимала меня к себе и целовала, m-me Вистенгаузен успокоилась и сама начала смеяться. И после, рассказывая папеньке о моем первом знакомстве с императрицей, даже сказала:

— La petite a été charmante! Elle a fait rire Sa Majeste

aux larmes... (Малютка была прелестна. Она заставила ее величество смеяться до слез.)

Вскоре я совсем подружилась с государыней. Помню как теперь, она носила меня на руках по училищу, не давала девицам мучить меня и прикрывала от них мои ноги своим синим бархатным распашным капотом. Все, все помню! Помню ее белые нежные руки с голубыми жилками. Помню ее самое: она была не полная, глаза у нее были добрые-предобрые, а на щеках у нее была точно красная сыпь. Сколько я теперь соображаю, Елисавета Алексеевна хороша не была, но, видно, я ее уже очень крепко любила, что тогда она мне казалась красавицей. Что я сама забыла про мои тогдашние проделки с добрейшей государыней, то помнили в училище все девицы и классные дамы, и в виде интересных анекдотов про милость ее величества к маленькой Машеньке Толстой рассказывали всем, кто хотел слушать. И многие подробности о моей детской бесцеремонности дошли до меня уже через «больших». Рассказывали мне, что я дошла до такой предерзости: приказывала просто императрице, какие мне привезти подарки.

— Привези мне картинок! Я свои все сломала,— раз сказала я ей.

— Какие тебе хочется картинки?

— Такие, как мне Яшенька Перфильев привозил...

— А кто это Яшенька Перфильев? — спросила Елисавета Алексеевна.

— Какая ты! Ты ничего не понимаешь... Ну, Яшенька Перфильев, Степашин брат!..

— А какие картинки он привозил?

— Картинки? Вот какие: так вот, знаешь, кораблик, а дернешь за хвостик, кораблик разломится, и там — все девочки, девочки... И все такие привозил! Дернешь за хвостик, а там что-нибудь и выскочит!..

И много таких картинок по моему велению привозила мне тогда императрица. Должно быть, я их все переломала, беспрестанно дергая за хвостик, а другие картинки (без движения) у меня в альбоме сохранились до сих пор, но они все очень сентиментального содержания: все на них жертвенники, факелы, пирамиды, пламенеющие сердца... И, должно быть, они обязаны своим с лишком семидесятилетним существованием только тому, что я тогда всем этим нежным прелестям не сочувствовала. Вот большая восковая кукла, которую привезла

Лизаньке Елисавета Алексеевна,— это другое дело. Помню до сих пор, как мне хотелось эту куклу хоть немножечко подержать на руках... Но Лизанька мне до нее и дотронуться не давала.

При этом m-me Вистенгаузен показала всю свою начальническую справедливость. При кукле (чтобы одеть ее) был привезен целый картон разных красивых лоскутков, и между ними была положена совершенно новая малиновая турецкая шаль. Одно из двух, думается мне теперь: или государыня приказала положить эту шаль, чтобы ею можно было укрывать больную Лизаньку, или с целью, чтобы эта вещь попала в руки моей небогатой матери. Но, видно, начальница не была того мнения, потому что живо положила этой шали резолюцию: как только увидала ее, сейчас же приказала принести себе ножницы, отрезала один борт и отдала его Лизаньке на платье кукле, а остальную шаль искрошила на мелкие кусочки, унесла из лазарета и раздала «на память» всем девицам училища... Господи, какая жалость! Все эти девочки прожили бы преспокойно и без этих лоскуточков, а у моей бедной матери во всю ее жизнь не было никакой шали, не только турецкой. И как бы она была хороша в ней, гуляя под ручку с отцом моим... Да вот помешала этому справедливость m-me Вистенгаузен...

Сестра Лиза все не поправлялась, и, наконец, сами доктора довели до сведения ее величества, что при болезненном состоянии воспитанницы Толстой ей очень вредно сидеть в четырех стенах, и самое лучшее было бы отдать ее родителям, чтобы они свезли ее на дачу, где на чистом воздухе она наверное скорее поправится... Елисавета Алексеевна призвала к себе отца моего и передала ему совет докторов. Разумеется, папенька сейчас же взял больную дочь домой, нанял дачу на Черной речке, и мы вскоре всей семьею перебрались туда... Отпуская Лизаньку с большим сожалением, государыня положила ей на домашнее воспитание пенсию и взяла с отца честное слово, что на место старшей дочери он отдаст меня в ее Патриотическое училище. Но я, видно, была человек самостоятельный; когда пришла пора меня отдавать, я твердо заявила, что от папеньки с маменькой никуда не пойду, и меня оставили воспитываться дома.

V

Черная речка.— Наши соседи.— Семейство Греч.— Лобановы.— Вульферт.— Булгарин.— Баснописец Крылов.— Гнедич.— Сестра Лиза в роли Антигоны.— Плачевный спектакль.— Образ жизни нашей семьи на Черной речке.— Граф Строганов и его дача.— Похождения кавалергардских офицеров.— Савва Яковлев.— Перевод наш на казенную квартиру.— Ее убранство.— Два немца.— Домашние развлечения.— Графиня Закревская.— Графы Петр и Федор Андреевичи Толстые.— Принц Оранский и Маша Колесникова.— Кончина дедушки графа Петра Андреевича.— И. В. Кусов.— Маскарад у него.— Оригинальный подарок.— Болезнь тети Нади.— Наводнение 6-го ноября 1824 года

Черная речка того времени была совсем не похожа на теперешнюю. Больших дач тогда совсем не было, задних улиц тоже. Небольшие одноэтажные домики, окошка в 3-4, стояли в один ряд, фронтом на реку, против Строганова сада. У каждого домика был узенький палисадник; очень большой двор соединял две дачи, так что на одном дворе было двое жильцов, не считая избы мужика-хозяина. На задворках, во всю линию деревни, тянулись крестьянские огороды... А за ними прямо начиналась прелестная березовая роща, которая шла вплоть до богатой дачи Резиха, то есть прямо до Лесного и дороги на Поклонную гору. Ни тесноты, ни такого столпотворения, как теперь, чтоб дача лезла на дачу, тогда не было. Ни трактиров, ни кабаков на каждом шагу и в заводе не было, а была настоящая русская деревня. И как хорошо тогда шумел Строгановский сад своими столетними деревьями! В нем также, между круглым большим лугом и Невою, стояла всего одна истинно барская дача старика графа Строганова, который проводил там каждое лето вместе со всей своей семьей.

Дачников Черной речки я, разумеется, помню только тех, которые были коротко знакомы с отцом моим и маменькой. На одном дворе с нами жил Николай Иванович Греч [1] с женою своей, вечно больной и нервной, Варварой Даниловной, старушкой матерью, сестрою, уже зрелою девой Екатериной Ивановной, и троими детьми. Старшая дочь их, Sophie, подходила годами к нашей Лизаньке, второй сын, Николай, был помоложе их, а самый меньшой мальчик Кото был мне ровесник и сердечный друг... [2]

В нашем маленьком домике и семья поселилась сначала небольшая: отец, маменька, тетка Надя, Лиза да я. Но в средине лета совсем неожиданно вернулась из Малороссии бабушка моя, Мария Степановна Дудина, с двумя дочерьми Марией и Александрой; их тоже маменька перевезла к себе (с тех пор они и остались с нами жить навсегда). Тесновата стала дачка, зато всем было весело! Через дом от нас, стена об стену с Гречем, жили тоже на одном дворе двое дачников: друг Николая Ивановича, известный переводчик классиков, Михаил Астафьевич Лобанов [3], бывший в то время учителем русского языка великой княгини Александры Феодоровны, с женою своею Александрой Антоновною, прелестной женщиной, которая была очень дружна с моей матерью и меня, маленькую, очень любила. У этой четы детей не было, были три собачки, которых муж и жена любили как родных детей! В другом доме жил немецкий негоциант Карл Карлович Вульферт с семьей. Лобанов и Вульферт были страстные садоводы и развели себе за домами еще два порядочные садика. Михаил Астафьевич сам растил с любовью свои цветы и деревья. А Карл Карлович был глубоко убежден в том, что цветы и деревья не могут хорошо расти иначе, как только «краденые», и потому почти всякую ночь отправлялся на промысел, перелезал через заборы в чужие сады и крал там, что ему приходилось по вкусу... Немца часто ловили мужики, били, колотили, но это Карла Карловича (во всем другом честного человека) от страсти его не излечивало: пройдет ночь, другая... и он опять лезет в чужой сад...

Вот, кажется, и все дачники, которые были с нами знакомы. Кроме их всех, у Греча почти постоянным гостем был Фаддей Венедиктович Булгарин, а у Лобанова — Иван Андреевич Крылов и Николай Иванович Гнедич [4]. Хорошо помню всех этих господ, помню именно такими, какими они были тогда. Булгарин, например, был кругленький, на коротеньких ножках, с порядочным брюшком, голова плотно подстриженная, как биллиардный шар, лицо смятое, глаза вытаращенные, как у таракана, толстые губы его плевались... с лица его не сходила задорная улыбка, и вечно он спорил и хохотал; одет был в светло-серенькое с ног до головы. Я его ненавидела маленькая потому, что он вечно меня дразнил. Про Греча могу сказать только то, что он мне казался великаном; он очень много говорил; на нас, детей, не обращал никакого внимания, а потому и мы были к нему равнодушны.

Михаил Астафьевич Лобанов в манерах был нежен до приторности, говорил тихо и сладко. Лицом был похож на легавую собаку и даже на ходу поводил носом, точно все что-то нюхал... Меня и мою ровесницу, дочь Вульферта Гетиньку, яростно ненавидел: из боязни, чтобы мы не сорвали у него цветов, гонял нас от своего сада хворостинами и метлами... А ведь после, когда бедная Александра Антоновна умерла, а мы обе выросли, он сватался за обеих и на бедной Гетиньке даже женился. Как, подумаешь, времена-то переходчивы! Но об этом после, в свое время.

Теперь надо рассказать, какой был тогда еще не старый и не дедушка Крылов. Грязный был голубчик, очень грязный! Чистой рубашки я на нем никогда не видала; всегда вся грудь была залита кофеем и запачкана каким-нибудь соусом; кудрявые волосы на голове торчали мохрами во все стороны; черный сюртук всегда был в пуху и пыли; панталоны короткие, как-то снизу перекрученные, а из-под них виднелись головки сапог и желто-грязные голенища... Да, не франт был Иван Андреевич, и несмотря на это ему все смотрели в глаза и чуть на него не молились. Всегда к его приезду m-me Греч и Лобанова старались ему приготовить к обеду что-нибудь его любимое, вкусное. Как теперь его вижу, как он сидит у Лобановых за столом, жадно ест солонину и говорит: «Нет, господа, это еще не решено, что лучше: солонина горячая или холодная!»

Вечерком, когда все мужчины садились пить чай под навесом, кричали там, смеялись и спорили, у Ивана Андреевича вырывались очень умные речи, но днем он все больше жевал что-нибудь да тешился с нами, ребятами. Он меня очень любил, и я его тоже. Не знаю только, почему не нравилось ему, что я девочка. Как только, бывало, приедет, сейчас посадит меня на колени, начнет «тютюшкать» и скажет мне:

— Машенька, будь мальчиком! Я не хочу, чтоб ты была девочка!

— А я не хочу быть мальчиком! — отвечу я.

А тут подвернется злодей Булгарин, вынет из кармана крокодиловой кожи огниво и начнет меня дразнить:

— Да тебя никто и спрашивать не будет, хочешь ли ты быть мальчиком или нет! Вот видишь этот ящичек, вот я его открою (он открывал огниво, и из него показывался огонь и дымок), посажу тебя туда и закрою, вот так!..

Крышка, громко щелкнув, захлопывалась. Я собиралась плакать...

— Нечего хныкать, этим ничего не поможешь. Возьму, посажу, закрою и выну оттуда мальчиком.

Я спрыгивала с колен Крылова и с ревом убегала домой. Оба они с Булгариным умирали со смеха... И ведь не раз и не два они со мною это делали, а всякий раз, как приедут на Черную речку. Добрая Варвара Даниловна Греч положила конец этому издеванью надо мною только тем, что в угоду Крылову сшила мне русскую рубашонку и штанишки, и как только он приезжал, меня выводили к нему «мальчиком».

Теперь, в противоположность неряшливости Ивана Андреевича, надо рассказать о щепетильной аккуратности Гнедича: он был весь чист, как стеклышко. Платье на нем, казалось, сейчас от портного; рубашка и батистовое жабо блестели, как серебро. Руки у него были холеные, полные, белые, но зато лицо, ах ты Господи, что это было за лицо: мало того что от страшной оспы у него вытек один глаз и на месте его осталась красная слезящаяся яма... Нет, у него еще по всему лицу, по всем направлениям, перекрещивались какие-то толстые, мертвенного цвета нитки из тела (точно такие, как бывают на опаре из теста)... Ну, просто страсть смотреть! И не мудрено, что он, бедный, всю свою шею вплоть до затылка густо, густо обматывал складками огромного кисейного галстука; просто спрятаться хотел от любопытных глаз, несчастный человек... А какой он был добрый, ласковый; какой при разговоре голос у него был мягкий, приятный! Но зато, как начнет, бывало, читать вслух свою «Илиаду», откуда у него что возьмется! то затянет, то завоет, то как лев зарычит, хоть вон беги... Мода, говорят, тогда такая была. Помню я, как мой отец всегда злился и из себя выходил от этой ненатуральной декламации.

Вспомнилось мне теперь кстати о Гнедиче, как он раз своею декламациею кровно огорчил папеньку в день его именин. Этот казус случился, когда сестре Лизе было уже лет пятнадцать; училась она прекрасно; как все девицы в эти годы, очень любила стихи и хорошо читала их. Вот маменьке и пришло в голову сделать отцу на именины сюрприз: заставить Лизаньку разучить какую-нибудь небольшую театральную сценку только в два действующих лица и чтобы она сыграла ее имениннику. Надо было все это устроить тайно от отца, и маменька попросила Николая Ивановича помочь ей в этом деле. Он взялся с вели-

кою радостью. Выбрал сцену из «Эдипа в Афинах» Озеровского перевода, назначил Лизе быть Антигоной, а роль слепого Эдипа дал дяде Константину Петровичу. Считки и репетиции делались тайно у бабушки наверху; Гнедич никого туда не пускал и один там дрессировал по-своему Эдипа и Антигону. Кулисы кое-какие дома были, а костюмы сшила маменька. Пришел день именин; вечером отца взяли под руки, свели в залу и торжественно посадили в кресло. Тетка Мария Федоровна ударила по клавишам нашего фортепиано, занавес раздернули на обе стороны и открыли зрителям на авансцене очень натурально сделанный из картона камень. Еще послышался какой-то веселенький «ритурнель» [5], и Антигона вывела на подмостки слепого отца. Надо сказать, что дядя Константин Петрович для пущей вероятности того, что он слеп, еще за кулисами крепко зажмурил глаза и шел за Лизанькой, точно не видя ни зги... Антигона выступала мерным трагическим шагом... Эдип, не зная, куда его ведут, семенил ногами, путался и спотыкался в своем сером коленкоровом рубище...

Ему надо было начинать. Он растерялся, засуетился, заторопился и без всякой декламации, глотая слова, выпалил сразу:

Постой, дочь нежная преступного отца,
Опора слабая несчастного слепца!
Печаль и бедствия всех сил меня лишили...

Ему в ответ (совсем не по-Лизанькину) затянула, застонала с драматической икотой Антигона:

Здесь камень вижу я... Над ним древа
Склонили густую тень свою... Ты отдохни на нем!

Отца всего передернуло... Его ли это Лизанька?

Эдип опять засуетился и неизвестно зачем прокричал страшным голосом:

Спокойно я мой век на камне кончу сем!

И с этими словами, не открывая глаз и вообразив, что садится на камень, рухнулся всем телом мимо него и растянулся во весь рост на полу.

По залу пронесся взрыв хохота... Лизанька заплакала... Отец вспыхнул, как зарево, но из приличия усидел на месте...

Я думаю, что этого маленького образчика довольно, чтобы понять, какие муки вынес вспыльчивый отец во время этого злосчастного представления...

Наконец, занавес задернули, мучение кончилось, отец мог встать. Его сейчас же со всех сторон окружили гости и закидали вопросами.

— Ничего не понимаю! — отвечал он.— Что сделалось с Лизой? Она обыкновенно так хорошо, так толково читает, а сегодня я ее не узнаю! Какой это дурак ее изуродовал, научил этой неестественной дикции?..

Гнедич стоял тут же. Не могу сказать, как он проглотил эту пилюлю; знаю только, что папенька, узнав, что Лизаньку учил Николай Иванович, очень сожалел о том, что у него сгоряча сорвалось с языка такое грубое слово... тем более потому, что Гнедича он любил как литератора и глубоко уважал как человека.

Жизнь наша на Черной речке текла очень приятно. По утрам отец обыкновенно вставал чуть не с петухами и садился у окошечка вырубать свои медали... Или исчезал куда-то, вероятно, уходил в должность на Монетный двор... Маменька, тетка и бабушка работали целое утро кто во что горазд. Таких рукодельниц, как они были, поискать, так не найдешь: у нас все делалось дома, от шляпки до башмака. Даже бабушка Мария Степановна, с очками на носу, прелестно кропала мои детские платьица. Сестра Лиза с Sophie Греч (две умные девы) где-нибудь в тени учились или читали, а мы, мелюзга со всего двора, играли без конца.

Часам к четырем папенька возвращался домой и сейчас же облекался в розовую холстинковую русскую рубашку. К обеду почти всегда приходили из Петербурга дедушка и дяди. Обед накрывался под навесом сарая. Пообедав наскоро, чем Бог послал, все дружною толпою высыпали на двор и кто во что горазд начинали наслаждаться летнею свободой. Дамы играли в серсо, молодые мужчины засаживали в землю свайку и даже часто подвизались в бабки... Папенька потешал всех своими тур-де-форсами: [6] то метал с необыкновенною быстротой медные шары, то вертел над головой длинный снур с двумя тяжелыми кистями, то кидал колесом, один за другим, десяток больших ножей. И все у него спорилось и ладилось, как у настоящего акробата: удивительно ловок был он. Пробовал выделывать все эти штуки дядя Константин, но они у него как-то не удавались: снурок с кистями заматывался

около его горла и душил его, а шары без церемонии падали ему на маковку...

Дедушка во время всех этих упражнений смирно покуривал свою фарфоровую трубочку и добродушно посмеивался над играющими. Иногда вместо этих игрищ катались на своем катере по Черной речке; дамы гребли, отец правил рулем. По воскресеньям, бывало, все вместе гурьбою отправлялись гулять в Строгановский сад. Всем любопытно было посмотреть, как старичок граф Строганов с женою своею любезно принимали и чествовали в своем саду чернореченских дачников. Кто из петербургских жителей не знает большого круглого луга, окруженного широкой дорожкой, которая начиналась у подножия террасы Строгановской дачи, доходила до пруда с Нептуном и огибалась кругом всего луга. Так вот на этой террасе всякое воскресенье после обеда сиживал на кресле старый граф; гости и вся семья окружали его. Помню даже, как он был одет: седая голова у него была завита «à la aile de pigeon» [7], всегда в черном фраке со стальными, гранеными, точно бриллианты, пуговицами, в черном атласном pantalon collant *, в шелковых черных чулках и башмаках с пряжками; на груди густое плоское жабо и такие же оборочки около кистей рук. На пальцах драгоценные кольца, а из кармана жилета всегда болтался на цепи целый пук печатей. Собою он был важный, полный, одним словом, барин с ног до головы. Графиня, жена его, была высокая, стройная женщина с бледным, печальным лицом. Она носила всегда черное платье и чепец с белыми лентами.

Вот сидят они с гостями, кофе кушают, а где-то сбоку, в кустах, знаменитая тогда строгановская роговая музыка играет...[8] А как только на круглой дорожке наберется много гуляющих, граф встанет с своего кресла, махнет музыкантам платком, они заиграют польский, а он спустится с террасы, раскланяется с первой попавшейся ему дачницей, ангажирует и, взяв за руку, гордо подняв голову, поведет ее во главе польского вокруг луга. Графиня тоже возьмет себе дачника и пойдет за мужем во второй паре, за ними последуют их гости, а там и все гуляющие попарно вытянутся длинною вереницей... Когда обойдут весь круг, граф и графиня откланяются со своей парой, войдут опять на террасу, поклонятся всей публике

* «в виде крыла голубя»... узких панталонах (*фр.*).

вообще, попросят ее веселиться без стеснения и удалятся в свои покои.

И точно, неважные чернореченские дачники танцевали и веселились без всякого стеснения и от всей души. И даже чай даровой официанты выносили танцующим от графа... Ну, не прелесть ли это! И что дороже всего, при этом веселии будочника не было ни одного, и скандалов тоже не было, все обходилось по-домашнему, чинно и прилично.

Вообще Черная речка могла похвастаться в то время своею тишиной. Вот жившие в Новой Деревне жаловались, что дачникам от стоящих там кавалергардов [9] житья нет... Говорили, будто офицеры ходят мимо дам на Неву купаться в одних только накинутых на тело простынях и домой возвращаются в таком же костюме, что по ночам они бегают вдоль деревни, стучат дубинами в ставни и кричат: «Пожар! пожар!...» Перепуганные со сна женщины выбегают на улицу в одном белье... Насколько все это было справедливо, не знаю, но вот что отец мой и все жители Черной речки того времени видели своими глазами: молодым повесам, кавалергардским офицерам, видно, тесно показалось творить свои проказы в одной Новой Деревне, и они начали пробираться в нашу мирную обитель... По ночам на Черной речке начал разъезжать черный катер с поставленным на нем черным же гробом; гребцы и сидевшие с факелами около гроба люди были одеты в черных плащах и больших круглых черных шляпах, как похоронные факельщики того времени. Все они заунывно пели «Со святыми упокой» и этим будили и пугали крестьян и дачниц... Вскоре узнали, что факельщики эти были не кто иные, как молодежь кавалергарды, а в гробу почил не покойник, а шампанское. Днем они тоже не сидели спокойно, а с криками, шумом и гамом носились по нашей деревне на своих собственных пожарных трубах, все стоя на ногах, в сюртуках без эполет, в голубых вязаных шерстяных беретах с серебряными кистями, точно таких, как теперь носят дети... На углу Черной речки, там, где дорога направляется к имению Ланских, стояла двухэтажная дача с балконом. В ней жила хорошенькая французская актриса m-elle Adèle. За что-то ее бедную возненавидели кавалергарды. Раз как-то, среди бела дня, сидела она преспокойно у себя на балконе, как вдруг, откуда ни возьмись, налетели кавалергарды с своими пожарными трубами и с криками: «У Адели сердце горит!» — давай качать на нее холодную воду...

Несчастная женщина до того испугалась, что даже захворала... В другой раз мы с няней в Ланском парке набрели на несчастную Adèle, привязанную веревками к толстому дубу. Такая страсть была: шляпа с нее упала на траву, длинная коса распустилась; рвется, отвязаться не может и кричит как зарезанная... И это все они же, кавалергарды, натворили... Она гуляла утром, а они поймали ее, привязали к дубу и ушли.

А то еще у Николая Ивановича Греча с ними вышла неприятность: вздумалось ему как-то вечерком пойти гулять в Строгановский сад. Подошел он к плоту, а паром надо было подождать, на нем переезжала от Строгановского сада какая-то немочка с горбатенькой дочкой. Подъехали, мать вышла на берег, а девушка одной ногой вступила на плот, как вдруг с другого берега сильно дернули веревку, плот подался назад, бедная горбунья сорвалась и упала в речку... Греч проворно выхватил ее из воды и тут только увидал, что эту гадкую шалость устроили кавалергарды...

— Мерзавцы, негодяи, молокососы! Вы мараете свой мундир! Вас пороть надо! — начал орать им через реку Николай Иванович...

Они, погрозив ему кулаками, убежали... Обозленный Греч гулять не пошел, а вернулся домой. Не прошло и часа, как у нас за воротами послышались крики, угрозы, и на двор нахлынула толпа кавалергардов с огромными дубинами на плечах... Греч успел спрятаться. Пришлось к шалопаям выйти отцу моему. Так как все женщины в это время ушли в комнаты и увели со двора детей, то нам, кроме крика и смутного говора, ничего не было слышно. Потом на дворе все стихло, мимо наших окон по улице уже без дубин на плечах тихо и смирно прошли кавалергарды... Отец вернулся в комнаты, а Лизаньку и меня сейчас же выпустили на свободу... Таким образом мы тогда об этой истории ничего больше и не слыхали. Но после, много лет спустя, папенька, вспоминая о нашем сожительстве с Гречем на Черной речке, вспомнил и о нашествии на него кавалергардов и, смеясь, говорил: «Хороши были воины! Да и Николай Иванович был хорош! Нашумел, обругал их через реку, да и спрятался! Пришлось мне «в чужом пиру похмелье», выйти урезонивать этих с а в р а с о в б е з у з д ы. Не понимаю, как это я тогда удержал себя и тоже не вспылил... Кричат, орут: «Подайте нам Греча! Греч, выходи! мы бить тебя пришли...» Уж и сам не знаю, как мне тогда удалось укротить эту

молодежь и, не волнуясь, тихо, серьезно высказать ей, до чего она неприлично ведет себя, нося кавалергардский мундир; что Греча, кажется, нет дома, а в другой даче живу я и прошу их оставить этот двор и не пугать своими криками женщин и детей! И видно еще не неисправимый был народ: сейчас же начали смолкать, смолкли, переговорили между собою, бросили на землю дубины... И один молодой офицер от имени всех товарищей повел мне такую извинительную речь: «Поверьте, граф, что мы не знали, что рядом с Гречем живете вы... Иначе мы никогда не позволили бы себе войти к вам на двор и обеспокоить вас и ваше семейство!.. Простите великодушно нам наше необдуманное увлечение!» Все раскланялись и затем один за другим тихо вышли со двора... А как я теперь подумаю, умно сделал Николай Иванович, что вовремя спрятался. Хорош бы он был, если бы столько здоровенных молодцов побили его столькими здоровенными дубинами!..» И я тоже думаю, что они заколотили бы его до смерти.

Но с тех пор опять на Черной речке стало тихо, черная лодка перестала ездить, и пожарная команда с пожарными в голубых шапочках больше не показывалась, и даже история с Гречем замерла совершенно.

Гораздо позднее я узнала, что зачинщиком и коноводом всех этих неблаговидных шалостей на Черной речке молодых кавалергардских офицеров того времени был известный богач и кутила Савва Яковлев [10]. Случай привел меня даже познакомиться с ним, когда я была замужнею женщиною. Расскажу про эту встречу лучше теперь, чтобы после не забыть. Мы с мужем были так близко связаны с Академией художеств, что никогда не переставали водить знакомство с художниками и всегда интересовались всем, до них касавшимся. Как-то раз мы узнали, что один молодой художник — фамилию его теперь забыла — захворал чахоткой, и чтобы спасти его, оставалась одна надежда отправить его поскорее за границу. На беду художник был беден, стало быть, другим надо было достать ему денег на поездку и лечение. Но где взять? Думали, думали и решили обратиться к богачу Савве Яковлеву, который, по слухам, охотно помогал бедным художникам. Из мужчин никто не решался к нему идти, говоря: «Нет, нам он не даст ни гроша! Его должна просить женщина, тогда он раскошелится». Выбрали посланницей меня и научили, что ехать к нему на дом неловко, а самое лучшее поймать его в маскараде.

Я послушалась, облеклась в домино и в первом же маскараде в Большом театре подошла к Яковлеву. Он в то время был настоящая руина. Увидя, что я подхожу к нему, он с гадкой улыбочкой оглядел меня с ног до головы и перехваченным, хриплым голосом спросил:

— Ты знаешь, кто я?

Я ответила, что знаю.

— Ты, кажется, порядочная женщина, зачем же ты подошла ко мне? Разве ты не знаешь, что подойти к Савве Яковлеву в маскараде значит потерять свою репутацию.

— У меня есть до тебя дело,— поспешила ответить я и затем смело и горячо стала просить его за несчастного молодого художника. Он выслушал меня с тою же гадкою улыбочкой до конца и потом сказал:

— А, так вот оно что, ты подошла не ко мне, а к мешку с деньгами! А кабы в мешке не было денег, ты оттолкнула бы меня от себя ногой?

— Этот вопрос не к делу! Я подошла не к бесчувственному мешку с деньгами, а к человеку с сердцем и душой, который может помочь ближнему.

— Напрасно. Теперь я денег никому не даю. Я сам умираю. Посмотри, я уже снял свой портрет в гробу. Посмотри, хорош?

С этими словами он вынул из бокового кармана фотографическую карточку, на которой был изображен в гробу под покровом со сложенными на груди руками.

— Хочешь, возьми на память обо мне,— добавил он, протягивая ко мне карточку,— а денег для твоего художника я не дам.

Разумеется, я от него карточки не взяла и, несолоно хлебавши, рассталась с денежным мешком.

После первого лета, проведенного на Черной речке, папеньке она, видно, очень полюбилась, потому что мы жили там и с теми же соседями всякое лето до смерти государя Александра Павловича. Бесцеремонная дачная жизнь, кажется, еще больше сдружила нашу семью с Лобановыми и Гречами, и дружба эта продолжалась много лет. Осенью мы опять перебрались в светлый дом Слатвинского, где папенька пристрастился еще более к рисованию акварелью и гуашью; там он нарисовал много прелестных цветов, птичек и бабочек и, между прочим, нарисовал с натуры портрет меньшей сестры моей матери, Александры Федоровны Дудиной. На этом рисунке хорошенькая тетка моя изображена в ярко лунную ночь,

сидящею на подоконнике большого венецианского окна с гитарою в руках. Удивительно эффектно вышли на этом рисунке отблески луны в каштановых локонах тетки и в ее белом платье [11].

В доме Слатвинского нам пожилось недолго. Папеньке улыбнулось счастье: ему наконец дали давно желанную казенную квартиру, и мы переехали в 3-ю линию Васильевского острова, в дом, принадлежащий Академии художеств. Этот дом весь Васильевский остров знал под кличкою «розовый дом». Но чтобы дать ясное понятие о нашем тогдашнем житье-бытье и о разных событиях, которые совершились во время нашей жизни в «розовом доме», мне необходимо описать его подробно, потому что, как говорится, всякий уголок в нем мне будет нужен для моих рассказов. В то время по 3-й линии, сейчас за Академией, тянулся старый деревянный забор академического рекреационного двора [12] учеников (ныне академический сад, который проходит до 4-й линии). За ним, на том самом месте, где теперь стоит здание мозаического заведения, тогда стояли три деревянные дома с особыми дворами. В первом доме жил архитектор Гомзин, второй был назначен папеньке для жительства, а в третьем помещался профессор живописи Варнек. Наш «розовый дом» был красивее двух домов наших соседей. Одноэтажный, с мезонином и стеклянным колпаком над крышей, он, вероятно, был выстроен еще в то время, когда грунта под постройку домов в Петербурге не жалели, когда дома не ползли к небу, а расползались вширь по земле-матушке насколько угодно... С надворной стороны мезонина совсем не было, а только под крышей там и сям лепились наростики и пристроечки, в которых жилось очень уютно... На нашем большом дворе, кроме нас, в кирпичном красном домике, была мастерская академического столяра и известного в то время резчика по дереву, мужичка Салова *. Ход в нашу квартиру был со двора. Через стеклянную галерею входили прямо в огромную переднюю, из которой поднималась лестница в верхние помещения; за нею шла маленькая приемная, потом шли парадные комнаты: зала, гостиная и спальня. Посреди дома был круглый кабинет с колоннами, освещенный сверху стеклянным колпаком. За парадными комнатами из спальной шли уже жилые: столовая, наша детская, комната нянюшки Матрены Ефремовны,

* Ошибка М. Ф. Каменской: Салина. (*Примеч. сост.*)

кухня и многое множество кладовых и чуланчиков. С такими удобствами жилья теперь в Петербурге не найдешь. Наверху разместилась бабушка Марья Степановна, три мои тетки и все наши домочадцы. Удивительно, как папенька с помощью женских рук матери моей и теток ухитрился дешевым способом меблировать свою квартиру в греческом вкусе. Так все было изящно и необыкновенно, что даже заезжавшая к нам изредка бомондная родня разевала рот от удивления... Мебель вся была сделана по рисункам папеньки охтенским мужичком-столяром. Обивку для мебели по самым простым дешевым материям греческими узорами вышивали три мои тетки. Обивала мебель, драпировала и вешала занавески сама маменька, она у нас, между прочими ее искусствами, была и искусный обойщик... А главное, что в ней было дороже всего, это то, что она на лету схватывала мысли своего мужа-художника и исполняла их в точности. Описывать всю обстановку нашей новой квартиры было бы долго. Но ее ведь и теперь во всякое время можно видеть, стоит только погулять по залам Академии художеств и взглянуть на семейную картину графа Ф. Толстого. На этой картине едва видна через дверь в гостиную спальня, поэтому то, чего не видно, я постараюсь дополнить от себя. В спальне интереснее всего была античная широкая кровать, с выгнутой в виде лебединой груди спинкой, с колчанами вместо передних ножек; над нею был брошен роскошный полог, как бы на лету пронзенный золотой стрелой и приколотый ею к стене. В головах этот полог перебрасывался одним концом через высокую узкую греческую колонку с прозрачной мраморной лампадой, которая по вечерам пропускала сквозь себя слабый загадочный свет; другой конец полога роскошными складками упадал сверху бюста на плечо бога сна Морфея [13] (тоже работы папеньки), который стоял в ногах на пьедестале, а затем расстилался до самого пола. Короче сказать, это была не кровать, а сама Греция — ложе Амура и Психеи...[14] До остальных жилых покоев дух Древней Греции не долетал, в них все было совсем просто. В парадном кабинете, освещенном сверху, окон не было, а потому папенька облюбовал себе в нашей столовой окошечко, выходившее на двор профессора Варнека, облюбовал и завладел им совершенно. Придвинул к нему свой рабочий стол и, сидя в своем любимом, изорванном халате, точно бедненький мастеровой, резал и вырубал свои штемпеля и медали. Этот любимый халат был до того ужасен, что

шалуньи тетки мои сыграли раз с папенькой шутку: вместо заплаты, пришили железную заслонку от печки. Но и это издеванье не помогло: папенька со смехом отпорол ножичком заслонку и опять в нем же уселся за работу. Около этого рабочего стола ютились два немца: один приватный папенькин ученик, медальер Торстенсен, беднейший из беднейших немцев; другой, датчанин Кнусен, часовщик; этот подготовлял для папеньки разные колесики и пружинки, нужные ему для состава остроумных фокусов его собственного изобретения, которыми он любил удивлять своих гостей. Фокусы в то время, когда мы жили в «розовом доме», тоже сильно интересовали папеньку.

Эти милые два немца пустили корни в нашем доме и сделались совсем домочадцами в нашей семье. К обеду папенька покидал свой милый халат, облекался в черную бархатную блузу и являлся к столу красавчиком. После обеда он забирал свою восковую работу и перекочевывал в спальню маменьки на угловой диван и там у круглого стола, в кругу дам, при свете двух сальных свечей, принимался лепить один из оригиналов будущих медалей войны 1812 года. Одна из дам читала вслух какой-нибудь страшный роман Ратклиф, другие работали... Говорят, что я тут же присутствовала, только не работала, а сладко спала за спиной папеньки; меня жалели тревожить и не уносили в детскую.

В зале у нас давались вечеринки, маскарады и спектакли. В старину люди были сентиментальны, и потому эти спектакли давались всегда сюрпризом и непременно по случаю чьих-либо именин. Сцена и вся обстановка изготовлялись тайно в той же зале, при закрытых дверях. И даже прислуга для прочности тайны в залу не допускалась. Работали там только родные руки маменьки, теток и дядей... Разумеется, папенька орудовал больше всех, на его долю приходилось самое трудное: он писал кулисы и писал их не небрежно, как их всегда пишут, а так, что у него выходили не кулисы, а прелестные пейзажи. Как жаль, что ни одно полотно его декоративной работы не сохранилось; их уничтожило наводнение 1824 года. По случаю этих тайн и секретов на нашем театре случались уморительные казусы, например: раз перед самым началом спектакля, на что-то недостало обойных гвоздей; надо было скорее их купить, но кого послать? Людей нельзя, не равно проболтаются... Самим господам тоже нельзя: все они уже костюмированы, нару-

мянены и в париках; как же в таком виде бежать по улице? Наконец, тетки мои придумали послать в лавку верного немца Торстенсена, но и тут беда; он так гадко говорит по-русски, что лавочник его не поймет. Но все-таки позвали бедного немца и начали его учить. Учили, учили и, наконец, выучили. Накинув свою шинелишку, с криком: «Квости обойна, квости обойна!» полетел он в лавочку... Ждут его, ждут, все нет! Наконец, он, весь заплаканный и перепачканный грязью, показался в дверях.

— Что ты так долго? Давай, давай скорей,— кричат ему навстречу. Но, увы, гвоздей нет!..

И несчастный немец, размазывая рукой по лицу грязь и слезы, едва мог ответить:

— Мой упал луж, мой забыл...— и опять залился горючими слезами.

Оказалось, что бедный посланник на бегу в лавочку поскользнулся, шлепнулся в лужу и от этого падения забыл заученный им так твердо урок. Поневоле пришлось послать за гвоздями мальчишку Ивана и тайна была нарушена.

Ни одно представление не проходило без какого-нибудь приключения. То торопыга дядя Константин Петрович выскочит на сцену, когда занавес поднят только на четверть аршина и одни только его ноги в полосатых чулках пробегут мимо зрителей и произведут общий хохот... То, когда за сценой должна раздаваться пальба из пушек, ничто даже не щелкнет, потому что бумажные хлопушки сами актеры подмочили квасом, и они превратились в кисель... То тетенька Надежда Петровна, которая вечно все перевирала, в роли трактирщицы, в фельдмаршальском мундире, в пьесе Коцебу, вместо того, чтобы сказать: «А к нам гостей путем поналетело», скажет вместо гостей «гусей поналетело» и насмешит опять зрителей до слез...

Но все эти маленькие промахи и ошибки никогда не мешали сюрпризам удаваться вполне. Виновник торжества «именинник» всегда был глубоко тронут сюрпризом и благодарил родных-актеров со слезами на глазах. Актеры были счастливы тем, что игру их похвалили. Хозяева театра, папенька с маменькой, блаженствовали уже потому, что к ним собрались милые им люди и что удалось их повеселить...

Блаженный век, когда люди умели довольствоваться малым, умели быть истинно дружны, когда не от одних горестей и несчастий, а и от теплого чувства выступала

слеза на глазах... Смеются теперь над добрым старым временем, говорят: «У вас у всех тогда глаза были поставлены на мокром месте!» Ну что ж, по-моему, это все-таки лучше, чем сухое сердце и сухие глаза...

Всех гостей папеньки, кроме моих старых знакомых: Греча, Гнедича, Лобанова и Булгарина, я, конечно, не помню, но по рассказам знаю, что у нас часто бывали: Бестужев, Рылеев, Верстовский, Лонгинов, князь Одоевский, Яков Иванович Ростовцев [15], тогда еще молодой офицерик и страшный заика, которого маменька учила говорить не заикаясь, вкладывая ему камушки в рот. Своих родных папенька приглашать не любил даже тогда, когда они к нему напрашивались сами.

— Что это, Теодор, ты меня никогда к себе не зовешь? Говорят, у вас бывает так весело!..— сказала раз папеньке двоюродная сестра его, графиня Аграфена Федоровна Закревская [16].

— Да оттого, Груша,— отвечал он ей,— что у тебя со мной и моей женой нет ничего общего, и тебе будет у нас скучно!

Она все-таки навязалась и приехала к нам на вечер, но вести себя, как бы следовало, не сумела...

— Ma cousine *, что у вас сегодня было за обедом? — вдруг ни с того ни с сего спросила она у маменьки.

Маменька сконфузилась и назвала ей три кушанья, из которых последнее было — квасной кисель. Графиня Аграфена Федоровна с удивлением опять спросила:

— Что это такое квасной кисель? Я никогда его не ела, это вкусно? Дайте мне немножко его попробовать!..

Принесли тарелку киселя в гостиную и поставили перед ней на греческий столик; и она при всех наших гостях, разряженная в пух и прах, в пунцовом берете с перьями, начала одна уплетать кисель за обе щеки, приговаривая: «Mais s'est très bon» **. Проглотила всю тарелку, потом попросила квасу, попила, сказала несколько раз маменьке: «Хи... хи... хи... ma cousine!.. ха... ха... ха!.. ma cousine!..» и уехала. Графиня Закревская с женщинами говорить не умела. Вообще ее нашествие к нам было очень похоже на то, как дамы-благотворительницы пробуют у нищих щи...

Графиня Аграфена Федоровна была дочь родного дяди и крестного отца папеньки, графа Федора Андрееви-

* кузина (*фр.*).

** Однако это очень вкусно (*фр.*).

ча Толстого [17], очень богатого человека, потому что он был женат на раскольнице, дочери московского откупщика Дурасова. Дедушка Федор Андреевич слыл в то время антикварием и большим любителем древностей, хотя сам в них мало имел понятия и всегда, делая новые приобретения, прежде советовался с папенькой и имел большую веру в знания своего крестника.

И надо сказать, что этот дядя был всегда добр к папеньке и никогда, даже во время невзгод, не покидал его. А после, когда папеньке, как говорят по-русски, вдруг повезло, Федор Андреевич первый возрадовался и начал гордиться своим крестником. Папенька часто навещал старичка, но я что-то не помню, чтобы этот дедушка сам приезжал к нам в «розовый дом», но все-таки он помнил о нас, присылал к праздникам маменьке хорошие подарки, нам, детям, сестре Лизаньке и мне, прелестные игрушки. В то время он представлялся моему воображению скорее благодетельным волшебником, чем дедушкой. После я видала его и тетушку Аграфену Федоровну чуть не каждый день, сделалась их любимицей и баловницей, но все-таки не могу сказать, чтобы чувствовала к нему такую же привязанность, как к дедушке Петру Андреевичу. Да, этот дедушка был сама доброта и ласка!.. Какая жалость, что мне не удалось с ним пожить, когда я стала побольше и могла бы оценить его вполне!

По рассказам о нем, дедушка был редкий человек и настоящий барин. Несмотря на то, что он не был богат, он всегда, по силе возможности, делал добрые дела, не гордился, принимал людей не «по платью». Забыть свои собственные нужды и успокоить ближнего было для него счастьем. С людьми своими обращался с такою добротою, что ни один крепостной человек от него на волю уйти не хотел. Но, вместе с тем, Петр Андреевич, такой милостивый к бедным и меньшей братии, богатому — будь то хоть брат родной — на ногу себе наступить не давал. Примером тому может служить маленькая стычка между ним и его меньшим братом, графом Федором Андреевичем, тем самым, о котором я только что говорила. Граф после отставки своей не имел средств держать собственный экипаж, на гитарах * ездить не любил, а потому усвоил привычку много ходить. Для него обойти пешком все острова и вернуться домой ничего не составляло. Вот раз как-то, тоже по образу пешего

* Дрожки того времени. (*Примеч. автора.*)

хождения, дедушка отправился на Аптекарский остров к меньшому своему брату Федору Андреевичу. Тот, сидя на своей великолепной террасе, еще издали признал его и с завистью глядел на крепкую, бодрую походку старика. Едва успели братья поздороваться, как Федор Андреевич сказал:

— Я давно увидал тебя и все любовался на твои ноги! Каким ты, брат, молодцом до сих пор ходишь... Я хотя тебя моложе, а перед тобою спасую. Вот, подумаешь, как Господь-то к нам милостив: тебе, бедному человеку, дал крепкие ноги, а мне, слабоногому — карету.

— Дурак! Вместо того, чтобы любоваться ногами старшего брата, ты бы приказал заложить свою карету и послал бы ее за мной! Да, видно, у тебя на это ни мозгу, ни душонки не хватает!..

Федор Андреевич на слова брата расхохотался, как будто бы не почувствовал щелчка, но зато, когда старик, посидев у него недолго, собрался уходить, он вдруг ласково стал его удерживать:

— Куда ты? Посиди! Еще рано... Я отвезу тебя в моей карете.

— Не беспокойся, бедному человеку Бог дал ноги! Сядь лучше в кресло да полюбуйся опять на мои ноги... А я в твоей карете не ездок...

И граф Петр Андреевич быстро, как молодой, скрылся из глаз богатого брата. И ни разу в жизни, говорят, в карету его не садился. Прямая и чистая душа был мой дедушка! И за то как все любили и уважали его. А уж маменькины сестры и братья просто боготворили старого графа Петра Андреевича за его доброту к ним. И надо правду сказать, что они иногда слишком пользовались этой добротой. Бывало, выдумают какую-нибудь шалость, и первый у них в заговоре и секрете старый граф. И он, баловщик, поддается и на старости лет дурачится с ними вместе. Не могу не рассказать проказы, в которую наша молодежь втянула и дедушку.

Ездила к нам в ту пору воспитанница какой-то богатой старушки Ланской, по имени Марья Алексеевна Колесникова; барышня очень толстая, очень дурная собой и очень глупая, которая была убеждена в том, что она красавица, и мечтала выйти замуж за какое-нибудь высокопоставленное лицо. По воскресеньям у нас собирались все родные и короткие знакомые. И Машенька Колесникова всегда приезжала к обеду и проводила у нас целый день. В одно из воскресений тетки мои ожидали ее

с особенным нетерпением и, как только она вошла в переднюю, встретили ее словами:

— Машенька, знаешь, кто у нас сегодня будет? Какая радость, какая честь!..

— Кто?.. Что такое?..— вспыхнув вся, спросила Колесникова.

— Тебе не отгадать ни за что!.. Это такое неожиданное счастье!..

— Не мучьте меня, милочки, скажите скорей!

— К нам обещался сегодня вечером приехать владетельный принц Оранский!.. Каково благополучие!..— объявили, наконец, тетки мои, прыгая от радости.

— Неужели?.. Ах, милочки, а как же я-то? Мне надо скорей ехать домой переодеться!..— засуетилась Марья Алексеевна.

— Не надо, Машенька, не надо!.. Его высочество приказал, чтобы все были по-домашнему! И мы переодеваться не будем. Пойдем скорее наверх, мы тебе все расскажем...

За обедом у всех только и речей было, что о несказанной милости принца Оранского к нашему семейству.

— Принц милостив, это верно, но все-таки нам, господа, не надо забывать придворного этикета! — сказал строго дедушка. — Я первый в передней встречу его высочество и подойду к руке... Вы, мужчины, все за мной, и тоже к руке. А вы, mesdames *, стойте в дверях залы и, как принц подойдет к дверям, сделайте общий глубокий реверанс...

— Ах, какое несчастье, что я этого ничего не увижу... Я сегодня вечером дежурный по полку...— с горьким вздохом сказал меньшой брат маменьки Алеша Дудин.

— Какая жалость! Да вы бы, Алешенька, попросили за себя кого-нибудь подежурить,— с сожалением посоветовала Машенька.

— Нельзя! Служба прежде всего! — ответил очень серьезно дядя, и точно после обеда он простился со всеми и уехал.

К вечеру вся наша квартира осветилась кенкетами...[18] Дедушка с кавалерами в передней, а дамы в дверях залы ожидали приезда принца Оранского. Вдруг раздался неистовый звонок, двери распахнулись на обе половины, и высокий, напудренный, набеленный, нарумяненный мужчина, в ленте через плечо, весь увешанный

* сударыни (*фр.*).

иностранными звездами и орденами, величественно вошел в переднюю; окинув всех быстрым взором, он милостиво протянул два пальца графу Петру Андреевичу и сказал:

— А, Толстой! Очень рад, братец, тебя видеть!

Дедушка преклонился и с глубоким уважением облобызал протянутые ему пальцы. Остальные мужчины хотели сделать то же, но его высочество, не удостоив их этой чести, торопливо пошел к дамам. В дверях он, пораженный удивлением, остановился и с восторгом воскликнул:

— Что за цветник я вижу перед моими глазами!.. Лилеи... розы... что за роскошные розы!..

И принц рванулся к Колесниковой, схватил ее пухлую руку и жадно прильнул к ней губами... Потом, не обращая больше ни на кого внимания, взял ее под руку и повел в залу, напевая ей что-то на ухо. Машенька от радости онемела и только счастливо улыбалась... Принц не отходил от нее ни на минуту и глядел ей страстно в глаза, отпуская фразы вроде этой:

— О, роза, роза! Как счастлив будет тот принц, который введет в свои чертоги такую красавицу-принцессу, как вы!

Наконец, его высочество изъявил желание начать танцы... Тетенька моя Марья Федоровна сейчас же присела за фортепиано и заиграла шумный вальс. Принц прижал к себе крепко толстую деву и закружился с ней в бешеном вальсе. Другие кавалеры ангажировали дам и последовали их примеру...

Вдруг принц остановился среди круга, выпустил Машеньку из рук и громко закричал:

— Вальс? Нет, это не то!.. Это скучно! Mesdames, позвольте мне научить вас танцу, который танцуют при моем дворе!.. Танец «фон-туртельтак», это прелесть!

Все дамы изъявили согласие.

— Я сейчас вас выучу, только я запыхался... Граф Петр Андреевич, дай, братец, мне что-нибудь напиться! — крикнул он дедушке, который сидел в уголке, и старый граф сейчас же принес принцу на серебряном подносе стакан квасу.

Во время этого короткого антракта Машенька Колесникова успела обежать всех моих теток и задыхаясь шепнуть им:

— Милочка! Ведь он, кажется, сделал мне предложение!.. Ах, милочка, какие намеки, какие намеки!..

На это барышни Дудины отвечали ей:

— Смотри, Машенька, когда будешь «в случае», не забудь нас, бедных!..

— Озолочу вас, милочки, озолочу!..

И Колесникова опять кинулась к принцу.

Тетка Марья Федоровна забарабанила экосез [19]. Принц подхватил в объятия Машеньку и начал в одно и то же время и дирижировать, и исполнять свои собственные приказания...

— Фон-туртельтак! — закомандовал он во все горло.— Все парами!.. Все по углам!.. Все в кучу!.. Кружитесь!.. Мазурку!.. Галоп!.. Матлот!..[20] Balancez!..* Меняйте дам!.. Галоп по всем комнатам!.. Опять в кучу!..

Охриплым голосом кричал принц, носясь, кружась с Машенькой и тиская ее в кучу танцующих... Все это менялось быстро, без остановки. Общий хохот заглушал игру Марьи Федоровны, наконец, она отбила себе пальцы и перестала играть; «фон-туртельтак» продолжался без музыки... Дамы одна за одной вырывались из рук кавалеров и в изнеможении падали на диваны... Один принц Оранский, напевая: «Без музыки таки-так! Без музыки таки-так!», насильно вертел и таскал Машеньку, которая, задыхаясь, молила его о пощаде.

— Ваше высочество!.. Пустите!.. Не могу... умираю...

Наконец, принц выпустил ее из объятий и с криком: «Прощайте! Уезжаю! Не провожать!»— выбежал в переднюю. Но и там не мог угомониться, его соблазнила оплывшая сальная свеча: он проворно захватил на палец сала, намазал им себе губы, опять влетел в залу и чмокнул Колесникову прямо в губы... румяна и белила с него уже все слезли, и тут только Машенька узнала его...

— Лешка подлец! Милочки, это не принц Оранский!.. Это брат ваш Лешка!.. Держите его!.. Держите его!.. Я ему выдеру уши...

Но Алеша Дудин уже «был таков».

Не прошло и пяти минут, как добродушная Марья Алексеевна уже хохотала над собой со всеми вместе.

— Вот надули-то!.. Вот надули... Да ничего, так было весело!..

— Да как ты, Машенька, могла поверить, ведь на принце Оранском все звезды и ордена были бумажные... Федор Петрович с Анетой их сами клеили...— сказал ей кто-то из теток.

---

* Покачивайтесь!.. (*фр.*)

— Еще бы не поверить, когда он графу Петру Андреевичу «ты» говорил и за квасом его посылал, всякий бы поверил!..— серьезно сказала Машенька.

— Ну, я один стал виноват!.. Ах, вы, шалуньи, втянули меня, старого, в грех!.. И точно виноват!.. Прости меня, голубушка, Марья Алексеевна!..

И обнял и поцеловал ее.

— Смею ли я на вас сердиться, граф!..— осчастливленная поцелуем старика, сказала Машенька.— А уж Лешку, негодяя, я когда-нибудь высеку, непременно! Будет он у меня помнить принца Оранского!

— Да, да, пересолил немножко его высочество Алексей Федорович,— добродушно прощаясь со всеми, проговорил дедушка и пешком побрел к себе в 13-ю линию.

После этого рассказа про дедушку Петра Андреевича, кто бы мог подумать, что этот здоровый, веселый старичок скоро уйдет от детей своих навсегда?.. А это несчастие посетило нас совсем неожиданно, накануне моих именин 20-го ноября 1822 года. И как хорошо, утешительно для остающихся скончался он! Крепкий, как дуб, старичок вдруг ослаб и начал нет-нет да прилегать на постель, что с ним никогда прежде не бывало. Дяденька Константин Петрович испугался, засуетился, начал всякую минуту подходить к отцу и спрашивает его:

— Батюшка, вам нехорошо? Не послать ли за доктором?

— Не надо! Я не болен! — отвечал ему дедушка.

— Не послать ли за священником?

— Рано!.. Я скажу, когда будет пора... Да что ты торопишься, друг мой? Мне еще хочется побыть с вами, а после исповеди я буду уже не ваш! — И приказал дяденьке всех нас позвать к себе. Все семейство наше сейчас же пришло к нему. Всегда чопорный старик, против своего обыкновения, встретил гостей своих в халате и, улыбаясь, сказал:

Как случай этот нов,
Что я явился без штанов...

К столу, однако ж, дедушка выйти не мог, слабость заставила его опять прилечь... После обеда все вошли в его спальню и уселись около него... Он разговаривал и шутил со всеми. Попросил маменьку поднять меня к нему на постель, крепко поцеловал и сказал мне:

— Ты завтра, девка, именинница; вот смотри, видишь эти финифтяные образочки? — и он указал на связку

образов, которые висели около него на стене.— Это тебе в именины будет мой подарок! Как завтра тебе скажут, что дедушка твой «приказал долго жить», ты и кричи: где мои образа? Подайте мои образа!.. А то мать и тетки оберут твое наследство... знаю я их, плутовок!.. Ну, детка, дай я тебя благословлю! — И дедушка три раза перекрестил меня, поцеловал еще и сказал, отирая слезу: — Ну, а теперь пошла, бегай! Анна Федоровна, возьми ее, матушка!

Маменька, захлебываясь слезами, унесла меня и отправила домой.

Немного погодя, дедушка подозвал к себе дядиньку Константина Петровича и шепнул ему:

— Вот теперь пора, друг мой!..

Дядинька сейчас же послал за духовником его. До прихода священника дедушка благословил всех детей своих и простился со всеми людьми... Потом в полной памяти исповедовался и приобщился святых тайн; сам снял с своей шеи крест с мощами князей Щета, который всегда носил на себе, и со словами: «Этот крест приведет меня в царствие Божие»,— крепко прижал его рукой себе ко лбу. И рука его не поднялась больше: крест Господень привел дедушку в царствие Божие!..

Крест этот достался графу Петру Андреевичу от матери его, урожденной княжны Щетининой; родом она происходила от князей Ярославских и Тверских, из которых к лику святых причислены были князь Федор Щета с двумя его сыновьями: Давидом и Константином. Мощи их покоятся в одной раке в городе Ярославле, в Спасском монастыре.

После смерти дедушки жизнь наша потекла по-прежнему. Папенька работал без устали: то вырубал медали, то лепил, то рисовал свои чудные акварели... И, кроме всего этого, он еще часто делал модели для блюд и солонок, которые русское купечество при разных торжественных случаях подносило членам царской фамилии. Эти работы заказывал папеньке тогдашний почетный глава петербургского купечества Иван Васильевич Кусов. Папенька и маменька очень любили старика Кусова и в доме его приняты были как родные. Даже меня маленькую к нему водили. Но я его что-то не помню, а помню только бальный зал в его громадном доме у Тучкова моста (ныне больница св. Марии Магдалины). Этот зал был так длинен, что когда я стояла у одного конца, у входной двери, то на другом конце зала мраморный бюст импе-

ратора Александра I казался мне совсем маленький, и помню, как я удивлялась тому, отчего, когда я до него добегу, он делался такой большущий. После я много наслышалась рассказов про Ивана Васильевича Кусова. Он был очень богатый, именитый купец, человек умный и добрейшего сердца. Был женат три раза, и от трех жен имел множество детей; из них я сама могу насчитать 9 его дочерей и 6 сыновей и со многими из них была лично знакома. Так что в доме своем Иван Васильевич был настоящий патриарх! Говорят, что государь Александр Павлович так уважал и любил старика Кусова, что езжал запросто пообедать с ним и его семьей. И раз, говорят, даже провел у Кусова целый день на folle journée *, которые он ежегодно устраивал на масленице для детей своих, друзей и знакомых. Рассказывали тоже, что маскарады в доме Ивана Васильевича напоминали собою сказки Шехеразады. Все костюмы гостей его были буквально залиты драгоценными каменьями и бриллиантами... У маменьки моей этих великолепий не было, и потому она и не показывалась на эти празднества. Но раз как-то папенька, желая повеселить свою молодую супругу, придумал сделать себе и ей из разноцветной глянцевитой бумаги костюмы двух фарфоровых саксонских кукол — пастушка и пастушки, так чтобы их платья, шляпы, цветы и все аксессуары были из одной только бумаги, и костюмы брали бы одной только верностью подражания саксонскому фарфору и своею оригинальностью! Папенька с маменькой сами склеили эти костюмы, нарядились в них и поехали на маскарад к Кусову... Приехали и своею красотою и новизной выдумки разом затмили бриллианты, шелки и бархаты. Успех был полный!

Иван Васильевич был большой поклонник таланта моего отца, дорого ценил его труд и всегда хотел, чтоб каждая его работа для купечества была щедро вознаграждена. Но папенька за модели для блюд и солонок, назначенных для поднесения особам царской фамилии, никакой платы принимать не хотел и работал их даром. Это так огорчало Ивана Васильевича, что он даже раз сделал нападение на маменьку, говоря ей:

— Графинюшка-матушка! Я хочу тебе жаловаться на твоего мужа. Он у тебя фантазер-бессребреник! Прекрасно это, да за что же он меня-то, несчастного, терзает? Ведь мне совестно и обидно, что он с купечества за свой

* Здесь: праздник (*фр.*).

труд денег не берет... Будь хоть ты добрая, успокой ты меня, позволь мне тебе подарочек прислать, ну, хоть натурою: сахаром или чем другим в твое хозяйство.

— Что же это, Иван Васильевич, я у вас за мужа буду взятки брать? Как это возможно?

— Не взятки, матушка, а только подарочки от друга... Не обидь, разреши!.. Совести ведь моей от этого легче будет... Графинюшка, не огорчи старика, позволь!

И он так умолял и упрашивал, что маменька, чтобы не огорчить его, позволила ему прислать ей немного сахару, но больше ничего. И воспользовался же Иван Васильевич этим разрешением: он тотчас прислал своей милой графинюшке запас сахару на целый год. Бедная маменька даже испугалась, когда ей привезли его, и не знала, куда деваться с такой кучею голов сахару. Но нянюшка Матрена Ефремовна живо прибрала его к рукам, попрятала по шкафам, заперла на тридевять замков и ключи положила в карман. Отнять у нее этот насильственный подарок добряка Кусова, кажется, не смог бы даже сам папенька.

В последних числах сентября 1824 года семью нашу опять посетило горе: любимая всеми папенькина сестра, наша дорогая тетка Надя, вдруг опасно заболела воспалением мозга. Наш очень хороший годовой доктор Андрей Егорович Шестаков лечил ее усердно, но болезнь лечению не уступала, и, наконец, он, не желая брать на себя о д н о г о такой ответственности, попросил консилиума. Папенька сейчас же пригласил двух тогдашних петербургских светил — докторов Арендта и Газинга[21]. Они приехали, осмотрели больную, потолковали с Шестаковым по-латыни и объявили, что все средства, употребленные их собратом доктором Шестаковым для излечения графини Надежды Петровны, были совершенно правильны, но что, несмотря на это, больная по ее комплекции перенести такого сильного воспаления мозга не может и что продолжать ее еще лечить — значит брать деньги даром, а на это они не согласны. Взяли, должно быть, то, что в то время звездам первой величины за консилиумы полагалось, и уехали... Но зато были так внимательны, что, проходя по передней мимо нашего лакея Ивана, сказали ему:

— Смотри, любезный, скажи в кухне, чтобы грели воду. Больная графиня этой ночи не проживет, ее надо будет вымыть...

Но, слава Богу, тетку Надю ночью мыть не пришлось...

При ней остался наш добрейший Андрей Егорович. Отказ Арендта и Газинга точно ему развязал руки, и он энергично начал орудовать один. Делал больной какие-то особенные ванны, прописывал новые лекарства, должно быть, сильные, потому что когда его рецепты приносили в аптеку, то аптекарь спрашивал: «Неужели еще жива?» И не только осталась жива милая наша тетя Надя, но вышла из опасности и мало-помалу поправилась. Не успела эта беда свалиться с плеч, как нагрянула новая беда, но уже не на нас одних, а на целый Петербург. 6-го ноября со взморья подул неистовый ветер, Нева забурлила, забушевала и на другое утро выступила из берегов... Но я описывать наводнения 1824 года не могу, потому что видела только кусочек его из окон нашего мезонина [22]. А расскажу только то, что было в это время у нас в «розовом доме».

Во-первых, дяди мои, Константин Петрович и Алеша Дудин, задержанные накануне страшным ветром и бурей, на наше счастье, заночевали у нас и много помогли папеньке в страшный день 7-го ноября. Помню, как в этот день с раннего утра у нас в доме поднялись шум и беготня по всем комнатам... Маменька и наша няня Аксинья проворно одели Лизаньку и меня... Потом прибежал папенька, и нас увели наверх: Лизаньку, которая была не совсем здорова, к бабушке Марье Степановне, а меня — в комнату теток, где лежала больная тетя Надя. Там меня усадили на диван, приказали не болтать, не шуметь, чтобы не разбудить больной тети Нади. Я послушалась, присмирела, прикурнула в уголок и сама скоро заснула крепким сном.

Папенька, успокоившись насчет Лизаньки и меня, говорят, первым делом подумал о своей старой няне Матрене Ефремовне и хотел и ее тоже перевести в безопасное от воды место. Но это не так легко было сделать, как казалось папеньке. Старуха с первых слов его обозлилась и, не слезая со своих поднебесных перин, начала кричать на него, как на мальчишку...

— Нечего тебе делать, так ты людей будить!.. Вода, какая вода? Откуда вода? Почти 50 лет большой воды не было, а у тебя вода! Так я и поверила тебе, вот дуру нашел, озорник! Вон пошел от меня! Никуда я не пойду из моей комнаты, слышишь? Не пойду, и конец...

Нечего было делать, пришлось оставить до времени злую старуху в покое, и папенька пошел перетаскивать наверх свои работы, книги и вещи, которые поценнее.

Дяди мои в это время помогали людям таскать на чердак зеркала, бюсты и мебель из гостиной. Маменька тоже приходила к Матрене Ефремовне просить у нее ключей от шкафов, чтобы приказать людям перенести к теткам в мезонин годовую провизию сахара и другие вещи, которые скупая няня от них прятала. Но и на эту просьбу от злой старухи милостивой резолюции не последовало.

— На что тебе ключи? — крикнула она с своей кровати на маменьку. — Растащить все хочется? Вишь, новая хозяйка нашлась!.. Не дам я тебе ключей! Убирайся, не дам...

И бедная маменька тоже ушла от нее ни с чем. Короче сказать, старуха в это утро была просто невозможна, но ее упрямству пришел конец. Часа через три и ей, «Фоме неверному», пришлось поверить, что господа ее не обманывали. Вода уже с ревом бежала по всей 3-й линии, двор Варнека и наш были залиты; из подвала сквозь пол вода прорывалась в ее комнату... Уже по щиколотку в воде вбежали к ней дяди мои и папенька и на этот раз без церемонии потащили ее с кровати... Но она и тут еще боролась и кричала:

— А мой сундук? Я без сундука не позволю себя тащить наверх!.. Несите вперед сундук, а потом меня... Я без сундука не дамся вам в руки!..

Терять время было невозможно. Пришлось исполнить и этот каприз... Мои бедные дяди с трудом подняли старухин кованый красный сундук и потащили его на лестницу, а папенька за ними следом понес на руках свою усмирившуюся няню. Дорогой жадная Матрена Ефремовна вспомнила про свои перины и подушки и их стала требовать. После папенька приказал людям снести ей все, что она просила, и старушку со всем ее скарбом поместили в особом уголке.

Не знаю, долго ли я спала, но помню, что меня разбудил крик и плач тетки Нади, которая капризничала как малый ребенок, прося, чтобы ее поднесли к окну посмотреть, как дрова плывут. Маменька и тетки уговаривали ее и удерживали на постели. Мне тоже захотелось видеть, как дрова плывут по улице, и я проворно соскочила с дивана, влезла на окно и с удивлением увидала, что вся наша Третья линия покрыта водой и белыми волнами, по которым шибко неслись дрова, какие-то плоты, сено, доски, перекувырнутые невские ялики и еще какой-то хлам. Все это показалось мне очень страшно, но больше всего я испугалась, когда среди всего этого

хлама признала повара нашего Филиппа, который ехал по волнам, сидя в маменькиной деревянной ванне, и, управляя лопатою, ловил по полешку березовые дрова и кидал их в ванну.

— Маменька, голубушка, посмотрите, наш Филипп плавает в вашей ванне по воде!.. Ведь он потонет! — со страхом закричала я и заплакала...

Маменька подбежала к окну, взглянула и тоже в испуге закричала теткам:

— Mesdames, какой ужас! Точно, это Филипп ездит в моей ванне... Сумасшедший, он ловит дрова!.. Господи, какая жадность! У нас полон сарай дров, а он из-за трех полен дров жертвует жизнью...

— Покажите мне Филиппа! Я хочу видеть Филиппа! Пустите меня!..— опять забушевала тетя Надя и слабыми, худыми руками начала тянуться к окну; маменька бросилась на подмогу теткам, а я со страху соскочила с окна и забилась в углу и оттуда одним глазком выглядывала на мою бедную тетю Надю; с тех пор, как она захворала, меня к ней не пускали... Тут только я увидала, как она страшно переменилась: толстая прекрасная коса ее была острижена, волосы на голове торчали какими-то мохрами, все лицо с кулачок, два огромные глаза и сама вся худая-прехудая... Совсем не моя милая тетя Надя, точно кто-то чужой, страшный! Мне так стало ее жалко, что я заревела во все горло. Не помню, кто меня стащил в комнату бабушки, только я очутилась около сестры Лизаньки, долго еще плакала и никакого наводнения больше не видала. После уж мне рассказывали, что папенька забрал со двора нашего из низенького домика к нам наверх резчика Салова с женою и его рабочими; и много других женщин и мужчин, которых вода выгнала из соседних подвалов, принял к себе папенька. Да еще, говорят, кого-то втащили на веревках в слуховое окно, так что все верхушки нашего дома битком набились чужим народом, с которым, говорят, папенька и дяди мои проспали эту страшную ночь на большой площадке над лестницей и передней, вповалку на полу, потому что нигде свободного местечка больше не было. Но, Боже мой, что сталось с нашими парадными комнатами и всем нижним этажом... Когда вода убыла, увидели, что все полы в них провалились, вместо них остались только страшные черные ямы, даже все низы печей размыло водою. Куда ни взглянешь, всюду полное разрушение... Слава Богу, что никто из домочадцев наших не утонул в этот

страшный день. Даже жадный Филипп наш, Бог его ведает как, сумел в той же ванне благополучно вернуться домой и остался живехонек. Дома соседей наших, Варнека и Гомзина, построенные на высоких каменных фундаментах, в которых были только подвалы, почти совсем не пострадали; вода до жилых комнат не дошла.

Разумеется, Академия тотчас распорядилась починкой нашего дома. Закипела работа. Из подвалов выкачали всю воду; над черными провалами по всем комнатам перекинули длинные доски, так что можно было переходить из комнаты в комнату. В подвалах наставили много печей с длинными трубами и жарили их с утра до ночи, так что от промокших стен пар валил клубами. Но все-таки это была только одна просушка, а приступить к настоящим поправкам нашего нижнего жилья можно было только весною. Как сельди в бочке, прожили мы эту зиму; помню, что мы даже обедали и пили чай на площадке над лестницей. Бедному папеньке решительно негде было примоститься с своею работою; и он бы верно сильно скучал, если б не был в это время очень занят как член «Василеостровского комитета попечения о пострадавших от наводнения». А так как папенька ничего вполовину делать не умел, то и втянулся в это доброе дело сердцем и душою. За это усердие он после был награжден орденом св. Анны 3-й степени.

Подходил май месяц, и пришло время подумать о даче. Нанять наш домик на Черной речке было невозможно, потому что после наводнения в нем было страшно сыро. А тут добрейшая Надежда Никитишна Кутузова, которая проводила в Гапсале каждое лето, соблазнила и папеньку нанять себе там дачу. Он согласился, списался с кем-то, и для нас наняли у вдовы Кюзель прелестный домик с садом и особой ванной, на самом берегу моря.

Тетенька Надежда Петровна, хотя значительно поправилась после своей тяжкой болезни, но после воспаления мозга в полный разум все еще не пришла, так что одно время начали бояться, чтобы она не осталась на всю жизнь идиоткой, а потому увезти ее далеко от доктора, который следил за ее недугом день за днем и надеялся ее вылечить, было опасно. Бабушка Марья Степановна, обе тетки мои, которые вообще больше любили город, чем дачу, охотно остались с тетей Надей в Петербурге, а мы впятером: папенька, маменька, Лизанька, я да няня моя Аксинья, в четырехместной карете, на долгих, 14-го мая отправились в Гапсаль.

VI

Последствия наводнения.— Хлопоты с больной теткой.— Постройка ледяной горы.— Поездка в Гапсаль.— Генеральша Резвая.— А. И. Сапожников.— Анекдот о графе Клейнмихеле.— Жизнь в Гапсале.— Возвращение в Петербург.— Гувернантка Е. Н. Геммер.— Учитель французского языка Lioseun.— Маскарад в нашем доме.— Шпион Элькан.— Фокусы.— Необычайное появление крысы.— Кончина императора Александра I.— 14 декабря.— Бунтовщики в нашей кухне.— Раненый унтер-офицер.— Арест отца, его допрос и оправдание.— Павел Бестужев.— Объяснение с императором Николаем.— Похороны императора Александра I.— Протоиерей Масловский.— А. Н. Рускони.— Лечение симпатическими средствами.— Излечение императора Николая.— Кончина императрицы Елизаветы Алексеевны.— Рассказ о ее последних днях Ю. Д. Тиссен.— Таинственная шкатулка.— Ф. Н. Кусова и Касель.— Семейная картина.— Могила Рылеева

Но прежде чем рассказать про наше житье в Гапсале, не могу не вспомнить о том, как вся семья наша бедствовала от 7 ноября до 14 мая в нашем полуразрушенном розовом доме. Кухня, кладовые и все помещения людей были буквально размыты водой, так что даже повар Филипп стряпал для нас у кого-то из соседей. Людей со смерти дедушки у нас прибавилось еще целых две семьи, которые от папеньки идти на волю ни за что не хотели, и весь этот народ следовало перевести из нижнего в верхний этаж. Можно себе представить, как распорядился этим переводом мой отец, который даже у себя за обедом приказывал всегда подавать кушанье себе последнему и зорко наблюдал, чтобы всем всего хватило, что, по правде сказать, было совершенно лишнее, так как маменька сама любила кормить, хотя и не затейливыми кушаньями своих домочадцев и гостей вплотную. Но от этой привычки подумать о других прежде себя она не могла излечить мужа. И в это ужасное время он поместил людей по возможности просторно и не подумал даже оставить себе отдельного уголка, где бы ему было покойно, а притыкался где день, где ночь, как Бог пошлет. От этого все привычки его были нарушены, все работы приостановлены, а без работы он скучал. Хотя он и продолжал все свои служебные занятия, но не был так добр и весел, как прежде; к тому же его сильно начинал мучить ревматизм в ногах, который он схватил во время наводнения и после, навещая сырые углы пострадавших от

него... По правде сказать, и всему нашему женскому поколению в это время было немногим лучше, чем папеньке; бабушка Мария Степановна сидела безвыходно в своей небольшой комнатке с опущенными шторами и ухаживала за бедной сестрой Лизанькой, у которой опять разболелись глаза. Маменька и тетки превратились в настоящих сиделок при выздоравливающей тете Наде, которую наш добрейший доктор приказал пока только питать и стараться не раздражать ничем. А эти предписания исполнять было очень трудно! Во-первых, у выздоравливающей аппетит сделался просто баснословный: она просила есть чуть не каждую минуту, а держать под рукою провизию, чем бы можно было во всякое время покормить больную, было негде. На всем верху не было ни одного чуланчика, да и внизу все кладовые были разрушены. Но всегда находчивая маменька скоро придумала обратить в кладовую большой камин с дверцами, который никогда не топился. И с тех пор в нем всегда стоял сырой вестфальский окорок, жареные рябчики и даже конфекты. Бедная, вечно голодная тетя Надя не сводила жадных глаз с этого импровизированного для нее буфета. Таким образом одно из приказаний доктора было исполнено, но исполнить остальной приказ его — не раздражать тетю Надю — было невозможно. Не переча ей ни в чем, нельзя было не допускать ее до сумасбродств, которые всякую минуту приходили ей в голову, а во-вторых, она сердилась и раздражалась сама без всякой причины. Помню как теперь, как она возненавидела меня за то, что маменька отрезала мне маленький кусочек ветчины от ее окорока, и требовала, чтобы «гадкую жадную Машку» сейчас же выгнали из ее комнаты. А эту бедную Машку и выгнать-то было некуда... Долго мне от нее житья не было, и чтобы спасти меня от нападок тети Нади, меня часто облекали в мой нанковый [1] заячий тулупчик, шапочку, валенки и прогоняли погулять на дворе. Говорят, я сильно обижалась, когда тетя Надя меня выгоняла, и часто добрейший отец мой, чтобы меня утешить, приходил поиграть со мной на дворе. Когда выпал глубокий снег, он начал вместе со мною строить для меня ледяную гору; я усердно ему помогала, работая не как девочка-барышня, а как добрый мужичонко... После тетки рассказывали мне, что я на лопате таскала такие огромные охапки снега, что даже удивляла своей силой проходящих мимо наших ворот. Раз, когда няня Аксинья бежала зачем-то в лавочку, одна ака-

демическая дама остановила ее в воротах и, указывая на меня, спросила:

— Скажи, милая, не знаешь ли, чья это силачка девочка, в тулупе, все возится со снегом на этом дворе?

— Это наша графинюшка, Марья Федоровна, моя воспитальница,— с гордостью отвечала няня.— Оне теперь с папенькой своим, графом, себе гору строят...

— Ну уж графинюшка, нечего сказать! Не очень-то она у вас на графиню похожа: это не графиня, а какая-то лошадь! — себе под нос проговорила барыня и прошла мимо. Кажется, это все мой заячий тулуп и валенки так портили мою детскую репутацию. Вот тоже две девочки архитектора Гомзина, которые выходили иногда в шелковых капотиках чинно погулять по двору, с видимым презрением оглядывали мой тулуп и валенки, а мне смертельно хотелось с ними познакомиться; вот раз я подошла к ним и спросила: «Девочки, как вас зовут?»

— Я — Катенька,— сказала старшая.

— А я — Лизанька,— прибавила младшая.— А вас как зовут?

— Машенькой,— ответила я.

— А кто ваш папенька?

— Мой папенька — граф Толстой.

— Граф Толстой?.. Что же, это очень мало! А какой у него чин? Вот мой папенька надворный советник [2], а ваш кто такой? — важно прибавила Катенька.

— Я не знаю... Погодите, я спрошу у маменьки. Мой, верно, тоже надворный советник,— сконфуженно проговорила я и стремглав пустилась домой, вбежала в светелку теток и, запыхавшись, спросила:

— Маменька, кто мой папенька?

— Что ты, матушка, с ума сошла! Разве ты не знаешь, что твой отец граф Федор Петрович Толстой? — с удивлением глядя на меня, сказала маменька.

— Что ж, этого очень мало! — с обиженным видом повторила я слова Катеньки.— Вон у Гомзиных девочек папенька надворный советник, а мой — кто же?

— Это тебя эти девочки спрашивали? — улыбаясь, сказала маменька.— Ну, так поди, скажи им, что твой папенька мастеровой.

— Не правда, не правда!..— покраснев от стыда, заспорила я.

— Как не правда? Разве ты забыла, как он сидел у окна в старом халате и колотил молотком? Ну и значит, что он мастеровой. Так им и скажи.

Однако ж я этого ответа девочкам Гомзиным не передала, а запряталась в угол и долго плакала от горькой обиды, что мой папенька мастеровой, а не надворный советник.

Не успела маменька устроить в камине буфет для тети Нади, как в нем начали твориться чудеса: по ночам в нем стала пропадать провизия. Думать на людей было невозможно, потому что по ночам никто не входил в светелку теток. Можно заподозрить было крыс, прогнанных из подвалов водою и переселившихся в верхний этаж, но и этого подумать было нельзя, потому что дверцы камина поутру находили всегда плотно затворенными. Непроницаемая тайна длилась три дня и, наконец, совершенно неожиданно открылась. Постель тети Нади каждые три дня освежалась совершенно, даже тюфяки выносили выколачивать на двор. Представьте себе удивление маменьки и теток, когда в первую среду или субботу после пропажи в камине между тюфяками тети Нади нашли запихнутыми глубоко кости рябчиков, кусочки свиного жира, даже бумажки от конфект... Искусный вор был найден: воровала по ночам сама тетя Надя. Эти поползновения к воровству остановила сразу моя меньшая тетка Саша. Она принесла откуда-то огромный пук розог и привязала его в ногах кровати, и, сделав страшные глаза, строго сказала сорокалетней графине Надежде Петровне:

— Это ты, бесстыдница, воруешь по ночам из камина?

Сорокалетний сиятельный ребенок залился слезами.

— Ну, не плачь!.. На первый раз я тебя прощаю. Но вот смотри, видишь эти розги? Помни же, что, если из камина опять что-нибудь пропадет, я тебя высеку, и больно высеку.

— Простите, не буду!.. Никогда не буду!— с плачем закричала тетя Надя и бросилась целовать руки у двадцатилетней тети Саши.

Маменьку возмутила эта бессердечная шалость сестры с больной: она сейчас же отвязала от кровати розги, приласкала и успокоила тетю Надю. Но все-таки, видно, страх ее был силен, коли с тех пор из камина больше ничего не пропадало. Кроме этой первой провинности, тетя Надя не переставала мучить маменьку каждый день новыми фантазиями: то вдруг вообразится ей, что она очень богата, и она начнет требовать, чтобы ей принесли ее большой сундук с серебром и футляр с севрским серви-

зом, которых у нее никогда и не было. И если ее желания не исполнялись скоро, начинала разрываться от горя и с плачем жаловаться на то, что она прежде была очень богата, что ее ограбили французы и что она теперь нищая.

И так убивалась, бедная, что маменька, боясь этих волнений, даже призанимала временно у кого-нибудь желанные тетей Надей вещи; их приносили, ставили перед ней, и радость ее была великая.

Смех и горе было с бедной полупомешанной тетей Надей. И так всю зиму она оставалась почти в том же положении; только к весне она стала спокойнее, смирнее: стала есть гораздо меньше, меньше болтала всякий вздор и даже порою присаживалась у своего окошечка за работу.

Доктор, Андрей Егорович, был очень доволен состоянием больной и даже подавал отцу надежду на скорое выздоровление его сестры. Успокоенный насчет тети Нади, отец мой начал торопиться увезти скорей Лизаньку и меня из душных комнат с низкими потолками на чистый воздух, и, как я сказала выше, 14-го мая мы тронулись в Гапсаль.

Не буду рассказывать про то, как мы доехали до Гапсаля. Кто туда с тех пор не ездил и не описывал своего путешествия?.. А вот расскажу только одно обстоятельство, встретившееся нам на пути, которое до сих пор еще не вышло из моей памяти. Папенька, уезжая из Петербурга, дал честное слово другу своему Андрею Петровичу Сапожникову заехать, по дороге в Гапсаль, навестить жену его, Веру Дмитриевну Сапожникову, которая это лето проводила с маленькой дочкой, Надей, в имении матери своей, генеральши Резвой.

И точно, папенька не забыл завезти нас в прелестную деревушку старушки Резвой. Что это был за мирный уголок! Стоило только взглянуть на хорошенький, утонувший в зелени барский домик, чтобы подумать, что все, кто живет в нем, должны непременно благоденствовать и наслаждаться тихим семейным счастьем. Вера Дмитриевна страшно нам обрадовалась, а генеральша Резвая приняла папеньку с маменькой необыкновенно ласково и любезно. И обе вместе, мать и дочь, пристали к отцу моему не уезжать так скоро, а погостить у них хоть недельку. Папенька сначала с удовольствием согласился на любезное предложение, но дня через два милая и любезная генеральша оказалась такою ярою крепостницей,

что мы и недели у них не выжили. Уж одно то, что по стенам ее спальни, вместо картин и украшений, висели арапники и плетки,— воротило отцу душу... А тут еще, денька через три после нашего приезда, крепостная девушка, приставленная для услуг к маменьке, вдруг повалилась ей в ноги и со слезами начала умолять пожить у них подольше, говоря, что с нашим приездом они свет увидали, отдохнули, что, когда у генеральши нет никого гостей, она плетками и арапниками, что у нее в спальне, своими руками немилосердно дерет своих девок и баб. На маменьку напал страх за Лизаньку и за меня: ей пришло в голову, что с нами будет, коли Резвая не выдержит характера и при нас начнет драть свою прислугу!.. При нас, которым с первых лет жизни было говорено, что людей бить нельзя, что человек должен слушаться слова... И точно это было бы ужасно! Я помню, как раз на Черной речке один из дачников на наших задворках, аптекарь Вензель, нашел нужным за что-то посечь свою дочку; я увидала эту экзекуцию в окошко, услыхала неистовый крик ребенка, сама пришла в какое-то исступление и, не долго думая, вскарабкалась к ним в окно, кинулась на Вензеля и с криком: «Людей бить нельзя!» вцепилась в его руки... Экзекуцию я, конечно, остановила, но зато меня, непрошеную заступницу человеческих прав, обозленный аптекарь со срамом вытолкал в дверь. И теперь мне думается, начни генеральша Резвая, во время нашего пребывания у нее, драть плеткою какую-нибудь девку, я бы, верно, и с ней учинила скандал или мы обе с Лизанькой захворали бы сами с испугу... Господи! Как благодарить родителей наших за то, что они сумели уберечь нас в те нежные годы от варварских зрелищ, которые должны непременно черствить детское сердце... Помню себя с двухлетнего возраста до 75-тилетнего, а не помню, чтобы кто-нибудь из семьи дрался с людьми. И того даже не помню, чтобы люди наши боялись господ. У дедушки, говорят, был старик-камердинер, который со своим старым барином вечно спорил, как с маленьким. Просит его дедушка:

— Андрей, подай мне сегодня мундир, я в гости иду.

А Андрей ему в ответ:

— Ладно! сходишь и в сертучишке! Нечего мундир даром таскать...

И подаст сертучишко.

Видно, маменька передала тогда у Резвой свои опасения папеньке, потому что он тотчас же приказал няне

Аксинье укладываться, и на другой же день мы распростились с нашими любезными хозяйками и уехали от них. После этого мы с генеральшей Резвой в близких отношениях никогда не были, да и Вера Дмитриевна с этих пор много потеряла в мнении маменьки: она не могла понять, как вечно веселая, по-видимому, добродушная молодая бабенка могла равнодушно смотреть на варварское обращение ее матери с крепостными людьми... Мало этого, маменька обвиняла даже Андрея Петровича за то, что он оставлял так надолго жену и дочь у такой жестокой женщины, как его теща... Не знала тогда маменька, что бедный Андрей Петрович, заваленный по горло делом по службе, и не подозревал даже того, что творилось в имении генеральши Резвой.

Андрей Петрович Сапожников в то время, про которое я говорю, был начальником чертежных в Инженерном замке и за полезную и неутомимую службу свою был очень любим и взыскан начальством. Не могу при этом не рассказать анекдота, который много времени спустя я слышала от папеньки про близкие, странные отношения известного министра графа Клейнмихеля [3] к Сапожникову. Граф Клейнмихель тоже очень любил и высоко ценил заслуги Андрея Петровича и даже обращался с ним по-дружески, но, по какой-то странной фантазии, никогда своего любимого подчиненного его настоящей фамилией не называл, и когда, бывало, Сапожников понадобится министру для какой-нибудь справки, он всегда кричал ему из своего кабинета:

— Господин Башмачников, пожалуйте сюда!..

Сапожникова эта забывчивость злила, и он однажды, даже с сердцем, остановил графа словами:

— Ваше сиятельство, я не Башмачников, а Сапожников. Зачем вы всегда называете меня Башмачниковым?

— Ах, мой милый,— улыбаясь, отвечал министр,— это глупство! За что вы сердитесь? Сапог — обувь и башмак — обувь, не все ли это равно?!.

— Да, вы правы, ваше сиятельство: сапог обувь и башмак обувь,— вспылив, возразил графу Андрей Петрович,— но башмак обувь бабья, и я бы желал, чтобы вы лучше называли меня Сапожниковым!.. К тому же это моя настоящая фамилия.

Министр расхохотался до слез, но все-таки чрез какие-нибудь полчаса опять крикнул из кабинета: «Господин Башмачников, пожалуйте сюда!»

И эту немецкую шутку граф Клейнмихель, не уставая, повторял с генералом уже Андреем Петровичем Сапожниковым и до самого конца их совместного служения с особенно довольной улыбочкой кричал ему из кабинета: «Господин Башмачников, пожалуйте сюда».

От генеральши Резвой мы больше никуда не заезжали и, не спеша, весело доехали до Гапсаля.

В Гапсале я тоже не помню, чтобы с нами случилось что-нибудь необыкновенное. Прожили мы там все лето нашею всегдашнею тихою жизнью. Погода стояла очень жаркая. Папенька по приезде в Гапсаль начал лечиться морскими грязями от ревматизма. Доктор Гуниус, с которым познакомила нас наша добрейшая старушка Надежда Никитична Кутузова, оказался милейшим человеком; и мало того что усердно лечил папеньку, они даже подружились. У эскулапа и художника нашлась общая страстишка, которая их сблизила: папенька обожал цветы, а доктор Гуниус был ботаник-любитель. У него было два сада: цветочный и фруктовый, в которых росли разные прелести. У папеньки разгорелось опять желание засесть за свои акварели, а доктор вызвался поставлять ему из своего сада цветочных и фруктовых натурщиков. Помню, папенька тогда срисовал с натуры большую ветку крыжовника. По-моему, этот крыжовник один из лучших рисунков в альбоме отца. Эта ветка так нарисована, что видишь не рисунок, а живую ветку крыжовника, положенную на лист серой бумаги [4]. Как живо передан на ней мягкий пушок на ягодах, кожица их так тонка и прозрачна, что виден насквозь весь сок, все семечки. Так вкусно все, что съесть хочется!..

После крыжовника папенька достал у Гуниуса же в саду прелестное вьющееся растение passiflora [5] в виде большой звезды; по-русски оно называется «страсти Господни». Потому, говорят, ему дано такое название, что внутри, в самой чашечке цветка, лиловым цветом изображено тончайшее сияние, и на нем как будто положены все орудия, которые были употреблены при распятии Христа. Этот цветок вышел тоже очень хорошо, и вся средина его написана уже чисто миниатюрой.

Кроме работ своих, отец мой, по приказанию доктора, должен был много ходить пешком. Маменька и мы с Лизанькой почти всегда сопровождали его в прогулках. Но несмотря на то, что папенька был постоянно занят,

все-таки под конец лета он видимо начал скучать по Академии, по своим медалям, до которых с самого наводнения он не дотрагивался... Но нечего было делать: курс лечения грязями не был еще окончен, и приходилось терпеть и ждать, так что в Петербург мы вернулись только 20-го августа. Всех домочадцев наших мы нашли здоровыми и счастливыми, бабушка и тетки нам очень обрадовались, тетя Надя совсем поправилась, наш розовый дом прекрасно перестроили, и он сделался много удобнее прежнего. Оставалось только убрать его по-старому, что папенька с маменькой скоро и сделали. Няня Матрена Ефремовна еще до нашего приезда заняла свою прежнюю комнату; кровать со множеством перин и подушек, сундук, шкаф, белый деревянный стол и стул — все стояло на своем месте, и старушка сидела у окна, выходящего на двор к профессору Варнеку, и ворчала на всех попрежнему... Папенька в столовой опять устроил себе рабочий уголок и принялся с наслаждением выбивать свои медали. Торстенсен и Кнусен со своей работой приютились около своего обожаемого графа, и домашняя наша жизнь пошла по-прежнему...

Вне дома отец мой посещал Академию, Эрмитаж, Монетный двор и работал так же неутомимо, как и всегда. Дяди — Константин Петрович, Александр Федорович и дядя Леша Дудин бывали у нас ежедневно, и воскресенья наши опять начались, и гости были все те же самые. Все по-прежнему! Странное дело, что из академических до сих пор еще никто не показывался к папеньке. Кажется, все старые профессора, начиная с ректора Мартоса, почитали моего отца за молодого графчика-выскочку, который хочет сесть им, старикам, на шею, и недолюбливали папеньку сильно. Он же навязываться никому не любил, а потому, кроме деловых, сношений с Академией никаких не имел.

Маменька еще в Гапсале задумала, как только мы вернемся в Петербург, сейчас же взять мне и Лизаньке гувернантку. Для разрешения этой трудной задачи она прибегла за помощью к гувернеру и учителю французского языка воспитанников Академии m-r Lioseun, и попросила его выбрать для нас гувернантку на мещанской половине Смольного монастыря [6]. Обязательный швейцарец мигом слетал туда, проэкзаменовал там несколько девиц, желающих поступить на место, выбрал из них одну, Елену Николаевну Геммер, и приехал к маменьке с ответом.

— Chère comtesse, je vous ai choisi un petit monstre bossu et louche, mais je vous garantis que cette fille sait bien ce qu'elle sait *.

Скоро приехала в наш дом Елена Николаевна Геммер, которая, несмотря на свою дурноту, полюбилась всему нашему семейству и с самых этих пор до старости своей не переставала быть нашим другом и самым близким существом в нашем доме.

Хотя сестра Лизанька, по случаю болезни глаз, еще не могла заниматься науками, но все-таки далеко ушла от меня вперед (в 1825 г. мне было восемь лет), и идти с нею наравне по учению я не могла еще.

Меня покуда понемногу учила русской грамоте сама маменька. Я только болтала по-французски довольно бойко, потому что отец мой и тетя Надя почти всегда говорили на этом языке, а я, как великая обезьяна, прислушивалась и переняла... а учиться настоящим манером я начала только с m-elle Hélène, но так как она была еще очень молода (ей минуло только 17 лет), то маменька тут же пригласила и самого m-r Lioseun давать Лизаньке уроки французского языка. Он тоже привязался к нашему дому, как верная собака, с превеликим удовольствием исполнял все маменькины поручения и даже помогал ей по хозяйству. С этим симпатичным, наивным швейцарцем я познакомлю читателя после, а теперь мне придется рассказать еще много событий, которым я большею частию была сама очевидицей.

Осень 1825 года прошла у нас в доме довольно тихо. Наша поездка в Гапсаль стоила папеньке довольно дорого, и потому он поприжался немного до новых получений, но зимой ему захотелось отпраздновать новоселье, чтобы повеселить свою молодежь и добрых знакомых. Тогда он объявил дядям и теткам моим, что устроит у нас маскарад. Радость была великая! Сейчас же, под предводительством папеньки, вся семья наша принялась за дело. Он начал придумывать, кого как нарядить, и рисовал костюмы, а дамы по его рисункам шили их очень хорошо и верно; дяди мои тоже что-то мазали и клеили... Отец и нас не забыл: Лизаньке сделали костюм французской пейзанки [7], а мне шот-

* Дорогая графиня, я вам нашел маленькое чудовище, горбатое и косоглазое, но я вам обещаю, что эта малютка хорошо знает то, что она знает (*фр.*).

ландский — клетчатую юбочку и берет с петушьими крашеными перьями. Отец мой работал больше всех и другим помогал, и сам готовил к этому дню много новых, своей работы, интересных фокусов, которые он умел так ловко и занимательно показывать... Так как все эти приготовления делались дома и своими руками, то хлопот у всех было «полон рот». И даже все комнаты наши сделались непроходимыми.

Наконец, желанный день маскарада настал: квартиру нашу ярко осветили, мы все — большие и малые — нарядились и ждали гостей. Скоро набралось к нам множество масок. По словам теток, многих из них пригласил сам папенька, многие назвались сами, а были, говорят, и такие, которые под прикрытием масок приехали незваные...

Маскарад начался в зале танцами. Танцующие дамы состояли больше из классных дам и пепиньерок[8] Смольного монастыря, с которыми тетки мои подружились, потому что второй брат их, Федор Федорович Дудин, был преподавателем русского языка в Смольном и недавно женился на одной из классных дам, Надежде Александровне Храповицкой; чрез нее и завязалось это новое знакомство. В то время из молоденьких пепиньерочек особенно хорошеньких собой было две: Машенька Ашемберг, которая, еще учась в Смольном, от головных болей поседела вся добела; с розанами в густых серебряных волосах 18-ти летняя красоточка, в костюме маркизы, была очень оригинальна. Да еще, юный предмет всеобщих поклонений, Тереза Гармсен кидалась всем в глаза своею цветущею красотою. Впоследствии Тереза Ивановна была замужем за Николаем Ивановичем Юханцевым. Да и много еще хорошеньких личек украшали собой наш маскарад.

Дяди и тетки мои оделись королями и дамами четырех мастей карт, спины их были покрыты какой-то материей, разрисованной под карточный крап; необыкновенно хороши и верны вышли их костюмы. Гости наши тоже прекрасно были замаскированы: только папенька остался в своей черной бархатной блузе с ременным поясом.

В восьмом часу все уже были в сборе. В приемной из передней в залу стоял хор военных музыкантов и, по сигналу отца моего, грянул польский, и все замаскированные из залы поплыли парами по всем нашим комнатам. Вид польского был прелестный! В то время,

как польский проходил по гостиной мимо папеньки, кто-то из танцующих шепнул ему на ухо:

— Граф, знаете ли вы, что у вас сегодня в гостях шпион Элькан! [9]

Этого было довольно! Папенька весь вспыхнул и, как только окончился польский, начал убедительно просить гостей своих снять маски. Все сейчас же сняли; один только маркиз в сером французском кафтане ни за что не хотел снять своей. Тогда отец мой разгорячился еще больше и громко при всех сказал ему:

— Милостивый государь! Я не желаю иметь в числе друзей моих гостем человека, который не хочет даже показать мне своего лица... А потому прошу вас, милостивый государь, или сию минуту снять вашу маску, или оставить мой дом!..

Не ответив ни слова, маска в сером кафтане сейчас же исчезла из залы. После узнали, что Элькан, выбежав в нашу переднюю, не нашел там ни лакея своего, ни шубы и галош... Вероятно, человек его, думая, что барин пробудет весь вечер в маскараде, забрал все его вещи, сел в их наемную карету и уехал покуда домой. Взбешенный этим обстоятельством, Элькан выскочил на улицу без шубы... Погода в этот вечер была ужасная, и ему долго еще пришлось в одном кафтане, в шелковых чулках и башмаках, месить глубокий снег, отыскивая себе извозчика. После этого путешествия налегке, в страшный мороз, говорят, Элькан сильно захворал и проводов с маскарада графа Федора Петровича Толстого забыть никогда не мог. Отец мой, напротив того, спровадив из своего дома нежелательного гостя, сейчас же повеселел и забыл о нем... Опять начались танцы.

В это время я, привыкшая укладываться спать с курами, под шумок забралась на греческое ложе моих родителей и под пологом, перекинутым через плечо бога Морфея, заснула сном праведницы.

Тетки потом рассказывали, что папенька попросил гостей в свой кабинет и начал показывать им фокусы... Чего, чего там, говорят, не было! Стеклянный шар с трубою, который папенька называл «la femme invisible» *, повешенный на тонком шнурке от самого стеклянного над кабинетом купола, отвечал на все вопросы гостей верно и умно... Маленький маг ездил в золотой колеснице по столику с циферблатом и тоже отвечал на вопросы:

* невидимая женщина (*фр.*).

в каком году случилось такое-то или другое событие, указывая магическим жезлом своим на вырезанные по циферблату года. Араб, стоя на кронштейне[10], выбивал молоточком на тимпане[11] кому который год. И все это маг и араб делали сами: папенька до них даже не дотрагивался! Правда, что в большой голове Юпитера, которая стояла тоже на кронштейне около стены, выходящей другою стороною в нашу кладовую, сидел дядя Александр Дудин и, глядя в незаметную дырку, проделанную в бороде Юпитера, говорил за «femme invisible» и направлял веревочками в столике с циферблатом магнит, который двигал колесницу мага... Но ведь зрители этого и не подозревали, а только ахали и дивились на папенькины чудеса...

После удачных фокусов занялись музыкой. Известная в то время пианистка Филипова играла на фортепиано, какие-то певцы пели... и наконец в середину залы вышли три аркадских пастушка и прекрасно сыграли трио на кларнетах. Эти три виртуоза были: Бестужев, Рылеев и Верстовский. Бедный папенька тогда и не подозревал, чем эти пастушки окажутся впоследствии... А между тем одно уже то, что Бестужев и Рылеев были у нас на маскараде, чуть не обошлось слишком дорого моему отцу...

После этого трио случился неожиданный казус, который страшно перепугал всех дам: в залу вдруг влетела, неизвестно откуда, огромная крыса, остановилась посредине и начала ломаться и коверкаться в страшных конвульсиях. Напрасно кавалеры ее гнали, топали ногами, подбрасывали даже шпагами кверху, она все не уходила до тех пор, пока не околела. Тогда один суеверный старичок сказал, что эта крыса явилась недаром, что она предвещает дому нашему большие неприятности. Хотя впоследствии это предсказание точно сбылось, но в тот вечер весело настроенные хозяева и гости скоро забыли про крысу и зловещие слова старичка... Опять принялись за танцы, проплясали до ужина. выпили традиционный папенькиной «водяночки», поужинали и далеко за полночь гости разъехались по своим домам, довольные-предовольные нашим маскарадом... Один только серый французский кафтан выбежал из дома моего отца врагом.

Около этого времени папенька с маменькой встревожились вестями о болезни императора Александра Павловича и изнывали душой за благодетельницу свою

государыню Елисавету Алексеевну, которая тогда проводила в Таганроге скорбные дни около обожаемого мужа... Об этих днях могу рассказать со слов любимой камер-медхен [12] императрицы Елисаветы Алексеевны, Юлии Даниловны Тисен, которую, будучи уже замужней женщиной, я часто видала в доме друга ее, госпожи Перкин, бывшей начальницы лазаретов Воспитательного дома.

Юлия Даниловна не раз рассказывала при мне, что Александр Павлович, в последние дни свои, опять сильно привязался к жене и думал только о том, как доказать ей свою любовь и доставить государыне удовольствие. Когда доктора приказывали ему еще гулять пешком, государь ни разу не возвращался домой, чтобы не принести Елисавете Алексеевне интересного подарочка в ее вкусе... M-me Тисен говорила, что раз император растрогал жену до слез тем, что сам притащил ей античный столик черного дерева с бронзовыми цепями. Елисавета Алексеевна от этого подарка была в восторге, тотчас позвала к себе m-me Тисен и, обливаясь слезами, сказала ей:

— Посмотри, Юльхен, какая прелесть!.. Какой государь ангел... он только думает обо мне! Этот столик до моей смерти всегда будет со мною; а когда я умру, я завещаю его тебе, и ты тогда береги его в нашу общую с ангелом моим память!

И точно, m-me Тисен до конца своей жизни берегла его как святыню...

О кончине императора Александра I я подробностей никаких не знаю. Знаю только то, что и все, что он скончался в Таганроге в 1825 году 19-го ноября в 9 часов утра. А вот о последствиях этой кончины, как очевидица многого, расскажу все, что знаю.

Помню, что 14-го декабря у Василия Ивановича Григоровича было чье-то рождение. Папенька рано утром пошел поздравлять и меня взял с собою. Не успели мы туда прийти, как кто-то прибежал сказать Василию Ивановичу, что на Исаакиевской площади что-то неладно... что там собрались войска, что-то кричат, и сообщение с площадью прервано...

Василий Иванович с папенькой сейчас же собрались пойти посмотреть что там делается. Только, проходя мимо наших ворот, забросили меня домой, приказали людям сейчас же запереть ворота и ставни, а сами пошли дальше чрез Неву, потому что на мост никого не пускали.

Не могу теперь сказать, сколько времени папенька с Григоровичем пробыли за Невой. Люди наши не заперли ни ставней, ни ворот и все куда-то попрятались, бросив бедных женщин на произвол судьбы... Помню только, что скоро с площади на Академию и вдоль нашей 3-ей линии полетели ядра и пули и даже пролетали над стеклянным куполом папенькиного кабинета.

Помню, как несметная толпа солдат и народа, перепуганная выстрелами, вперемежку с извозчиками, поездами покойников, задержанных с утра на площади, неслась марш-марш мимо наших окон; на гробах сидели верхом солдаты и бабы с ребятишками в руках... Шум, давка, крики толпы... Это было что-то ужасное!.. У нас в доме все женщины были тоже страшно перепуганы. Видно, та же теснота и давка помешали отцу моему добраться до нас скорее. Когда он вбежал в наши ворота, весь наш двор был уже битком набит солдатами Финляндского полка. И мало того что двор, бедные солдатики уже успели перетащить в нашу кухню раненного в грудь заслуженного унтер-офицера.

Не знаю уже, как во время этой общей суматохи я успела ускользнуть с глаз больших из комнаты в кухню, прижалась в уголок и была свидетельницей всего, что там делалось. Помню, что на столе в кухне пылала оплывшая сальная свеча около плиты, которая ярко топилась; солдатики снимали мундир с высокого, бледного как смерть пожилого солдата, который, опираясь на ружье, страшно стонал... Ворот его рубашки был разорван, и по груди текла густая струя крови. Помню, что я от страха и жалости замерла и не подавала голоса. Скоро мимо меня прошел на кухню папенька с дядей Лешей, который, на счастье, успел добежать до нас с Петербургской стороны из своего Дворянского полка. Они первым делом принялись за раненого. Дядя Леша насилу мог оттащить от несчастного страдальца мертвопьяного фельдшера, который хотел непременно примочить рану водкой из своей манерки.

— Нет, брат, водку ты лучше выпей, а больного оставь в покое, покуда я сбегаю за доктором.

И точно, дядя куда-то убежал и скоро привел с собой старичка-доктора, который хоть и неважно, но все-таки сделал первую перевязку.

Пока старичок возился около тяжело раненного солдата, папенька пошел на двор к бунтовщикам и долго говорил с ними. После уж я узнала, что все они

до одного сказали папеньке, что они не бунтовать пошли на площадь, а только заступиться за законного наследника престола великого князя Константина Павловича, которому вся Россия уже присягнула, а теперь, по словам господ офицеров, у него хотят отнять престол после старшего брата... повели их, солдат, на защиту законного царя, они и пошли...

Папенька после рассказывал, что он долго старался объяснить им, что никто и не хотел лишать Константина Павловича права на престол, что он сам еще при жизни императора Александра, задумав жениться на польской графине Лович [13], навсегда отказался от российского престола.

Выслушав папеньку, солдатики сильно опечалились, опустили головы и сказали:

— Значит, господа офицеры нас обманули... Это им грех великий! За что же они за верность нашу царю и отечеству нас загубили навеки!..

Тут папенька начал им советовать, чтобы они шли опять ко дворцу, стали бы там на колени и молили бы о помиловании.

— Ступайте покайтесь во всем откровенно, скажите, что вы были обмануты офицерами... Я убежден, что вас простят...

Солдаты, не трогаясь с места, начали советоваться между собою. Тогда папенька с дядей Лешей начали отбирать у них ружья, таскали к нам в залу, там проворно отвинчивали с них кремни и штыки, вынимали патроны и оставляли у нас, а пустые ружья опять выносили на двор и раздавали солдатикам по рукам. Неохотно вышли виновные из наших ворот, постояли, постояли и вдруг, вместо того, чтобы отправиться ко дворцу, круто повернули и побежали к Большому проспекту... После был слух, что финляндцы очутились на Голодае и что их там забрали, как кур...

Управившись с этим важным делом, папенька с дядей Лешей опять пришли в кухню к раненому. Он был очень плох, и отец мой начал хлопотать о том, чтобы поскорее нанять подводу и отвезти умирающего в больницу. Раненому очень не хотелось, чтобы его увозили от нас, и он со слезами просил папеньку:

— Не хлопочите обо мне, ваше сиятельство. Какая уж мне больница, меня вылечить нельзя! Смерть у меня тут... в груди! Позвольте мне только умереть у вас, не отдавайте меня никуда...

— Друг мой, я бы с величайшим удовольствием исполнил твое желание, но ты ранен во время бунта: я не имею права оставить тебя у себя, я обязан сдать тебя начальству...

— Ой, не хочется мне опять к ним! Они предатели, по своим стреляли... За что мне судьба такая горькая? За что я столько служил верою и правдою? Где я ни был, с кем ни сражался, ни одна вражья пуля меня не тронула. А тут дома, у себя в России, русская пуля меня сразила, и я должен умереть, лежа в больнице на койке, как собака, а не в сражении, как храбрый воин... Господи! срамота какая, от родной руки умереть, точно преступник...

Сердце отца моего поворачивалось в груди, слушая справедливые жалобы заслуженного воина, но делать было нечего, надо было отвезти страдальца, покуда он жив. Дядя Леша разыскал людей наших, привели подводу, принесли в кухню тюфяк, подушку, положили на него раненого, вместе с тюфяком подняли и бережно переложили его на дровни. Папенька сел в головах и стал придерживать подушку, дядя Леша держал тюфяк в ногах. Когда все было готово, извозчик перекрестился, взмахнул кнутом и печальная процессия тронулась из ворот... Несчастный мученик пространдал еще несколько дней в больнице Финляндского полка... Отец мой и дядя навещали больного ежедневно, а когда он скончался, шли за гробом его до Смоленского кладбища. Помню, что папенька, даже в старости своей, с особенным чувством вспоминал обиженного судьбою заслуженного воина и не переставал жалеть, что не мог оставить его умереть у себя...

Скоро после этого события у нас в доме сбылись пророчества оригинального гостя на маскараде. Как-то поздно вечером, нежданно-негаданно, на двор к нам въехала карета, окруженная жандармами. Отца моего усадили в нее и увезли в крепость, где он и ночевал... Можно себе вообразить ужас маменьки и всех наших! Только мы с Лизанькой тогда ничего об этом не знали... Но, слава Богу, все это кончилось только страшным перепугом. На другой день утром папеньке был сделан допрос, и он оправдался. Насколько я помню из того, что после говорилось при мне, кажется, что отца моего допрашивал сам великий князь Михаил Павлович.

Главным пунктом допроса и обвинения в участии в заговоре послужило то, что Бестужев и Рылеев были у

нас зимою на маскараде. Внимательно и милостиво выслушал великий князь откровенные слова моего отца, ласково поздравил его с оправданием и отпустил домой [14]. Но мало того, что так скоро окончилось это страшное дело, тогда же на имя отца последовал милостивый рескрипт за разумные распоряжения, сделанные им в то время, когда бунтовщики Финляндского полка забежали к нему на двор. Кроме того, отца моего назначили быть маршалом и нести государственный жезл на похоронах императора Александра I. Значит, всякое подозрение в злоумышлении было снято с него окончательно...

Несмотря на благополучное окончание допроса отца моего, все семейство наше было просто убито несчастною судьбою двух так еще недавно бывших друзей своих, Рылеева и Бестужева, которые были такие умные, прекрасные люди. Тем более ужасались неизвестностью их судьбы, что Рылеев был женат на прелестной молодой женщине, а у Бестужева была старушка-мать и сестра [15], которых все наши любили как родных. Был у старушки Бестужевой, кроме сына Александра, еще меньшой сын Павел [16], совсем еще птенец, но большой фантазер, который позволял себе в это смутное время так много кричать и ораторствовать против правительства, что навлек на себя подозрение и его тоже забрали. Узнав об этом, император пожалел неразумного юношу и приказал привести его к себе. Когда Бестужева привели, то государь спросил его:

— Скажи мне на милость, за что ты-то возненавидел меня? Что я мог тебе такое сделать, что ты, почти мальчик, с сумасбродами вместе восстаешь против меня. Ведь ты распускаешь про меня разные небылицы и договорился уже до того, что навлек на себя подозрение... Опомнись! Ведь ты губишь себя! Мне жаль твоей молодости, мне жаль твоей несчастной матери... Я не хочу твоей гибели. Дай мне только честное благородное слово, что ты исправишься, отбросишь все навеянные на тебя бредни, и я прощу тебя!..

— Не могу, государь! — ответил сумрачно молодой человек.

— Как не можешь? Чего не можешь? — строго спросил Николай Павлович.

— Не могу дать честного слова, что не буду говорить против вашего величества. Я убежден в том, что я говорил одну правду, и если завтра меня спросят, то я повторю

то же самое, что говорил третьего дня,— настойчиво и твердо сказал юноша.

— В таком случае мне и разговаривать с тобой не о чем. Поезжай проветриться на Кавказ, послужи солдатом, ты еще молод, для тебя надежда еще не потеряна, может, и выслужишься...

И государь, не сказав больше ни слова, вышел из своего кабинета.

И точно, Павла Бестужева тогда послали на Кавказ [17]. Там он застал еще моего будущего мужа, Павла Каменского, который 19-ти лет от роду, в 1831 году, из Петербургского университета добровольно перешел служить юнкером на Кавказ. Там Каменский служил с обоими братьями Бестужевыми, Александром и Павлом, и был очень дружен с ними. Влияние Александра Бестужева (Марлинского) даже сильно отразилось впоследствии на литературном кудрявом слоге Каменского, за что я после сильно воевала с моим мужем... Александра Марлинского я совсем не знала; мне на память о нем достался, после его смерти, только серебряный эполет. Павла Бестужева я узнала лично уже офицером, в 1841 году, ноября 23-го, когда он с Левушкой Пушкиным (братом поэта), Лопухиным и черкесским князем Хаса Мусаевым назвались к нам на кулебяку с сигами и нечаянно попали на роды моего старшего сына Федора. Но до этого дня мой рассказ еще дойдет своим чередом, и на своем месте он будет интереснее... А пока замечу только, что о призыве Павла Бестужева, после 14-го декабря, к государю Николаю Павловичу и о том, что между ними было говорено, я слышала *из собственных уст Павла Бестужева*.

Теперь вернемся назад.

Скоро отцу моему из похоронной комиссии прислали широкополую шляпу с креповыми длиннейшими хвостами, жезл и весь тогдашний костюм факельщиков. Помню, что холод тогда стоял страшный, и на маменьку напала боязнь, что отец мой опять простудится во время перехода с печальной процессией до крепости. Но добрейший доктор наш, Андрей Егорович Шестаков, дал ей совет настегать на старенькую тафтицу ваты и обшить ею всего отца моего по голому телу прежде, нежели он начнет одеваться. Так она и сделала. И слава Богу, эта прогулка в лютый мороз пешком через Неву не принесла ему вреда.

Маменька, тетки и мы с Лизанькой смотрели похороны государя на углу Садовой и Невского из казенной квартиры Михаила Евстафьевича Лобанова, рядом с императорской Публичной библиотекой; в этом же доме безвыездно жил 35 лет сряду и умер Иван Андреевич Крылов, который скончался 76 лет от роду в 1844 году [18].

В эту роковую зиму 1825 года горькие обстоятельства положили тяжелый гнет на наш розовый дом... У нас на дворе, кажется, труднее, чем где-нибудь, можно было забыться хоть на минуту. В соседнем с нами каменном доме жил, как я говорила уже выше, архитектор Гомзин; жена его Александра Петровна Гомзина (с которой за это время маменька и тетки мои успели познакомиться покороче) была родная дочь известного умницы, протоиерея Казанского собора отца Петра Масловского, выбранного в то время из всего петербургского духовенства в отцы духовные и путеводители несчастным декабристам [19]. О⟨тец⟩ Петр всякий день приходил к дочери своей отдыхать душою от возложенной на него тяжелой обязанности... И все наши не могли не видеть его лежащим на галерейке у Александры Петровны, окруженного внучками и внуками. Усталый и глубоко задумчивый вид умного старца ежедневно подновлял свежее горе отца моего...

Кроме того, Александра Петровна Гомзина считалась единственным другом несчастной жены Рылеева [20], которая тоже часто приезжала выплакивать к ней свое невыносимое горе.

Все эти обстоятельства, взятые вместе, такою черною хмарою налегли на наш недавно еще такой веселый розовый дом, что папенька и все наши притаились в нем и старались прожить это ужасное время одною только семейною жизнью, и никого из посторонних, кроме Анны Николаевны Рускони, друга тетки Нади, не принимали у себя. Да Анна Николаевна и не чужая, а своя была в нашем доме. С теткой Надей их связывала такая стародавняя дружба, которая дороже всякого родства. Даже отцы их, граф Петр Андреевич Толстой и генерал Макаров, смолоду были закадычные друзья. Ну, и дочки пошли по отцам: графиня Надежда Толстая и Аннета Макарова росли вместе и далеко еще до нашествия француза молоденькими девушками жили и веселились вместе в самом блестящем кругу большого света. Только после судьба им выпала

неодинаковая: Аннета Макарова рано вышла замуж по любви за пожилого уже итальянца, генерал-штаб-доктора Рускони; тетка же Надя сама рассказывала, что у нее ни разу в жизни и жениха не было, а потому она осталась в девицах.

С Анной Николаевной Рускони, в молодые еще годы, приключилось странное обстоятельство, которое имело влияние на всю ее остальную жизнь. У мужа ее был друг старичок, тоже доктор медицины, который всю жизнь свою собирал симпатические средства от разных болезней и между делом лечил ими очень удачно... Так вот этот старичок, фамилии которого я не слыхала, чувствуя приближение смерти, форменным завещанием оставил молодой жене друга своего все собранные им «симпатические средства», прося ее продолжать его дело. Внизу на завещании рукою дателя было помечено, что в тот миг, когда она узнает, что из него вылетел последний вздох, симпатическая сила перейдет в нее — Анну Николаевну Рускони, и она может сейчас же начать успешно лечить страждущих завещанными ей им средствами; что за лечение ни с кого денег брать нельзя и передавать при жизни кому-нибудь способ, которым лечишь, тоже нельзя, иначе лечение будет недействительно...

С благодарностью и верою приняла молодая женщина завещанное ей другом мужа наследство и после смерти его принялась сама за лечение.

Двадцати девяти лет Анна Николаевна овдовела и перешла жить к другу своего детства, графине Васильчиковой, которая была замужем за графом Ларионом Васильевичем Васильчиковым, тем самым, что носил в то время прозвища «царева друга», данное ему будто бы за то, что он один из всех сановников говорил государю Николаю Павловичу правду в глаза...

В доме Васильчиковых Анна Николаевна продолжала лечить «симпатическими средствами» и даже прославилась успешным лечением «рожи» посредством сухого платка или полотенца, взятого у больной особы. Этот платок Анна Николаевна «заговаривала», складывая какими-то мудреными складками в куколку, приказывала вытереть им больное место утром, вечером и опять утром и бросить в стирку... И рожа сейчас же проходила. У самого государя Николая Павловича как-то на ноге приключилась «мокрая рожа» и долго не проходила. Васильчиков предложил ему попробовать полечиться

«симпатическим средством». Император согласился. Тогда Ларион Васильевич привез платок государя Анне Николаевне, она заговорила; он обтер им ногу три раза, и рожа сейчас же прошла.

С этих пор Николай Павлович так глубоко уверовал в генеральшу Рускони, что, на моей уже памяти, у нас, в розовом доме, почти ни одного воскресенья не проходило, чтобы государь не прислал своего камердинера с просьбою к генеральше «заговорить» чей-нибудь платочек...

К нам Анна Николаевна давно уже взяла привычку приезжать ночевать в субботу и оставалась у нас все воскресенье до ночи. И это было для нас истинным праздником, потому что вся семья наша обожала эту умную, милую женщину. Так и в скорбную зиму 1825 года она одна оставалась нашею неизменною дорогою гостьей...

Целые дни все члены нашего семейства занимались каждый своим делом, а по вечерам сходились, как прежде, с работою у круглого стола. Отец мой при свете сальных свечей, в кругу женщин, лепил свои модели, дамы работали и поочередно читали ему вслух.

Бывали и такие вечера, когда мы целым караваном ездили на саночках проветриться в гости, на Вшивую биржу к молодым Дудиным (где после женитьбы Федор Федорович в Комиссии погашения долгов получил хорошее место) или на Шестилавочную к дядям Александру и Константину Петровичам. И тогда папенька, как дама, в ридикюле забирал свою медаль, стеки, воск и в гостях, как дома, работал целые вечера.

А время все шло да шло. Наконец стукнул и 1826-й год. А за ним незаметно надвинулась и весна и принесла бедному отцу новое тяжкое горе... Вдруг долетели до него слухи, что обожаемая им императрица Елисавета Алексеевна опасно захворала в Белёве. Об этом времени я опять могу рассказать со слов Юлии Даниловны Тисен, которая ни на минуту не расставалась с государыней до самой ее смерти.

Но прежде всего надо сказать, что сейчас же после смерти Александра Павловича Елисавета Алексеевна из Таганрога написала вдовствующей императрице Марии Феодоровне то письмо, которое, переписанное в стольких экземплярах, переходило из рук в руки по всей России... И я когда-то читала это скорбное письмо и помню, что оно начиналось так: [21] «Notre Ange est au ci-

el je suis seule au monde, ne m'oubliez pas ma mère!» * И, как оказалось после, императрица-мать никогда не забывала своей несчастной невестки... Узнав о болезни ее, проездом чрез Москву, еще задолго до смерти Елисаветы Алексеевны, Мария Феодоровна заказала самой модной в то время в Москве француженке-модистке нарядное белое платье, в котором после должны были положить в гроб Елисавету Алексеевну. Говорят, француженка сделала не платье, а «chef-d'oeuvre» ** и по нескромности своей не утерпела, чтобы не показать его своим заказчицам. Слух об этом пролетел по Москве, и все барыни стали ездить смотреть на это великолепное, «страшное по назначению своему» платье. Мать моего будущего мужа, Мария Ивановна Каменская, жившая тогда в Москве, не поверила этим слухам. Ей, как простой смертной, показалось невозможным, чтобы на живого человека было уже сшито гробовое платье, и она не поехала его смотреть. Но старушка-генеральша Ковалевская, у которой в доме ребенком воспитывалась Мария Ивановна Каменская, заехала за нею и насильно свезла ее посмотреть на ужасное белое глазетовое платье, от которого приходили в такой неистовый восторг московские барыни...

Про последние дни императрицы Елисаветы Алексеевны m-me Тисен вот что рассказывала. Приехав в Белёв, где Елисавета Алексеевна почувствовала себя дурно, они остановились в доме купца Дорофеева. Дом этот совсем новый: ни одна дверь, ни одно окно в нем не были порядочно пригнаны, всюду сквозной ветер... С императрицею в Белёв приехали ее доктора: лейб-медик Штофреген, доктор Рюль, доктор Рейнчильд и аптекарь Порт. И хотя Елисавета Алексеевна не переставала лечиться и принимать лекарства, но все не поправлялась и чувствовала себя день ото дня слабее и слабее... В одно утро она позвала к себе Юлию Даниловну Тисен, подала ей маленький черного дерева запертый ящичек и сказала: «Милая Юльхен, я чувствую, что скоро умру... Если ты меня любишь, исполни мою последнюю к тебе просьбу: возьми, спрячь у себя этот ящичек до дня моей смерти; а когда меня не станет, не показывая никому, отвези в Петербург,

* «Наш ангел на небесах! я одна в мире, не забывайте меня, матушка!» (*фр.*)

** шедевр (*фр.*).

там у заставы к тебе подойдет человек и спросит тебя, привезла ли ты ящик, который я передала тебе? Тогда не бойся ничего, отдай ему ящик и не спрашивай ни о чем: он знает, что с ним делать»...

На вопрос m-me Тисен, где же ключ:

— Он уж давно у него!..— сказала государыня, и больше уже об ящике между ними и речи не было.

Елисавете Алексеевне становилось все хуже и хуже... Но все-таки она не любила беспокоить никого и не позволяла своим женщинам сидеть в ее спальне и на ночь отправляла их спать. M-me Тисен все-таки не уходила к себе, а садилась в другой комнате в кресло и так проводила ночи... В одну ночь ей показалось, что в спальне императрицы что-то уж очень тихо, даже не слышно тяжелого дыхания больной. Юлия Даниловна решилась войти посмотреть, что с ней. Вошла в спальню и нашла государыню еще теплую, но уже мертвую... Елисавета Алексеевна скончалась совершенно одна, ночью 3-го мая 1826 года.

3-го же мая, в 10 часов утра, прискакала на почтовых в Белёв вдовствующая государыня Мария Феодоровна, остановилась тоже в доме купца Дорофеева. Выехав из Москвы на Калугу, она только на несколько часов не застала в живых свою невестку. Войдя к покойнице, вдовствующая государыня стала на колени, помолилась, потом сняла с шеи Елисаветы Алексеевны образочки, с пальцев — кольца, надела на себя, встала, сказала, что платье, в которое следует одеть покойницу, она привезла с собою... Затем приказала докторам приступить к бальзамированию и, не оставаясь более ни минуты, выехала из Белёва...

Разумеется, после дом Дорофеева облекли в траур, начались обычные поклонения, прощания публики с телом, и императрицу повезли в Петербург с подобающим царскому лицу церемониалом...

Юлия Даниловна всю дорогу до столицы не переставала держать около себя черного дерева ящичек. Доехав до заставы, она вышла из кареты и стала ждать барина, который, по словам Елисаветы Алексеевны, должен был взять у нее этот ящик. Но вместо ожидаемого ею человека, к m-me Тисен подошел какой-то флигель-адъютант, спросил только, при ней ли ящик черного дерева, и, услышав от нее утвердительный ответ, усадил ее в карету, сел рядом с нею и отвез ее прямо в Зимний дворец. Там подал ей руку, тоже сам проводил

до кабинета Николая Павловича и, впустив ее туда, затворил за ней двери. Войдя в кабинет, Юлия Даниловна увидела государя и императрицу-мать, сидевших около ярко растопленного камина. Не успела она сделать низкий реверанс, как Николай Павлович, указывая на Марию Феодоровну, сказал:

— Передайте императрице Марии Феодоровне шкатулку, которую покойная государыня перед смертью отдала вам спрятать.

M-me Тисен молча подала. Тогда Мария Феодоровна сняла висевший у нее на шее маленький золотой ключик, проворно отворила им ящичек и начала поочередно вынимать из него какие-то бумаги, прочитывала каждую, передавала прочесть государю, и он, по знаку матери, кидал их в камин... Так они скоро уничтожили все, что хранилось в шкатулочке... Затем Мария Феодоровна пустой ящик подала m-me Тисен и сказала: «Возьмите это себе на память! Теперь вы можете идти»... [22]

Юлия Даниловна ни жива ни мертва вышла из кабинета государя и унесла с собою пожалованный ей пустой черного дерева ящик с золотым ключиком, и он с тех пор всегда стоял у нее на античном столике с цепями, который Елисавета Алексеевна тоже приказала ей взять себе. Вероятно, эти две вещи — столик и ящик — и теперь сберегаются в Англии у кого-нибудь из родственников покойной m-me Тисен; но тайна, которую хранила заветная шкатулочка, к великому огорчению Юлии Даниловны, так и осталась тайною навеки...

В это лето мы позднее обыкновенного перебрались на Черную речку, на нашу старую дачу с теми же соседями. Дамы Вульферт сильно надоедали всем нашим разговорами о политике; старуха мать Карла Карловича целые дни проливала горючие слезы о горькой участи государыни-матери и стонала: «Бедной императрис Мари Федоровна! У ней все потёра за потёрой»... А дочь ее Шарлотта Карловна всякий Божий день рассказывала, как она нечаянно попала поутру 14-го декабря на Дворцовую площадь и была свидетельницей бунта: «Я шель,— говорила она,— и услишиль, как пьяная солдатен кричаль: «Константин, Константин». Я подумаль, что бедный солдат не знает, что наш государен будет Николай; подошель и сказаль: нет, мой милий, не Константин — Николаен!.. Вдруг солдатен на меня сердиль и хотель в меня воткнуть свой ручей! Я очень пугаль, хотель бежать,

лизнуль в снег и упаль... После мене полицей завсем мертвой привезла...»

Конечно, все это было очень глупо, но есть вещи, над которыми не могли смеяться даже хохотушки мои тетки...

Хорошо еще то, что в это лето для разнообразия нам очень часто наносили визиты две хорошенькие молодые вдовы: одна русская дебелая красавица Фиона Николаевна Кусова, вдова коммерции советника Сергея Ивановича Кусова, рожденная Кусовникова, а другая, вертлявая, живая француженка, начальница мещанской половины Смольного монастыря, всем известная в Петербурге m-me Касель, рожденная Фогель, которая после мужа прожила еще Мафусаиловы годы и скончалась не так давно тому назад. Удивительно, как разно в тяжком горе первых дней вдовства высказывалась тогда национальность этих двух женщин: Фиона Николаевна, потеряв мужа, остриглась под гребенку, распустила громадный черный фланелевый с плерезами [23] шлейф, укрылась с головы до ног вдовьим креповым покрывалом и не переставала, глубоко вздыхая, молча, своими небесноголубыми глазами глядеть куда-то вдаль... Конечно, она не могла оживить наш дом, но была так трогательно хороша, что от нее невозможно было отвести глаз. Зато m-me Касель, не столько хорошенькая, сколько пикантная, составляла блаженство моих теток: худенькая, маленькая, подвижная, по моде одетая в элегантное траурное платье, с белокурыми локончиками, грациозно выглядывавшими из-под черного чепца, она была скорей похожа на игрушку, чем на вдову, и вносила с собою веселье, а не грусть. Целые дни она порхала с места на место, болтала со всеми, смеялась, пела для папеньки романсы, заливаясь как птичка Божия...

Да, забавная была вдовушка m-me Касель, и вместе с тем какая серьезная служака! С нею много лет спустя мы даже породнились немного: единственный ее сын (далеко не такой забавный, как его маменька) женился после на моей двоюродной сестре, Софье Федоровне Дудиной, дочери маменькиного брата, и невеликое счастье принес собою бедной молодой женщине, но об этом после... У Фионы Николаевны после мужа осталось четыре дочери, с которыми я провела мою молодость и была очень дружна с ними. Об этом счастливом времени и вообще о семействе Фионы Николаевны мне придется

еще многое рассказать интересного... Но о них забегать вперед не буду...

Теперь мне надо еще сказать, что отец мой на даче успокоился душою и даже задумал приняться за новый труд, то есть написать масляными красками нашу семейную картину [24], ту самую перспективу, которая после на выставке Академии художеств имела такой успех... Кто не знает этой картины, тот и теперь может видеть ее в залах Академии, куда ее продала сестра моя от второго брака Екатерина Федоровна Юнге. Чтобы не откладывать «в долгий ящик» с такою любовью задуманного дела, папенька в эту осень раньше обыкновенного перебрался с нами с Черной речки на Васильевский остров, в наш розовый дом. В Петербурге, не переставая усердно служить и заниматься лепкой своих медалей, отец мой пользовался каждым светлым утром, чтобы писать семейную картину: маменьку, Лизаньку и меня ставил на натуру, себя писал в зеркало. Картина эта писалась что-то долго. Папенька ведь не умел писать эффектными щедрыми мазками, как пишут теперь молодые художники, и очень сожалел, что этот род живописи не давался ему... Ему непременно надо было вырисовать д о м е л о ч е й все, что он видел. И по-моему, это очень понятно; слишком рано он сделался медальером, а в медальерном искусстве о световых эффектах нет и помину, а есть только, так сказать, строгая осязательная выработка до мельчайших подробностей предметов, которые он должен был изобразить на медали... К тому же отец мой когда еще ребенком начал марать бумагу около сестры своей Веры Петровны, тогда никто, кажется, не имел понятия о теперешнем размашистом рисовании и письме, а женщины все тогда рисовали больше «пунктиром», и папенька усердно старался ей подражать. Хотя после он далеко ушел от своей родной учительницы, но все-таки даже в чудных бабочках в альбоме отца моего есть что-то, что напоминает доходящую до миниатюры работу Веры Петровны: каждая пылинка на крыльях его бабочек положена особо, от руки, так легко и нежно, что, кажется, стоит только дунуть на бумагу, и улетит с нее пыль, как с крыла живой бабочки. «Привычка — вторая натура» — папенька слишком привык к мелкой кропотливой работе, чтобы, взявшись за масляные краски, сразу перейти на другую, более широкую манеру письма. И семейную картину нашу начал он писать с доходящей до миниатюры точностью. А так писать быстро нельзя!

И помучил же он нас долгими сеансами: я, егоза, решительно не могла выстоять смирно на месте одной минуты и так выводила папеньку из себя, что он даже сердился и кричал на меня...

Каждое утро, пока отец был в должности, нас посылали гулять с m-elle Hélène, а под вечер, entre chien et loup *, когда уже темно было писать картину, папенька с маменькой брали нас с собой гулять по Большому проспекту. В эти часы мы были совершенно счастливы и горды тем, что гуляем вместе с большими. Отец мой, гуляя с маменькой, всегда ходил под ручку, а Лизаньку и меня посылали впереди. Любили они, наши дорогие, всегда иметь нас на глазах и, даже гуляя, умели научить сестру и меня чему-нибудь доброму, хорошему. Позвольте мне рассказать, как мы тогда гуляли с родителями.

Право, по тому еще темному времени, это была штука интересная! Да и мне это воспоминание очень дорого, и хочется поделиться им с добрыми людьми, которые, верно, поймут меня и скажут: «Да, чудные, должно быть, были люди граф Федор Петрович и графиня Анна Федоровна!»

Представьте себе, идем мы, бывало, по мосткам Большого проспекта, и кто бы нам навстречу ни шел,— будь то хоть оборванный мужичок в лаптях,— уж папенька непременно нам скажет: «Дети, посторонитесь, дайте дорогу: вам навстречу идут»... Или нищая старушка с трудом взбирается на ступеньку мостков; маменька тоже нам подскажет: «Дети, видите, как старушке трудно! Помогите ей взойти!» И мы с Лизанькой, не обращая внимания на то, что эта старушка-нищая вся в заплатах, кинемся к ней с радостью и введем ее на ступеньки мостков.

Кажется, ведь в этих так просто сказанных словах не было ничего особенного? А как они сразу отнимали тогда у нас, детей, всякое поползновение к гордости, к фальшивому стыду... И главное — так глубоко тогда врезывались эти слова в наши детские сердца, что вот уже 76 лет, а я живо помню их и записываю в мои «воспоминания» со слезами благодарности на глазах... Да, по-моему, в детстве много дороже всяких превыспренных назиданий и поучений стоит одно доброе кстати сказанное родителями слово... В одно и то же время с эти-

---

* Здесь: в сумерки (*фр.*).

ми прогулками, которые заронили в детскую душу мою столько теплого и хорошего, на мою долю выпали еще и другие прогулки, даже не подходящие девочке восьми лет... Осенью 1826 года у Александры Петровны Гомзиной часто гостила несчастная вдова Рылеева, которая, право, не знаю, за что, очень полюбила меня и даже часто водила с собой на могилу мужа своего. Помню, что наши говорили тогда при мне, что вдове Рылеевой, по какой-то особой к ней милости, позволили взять тело мужа и самой похоронить его на Голодае, только с тем, чтобы она над местом, где его положат, не ставила креста и не делала никакой заметы, по которой бы можно было заподозрить, что тут похоронен кто-нибудь. И точно, на том месте, куда мы ходили, креста не было. Но не утерпела несчастная женщина, чтобы своими руками не натаскать на ту землю, под которой лежало ее земное счастье, грудку простых булыжников и не утыкать их простыми травками и полевыми цветами... Для постороннего глаза эта грудка камешков была совсем незаметна, но мы с нею видели ее издалека и прямо шли на нее... Господи! Как эта молодая мученица разрывалась там, как горячо молилась Богу!.. На это без ужаса нельзя было смотреть... Что я, восьмилетний ребенок? а тоже становилась около нее на колени, и тоже молилась, и плакала горючими слезами... О чем плакала, сама не ведала. Ее мне было уж очень жаль, а больше я тогда ничего не знала...

После я часто задавала себе вопрос, отчего тогда из всего нашего дома, где было столько зрелых женщин, Рылеева выбрала меня, маленькую, себе в провожатые. И мне кажется, я поняла ее: одной ходить в такую глушь на могилу мужа ей было жутко; со мною, хоть с маленьким живым существом, она чувствовала себя бодрее... А с большими она не хотела ходить, потому что они смотрели бы на нее не детскими простодушными глазами, при них она не могла бы ни молиться, ни плакать: ей было бы стыдно...

А как иногда газеты-то врут немилосердно!.. Никак не могу я припомнить (память моя на все, что делается теперь, сильно изменяет мне), в каком журнале или газете за последний десяток лет мне попалась на глаза маленькая статейка, в которой было сказано, что «тело Рылеева после казни было украдено декабристами и увезено неизвестно куда, так что никто не знает места, где он похоронен»...

Прочла я это и подумала: нет, голубчики, не врите, пожалуйста! Если вы не знаете, где он похоронен, то я знаю. И будь Голодай в том же виде, как он был 68 лет тому назад, я бы по моей, детской еще, памяти, указала вам место, где положен Рылеев... Но в том-то и беда, что Голодай-то, говорят, стал совсем не тот: весь сосновый лес с него срублен, остался один пустырь... Поди и булыжники, к которым в 1826 году мы вдвоем с Рылеевой вдовою ходили плакать, давно втоптались в землю, и не осталось у меня никакого вещественного доказательства в моей правоте... И Рылеевой давно нет на свете, и меня скоро не будет!.. Ну, и врите, господа, врите, сколько душеньке вашей угодно, вас остановить некому!..

Однако, чтобы продолжать мои «воспоминания», мне надо из 76-летней старухи опять переделаться в восьмилетнюю девочку, что «по щучьему веленью, по моему хотенью» я и делаю...

VII

Помолвка Лизаньки Толстой.— Иван Кудрявый и его преданность нашей семье.— Свадьба Лизаньки.— Трагическое происшествие.— Самоотвержение Лизаньки.— А. Н. Оленин.— Его характеристика.— Балет у Всеволожского и графиня Завадовская.— Несчастный случай с отцом.— Внимание к нему императора Николая Павловича.— Назначение его вице-президентом Академии художеств.— Первый прием, оказанный ему в Академии.— Ректор Мартос и его выходка.— Характеристика Мартоса.— Его оригинальная женитьба.— Наша квартира в Академии.— Отчаянное письмо Лизаньки.— Ее печальная история и кончина.— Благородный поступок Кудрявого.— Наша жизнь в Академии.— Профессор Воробьев.— Мастерская Мартоса.— Конференц-секретарь Академии В. И. Григорович и его семья.— Профессор Егоров.— Рассказы о нем.— Профессор Мельников.— Графиня Полье и ее чудачества

Я бы охотно перескочила прямо к 1828 году, такому знаменательному в жизни отца моего, но, нечего делать, надо прежде рассказать казус, случившийся в нашей семье в 1827 году и наделавший много шуму во всем Петербурге. Постараюсь передать вкратце все то, что знаю об этом удивительном событии. В прошлой главе моих воспоминаний я уже упомянула о том, что дочь графа Александра Петровича Толстого, выйдя из Екате-

рининского института, опять поселилась у бабушки Рытовой и к нам ездила только в гости. Представьте же удивление всех наших, когда в одно воскресенье старуха Авдотья Ивановна Рытова приехала к нам с Лизанькой и привезла с собою красивого молодого гвардейского офицера. Торжественно вошла генеральша в гостиную, взяла за руки внучку и офицера, прямо парочкой подвела их к папеньке и без всяких предварительных объяснений гордо сказала:

— Поздравьте, граф, жениха и невесту!..

Отца моего эта неожиданная новость так поразила, что он растерялся и не мог выговорить ни слова. Зато граф Константин Петрович так разобиделся неслыханной дерзостью старухи Рытовой, что, вспыхнувши весь, распетушился и, не помня себя, наскочил на генеральшу с вопросами:

— Что? Жених? Какой жених? Откуда жених? Мы, родные дяди, ничего и не знаем... Помилуйте, Авдотья Ивановна, разве так порядочные люди делают? Ведь, кажется, Лизаньку брат Александр препоручил нам? А вы без нас изволите распоряжаться в таком важном деле. Жених! Жених! Кто это такой?

— Потише, граф! Не с вами говорю, а с Федором Петровичем. И нечего мне вас миловать, и ничего я вам не делаю, а выдаю мою внучку замуж — вот и все! А за кого, это уж мое дело! Слава Богу, не маленькая, понимаю... И за дрянь какую-нибудь свою внучку не сосватала бы.

Раскричалась на дядю генеральша и, отдернув Константина Петровича в сторону, опять важно обратилась к папеньке:

— С вами говорю! Представляю вам жениха, которого сам Бог послал моей Лизаньке! Рекомендую: сын благородных богатых родителей, поручик гвардии Дмитрий Николаевич Никитин! — запыхавшись, отбарабанила злая старуха и, пихнув молодого человека к папеньке, прибавила: — Ну, мой батюшка, теперь рекомендуйся своим будущим дядюшкам и тетушке сам. Тебе ведь за словом в карман не ходить, а я свое дело сделала... больше ни слова не скажу!..— и, со злостью стиснув зубы, генеральша опустилась на диван.

От этой неприятной сцены все присутствовавшие в гостиной остолбенели... Но красивый гвардеец действительно за словом в карман не ходил и очень ловко и умно сумел вывернуться из своего неприятного положе-

ния. Кончилось тем, что к концу вечера он так всех очаровал собой, что гости наши начали поздравлять папеньку, тетку Надежду Петровну и дядю Константина с прекрасной партией, которую Бог послал графине Елизавете Александровне. К тому же жених и невеста были, видимо, влюблены друг в друга без памяти... Лизанька просто сияла от счастья, беспрестанно подсаживалась к дядьям и теткам, расхваливала своего Митю и просила полюбить его... А старуха Рытова, с своей стороны, тоже хвасталась всем выгодой будущего замужества своей внучки с Дмитрием Николаевичем Никитиным; по ее словам, родители его имели прекрасное состояние, он сам был принят во всех знатных домах Петербурга, причем уверяла, что сам граф Арсений Андреевич Закревский[1] будет у него посаженым отцом, и венчаться они будут в Казанском соборе... А ей самой дороже всего в этом женихе то, что он нравственный молодой человек: поручик гвардии, а Бога не забывает!..

Что же после всего этого оставалось делать дядям и теткам, как не радоваться тоже на счастливую партию, которая предстояла их простенькой племяннице Лизаньке. Добродушный дяденька Константин даже раскаивался в том, что погорячился со старухой Рытовой. Тревожный вечер первого знакомства с Дмитрием Николаевичем Никитиным кончился тем, что за ужином все от души выпили папенькиной шипучей водяночки за здоровье жениха и невесты, пожелали им счастья и весело разъехались по домам.

Отцу моему во всей этой истории непонятно было одно: где старуха Рытова, которая никуда не выезжала, могла познакомиться с молодым гвардейцем, как она так скоро успела сосватать за богатого человека свою сравнительно небогатую внучку? Все это казалось странным... Но и эта загадка скоро разъяснилась чрез племянника нянюшки Матрены Ефремовны, Ивана Кудрявого. Но прежде всего надо сказать, что сталось с самим Иваном Кудрявым со смерти графа Александра Петровича; это необходимо для ясности моих будущих рассказов.

У делового, умного вольноотпущенного семь лет со смерти барина-благодетеля недаром пролетели. Видно, он хорошо сумел воспользоваться дарованной ему волей и наградой за верную службу, если в то время, как графиня Елизавета Александровна собралась выходить замуж за Дмитрия Николаевича Никитина, бывший крепостной человек отца ее был уже купец 2-й гильдии, имел на

Мещанской улице (теперешняя Казанская улица) свой собственный дом, держал в нем «русскую кухмистерскую», разъезжал на паре своих лошадей... Короче сказать, сделался гораздо богаче отца моего и дяди Константина Петровича, которые, не тратя денег на извозчиков, больше путешествовали «на своих на двоих». Но надо приписать чести Ивана Кудрявого, что для всей семьи нашей он остался навсегда не чем иным, как крепостным человеком, во всякое время готовым на все послуги. Помню, после маменька часто вспоминала, как терзал ее Иван Никитич своим унижением и почтением ко всему нашему дому. Да это я и сама даже помню, как он, уже женатый на польской шляхтянке, приезжал с нею в своем экипаже поздравлять нас с новым годом. Приедут и стоят, и заставить их сесть перед маменькой не было никакой возможности. Измучается, бывало, с ними совестливая, ласковая мать моя; умоляет, упрашивает:

— Иван Никитич, за что вы и жена ваша мучите меня: не хотите передо мною сесть? Ведь мне это неловко, тяжело...

А он ей отвечает:

— Мне сесть перед вами? Помилуйте, ваше сиятельство! Я свое место знаю. И жена моя никогда не посмеет забыть, что она жена бывшего вашего крепостного человека... Позвольте нам постоять.

А тут еще, бывало, Матрена Ефремовна просунет в дверь свою голову и зашипит:

— Да только бы они попробовали сесть, я бы ему все лохмы из головы повыдергала! Да и она-то не велика птица: польская шляхтянка вышла за холопа, так, значит, и сама холопка, и сесть перед моими господами не смеет.

По этому маленькому образчику видно, что Иван Кудрявый был человек старого закала, глубоко благодарный и верный памяти своего барина. А уж про сиротку покойного барина и говорить нечего. Как только Лизанька вышла из института, так он явился к ней и добровольно сделался рабом. Да мало того: и самовластная бабушка Рытова забрала его в руки и помыкала им как своей собственностью...

Так вот через него-то наши и узнали подробности, как совершилось скоропостижное сватовство и помолвка Лизаньки с Никитиным. Старуха Рытова была великая богомолка, попросту сказать, страшная ханжа, почти не пропускала ни одной службы в Казанском соборе и, ра-

зумеется, водила с собою и внучку. Иван Никитич, как прихожанин того же прихода, тоже часто бывал в соборе и становился всегда за своею барышней, графинюшкой Елизаветой Александровной и генеральшей Рытовой. На первой неделе Великого поста они все вместе говели. Перед старушкой Рытовой за всеми службами всегда стоял на коленях и усердно молился, кладя земные поклоны, молодой гвардейский офицер. Старушке Рытовой он очень полюбился; она скоро начала с ним заговаривать, давать ему разные поручения: то поставить свечку к образу, то подать в алтарь ее поминание... И все он исполнял с превеликим удовольствием.

— Благодарю, мой батюшка; а как тебя величать, не знаю? — сказала Авдотья Ивановна.

— Поручик гвардии Дмитрий Николаевич Никитин,— почтительно кланяясь, ответил генеральше молодой человек.

— Очень приятно слышать — поручик гвардии, а Бога не забываешь, за это хвалю,— милостиво сказала генеральша, а потом пригласила его к себе в дом, а там скоро и сосватала внучку с богомольным молодым офицером. Вот и все. Больше ничего и не было. Так папенька узнал, что жениха Лизаньке старушка Рытова обрела в Казанском соборе, и потому, видно, она всем говорила, что жениха ее внучке сам Бог послал!

Генеральша Рытова осталась очень довольна тем, что удивила нелюбимых ею графов Толстых и взяла над ними верх. Она твердо решилась окончить начатое ею дело, то есть обвенчать Лизаньку как можно скорее и своей щедростью и милостью к внучке поразить всех еще больше... Будущий внук тоже был очень доволен бабушкой, собой и тем, что все делалось так, как он хотел. Пошли у них толки, совещания, и они вдвоем положили быть делу так: свадьбу, не откладывая, сыграть на Красную горку [2] в Казанском соборе. Белье невесте, давно готовое, лежит в сундуках; платья заказать недолго; стало быть, остановки быть не может. Молодые должны были на первое время остаться жить с бабушкой. Свадебный великолепный банкет генеральша хотела дать непременно гостям у себя на дому и все траты по свадьбе брала на себя... Таким образом, весь небольшой капиталец, который оставил покойный граф дочери, поступил нетронутым в пользу молодых. Никитин на все согласился. Для переговоров о денежных интересах невесты был приглашен и граф Констан-

тин Петрович. Все было улажено, как нельзя быть лучше.

Одна виновница торжества не думала ни о приданом, ни о деньгах, а только миловалась, целовалась со своим красавчиком Митей и заставляла его, из любви к ней, исполнять все ее невозможные фантазии: в продолжение Великого поста она два раза упросила его перейти из одного полка в другой полк; один раз она сказала:

— Митя, душка, мне этот мундир не нравится... Перейди, пожалуйста, в такой полк, где грудь красная; это к тебе так пойдет...

В другой раз ей захотелось, чтоб на мундире пуговицы и все было не серебряное, а золотое.

— Дитя! — целуя свою Лизочку, говорил жених.— Не нравится? Ну хорошо, я попрошу... меня переведут...

И точно, скоро приезжал к невесте в новом мундире, и восторгам не было конца.

И бабушка, любуясь на Дмитрия Николаевича, тихонько шептала внучке:

— Пойми только, матушка, какая сила у твоего жениха, какая должна быть протекция, коли что он ни попросит, все для него начальство делает! Вот я тебе какое сокровище достала...

Незадолго до свадьбы Лизанька опять стала приставать к жениху:

— Митя, голубчик! Отчего у тебя нет эксельбантов? Это так мило! Сделай так, чтобы тебе их дали!

— Ты хочешь, чтобы я был адъютантом, глупушка ты моя? Хорошо, буду и адъютантом!

И точно, к свадьбе он был назначен в чьи-то адъютанты.

Наконец, пришел и желанный день свадьбы. Казанская площадь была загромождена экипажами, жандармами, в соборе было полное освещение; кругом храма горели плошки. Посаженый отец, граф Закревский, приехал с женихом. Генеральша Рытова с графом Константином Петровичем ввели невесту. Обвенчались... У бабушки Рытовой был пир на весь мир. Шампанское лилось рекой... Венчался поручик гвардии Никитин с графиней Елизаветой Александровной Толстой! После ужина дамы переодели молодую в капот, чепец, и она, с бокалом шампанского в руке, с счастливой улыбкой на устах, на пороге спальни распростилась с гостями. Все разъехались...

На другой день, чуть свет, всех нас переполошил сильный звонок у подъезда. Сбежались люди, отворили и отскочили назад в испуге. Перед ними в дверях, с непокрытою головой, вся заплаканная, в одной рубашке, едва прикрытая салопом, в туфлях на босую ногу, стояла вчерашняя счастливая молодая... С воплем и рыданиями вбежала она в комнаты и, встретившись в зале с папенькой, вскрикнула: «Дяденька, спасите!» — и еле живая упала ему на грудь.

— Лизанька, что с тобою? Что случилось? — спросил до смерти перепуганный папенька.

— Не знаю! Солдаты окружили дом... Митю взяли, увели... Я бежала... Дяденька, спасите нас!..

И несчастная молодая женщина повалилась отцу моему в ноги.

Тут прибежали маменька, тетки, Лизаньку подняли, увели в спальню, уложили в постель, укрыли одеялами. Но она, дрожа как в лихорадке, беспрестанно вскакивала, плакала, рыдала и кричала:

— Нет, я у вас не останусь!.. Я хочу к Мите! Куда увели Митю? Отведите меня к нему!..

Покуда маменька и тетки ухаживали за полупомешанной от горя Лизанькой, отец мой проворно оделся и ускакал куда-то, но скоро, узнав роковую правду, вернулся домой. Оказалось, что Никитин никогда и не был гвардейским офицером, а был просто армеец, игрок и шулер, который после крупного выигрыша бежал в Петербург, самовольно переделал себя в гвардейского офицера, произвольно менял мундиры, появлялся в разных обществах и, наконец, дошел до такой предерзости, что обвенчался в Казанском соборе с графиней Толстой; что его давно уже разыскивали, наконец, нашли, арестовали и сдали куда следует; а теперь, вероятно, самозванец будет разжалован в солдаты и сослан в арестантские роты.

Не буду тянуть этого плачевного для бедной Лизаньки рассказа. Все, что разузнал тогда папенька, оказалось верным: Никитина разжаловали в солдаты и отдали в арестантские роты, куда именно — я не знаю; знаю только, что перед его отправлением Лизанька потребовала свидания с мужем. Ей дозволили. И после этого свидания дорогой Митя сделался в ее глазах просто святым, без вины обвиненным человеком... И она решилась последовать за ним в ссылку. Тут с нею уж ничего нельзя было поделать. «Хочу умереть вместе с несчаст-

ным Митей!» — отвечала она на все уговоры и советы родных; и точно, живо собралась и налегке, взяв с собою только мешочек, в который уложила наследство после отца, уехала вслед за мужем, позволив проводить себя до места назначения одному только Ивану Кудрявому.

Сокрушенный горем своей барышни, Иван Никитич скоро вернулся. Лизанька осталась при муже. И с тех пор она точно в воду канула: долго не подавала о себе никакой вести, не отвечала дядям ни на одно письмо. Бабушка Рытова, должно быть, после этой истории скоро скончалась, потому что я после о ней ничего уж не слыхала.

Лето 1827 года мы опять прожили на Черной речке, где, между прочими своими занятиями, отец мой нарисовал для оптика Роспини, с которым они были большие друзья, несколько уморительных панорам или движущихся картин; не знаю, право, как правильно их назвать. После, зимою, я их видела на оптических вечерах, которые давал для публики доктор Роспини в своем огромном зимнем помещении на Исаакиевской площади против Адмиралтейства. Вот что это были за картины: публика сидела в креслах, и вдруг в зале сделается совсем темно, а где-то вдали покажется светлое пятнышко с булавочную головку, пятнышко это бежит, бежит вперед, растет, растет, обращается в страшную рожу, которая набегает на зрителя, делает ему разные гримасы, точно живая... и вдруг в зале опять темно, и рожи нет, пропала!

В этом году папенька приготовил для этих вечеров новые забавные штуки. Например, на декорации изображен Строганов сад, в том месте, где стоит египетский саркофаг; ярко светит луна. Бьет полночь. Из могилы подымается скелет и тоже двигается на зрителя, брякая костями... и ворочая страшными глазищами... Подойдет к самому носу и исчезнет. А то помню еще панораму, нарисованную в этом же году папенькой, которая зимою больше всего потешала Роспиниевскую публику.

Декорация — тот же Строганов сад, только днем. По крайней дорожке, около Черной речки, гуляют на задних лапках одетые по последней моде две английские собачки. За ними выступает ливрейный лакей — толстая моська, неся в передних лапах зонтики и шали своих барынь. Помню, что когда эту картину открывали, то в зале Роспини поднимался гомерический хохот и долго не унимался. Это значило, что в английских собачках публи-

ка узнала престарелых княжон Е... И невозможно было не узнать их: они были похожи, как две капли воды.

Помню, что в это же лето папеньку часто похищали от нас с Черной речки и увозили на Пороховые, на дачу Алексея Николаевича Оленина[3], бывшего в то время президентом Академии художеств. Дача его называлась «Приютино», и, судя по рассказам об этом прелестном уголке, в нем точно можно было «приютиться» и отдохнуть телом и душой. Говорят, сердечный друг Оленина, Иван Андреевич Крылов, часто подолгу гостил в Приютине, а за ним, разумеется, тянулась туда же вся клика тогдашних литераторов, которые все знали и любили отца моего. И сам Алексей Николаевич Оленин, и жена его, Агафоклея Марковна * (рожденная Полторацкая) принимали папеньку как родного человека и всегда вызывали его к себе в Приютино. Вероятно, теперь никто не помнит Алексея Николаевича Оленина так, как я. Он до сих пор стоит перед моими глазами, точно будто я видела его вчера; вижу его именно таким, каким он был в описываемое мною время, а потому и хочется мне познакомить читателя с его наружностью. Лицо у него было умное, выразительное, приветливое; мог бы, правду сказать, портить его огромный орлиный нос, но и он как-то в общем шел ко всей его фигуре. Ростом он был малюсенький. Да вот анекдот про него, который сейчас определит вам в точности рост Алексея Николаевича: рассказывали про него, что раз как-то гулял он со своими гостями по Приютину; время было позднее, совсем стемнело... и пришлось им проходить по старому заброшенному кладбищу; Оленин шел впереди коноводом, гости шли за ним... только вдруг Алексей Николаевич громко вскрикнул и остановился.

— Что с вами? Отчего вы остановились? — спросили его те, которые следовали за ним.

— Не знаю... Не могу! Мне кто-то уперся в грудь и держит меня...— не совсем храбрым голосом ответил он.

Гости сейчас же забежали ему вперед, ощупали его, и что же оказалось? В грудь маленького человечка уперся старый обруч от бочки, на который он нечаянно впотьмах наступил ногами, обруч от этого поднялся, сильно ударил Алексея Николаевича в грудь, да так в стоячем положении и остался. Ночью на кладбище,

* Ошибка М. Ф. Каменской: жену Оленина звали Елизаветой Марковной. (*Примеч. сост.*)

конечно, было чего испугаться... Но не в страхе дело, а в том, каков же рост был у Оленина, если аршинный с небольшим обруч доходил ему до груди?!

Обыкновенно в будничные дни Оленин носил синий академический вицмундир с одною звездою; но при всяком празднике или торжестве облекался в свой излюбленный военный мундир, который он носил во время войны 1812 года, служа в милиции; мундир был, кажется, общегенеральский, на одном плече генеральский эполет, на другом — погон из толстого золотого жгута; при этом наряде надевалась лента через плечо, все ордена, белые панталоны и сапоги с кисточками и шпорами; на маленькую седую голову надевалась шляпа с громадным зеленым султаном из петушиных перьев, и с боку прицеплялся тяжелый палаш, больше самого генерала... Тогда он был уморителен, смешон и гораздо больше походил на детскую игрушку «casse-noisette» *, чем на президента...

В домашнем быту как хозяин Алексей Николаевич был прост, радушен с своими гостями, и всем была дана полная свобода: всякий мог заниматься, чем ему угодно, никто за это не был в претензии. Агафоклея Марковна как хозяйка была любезна, предупредительна со всеми и кормила гостей своих вкусно и обильно. Но вообще у Олениных не обжирались и не опивались, как в других домах за барскими столами того времени. Во всем была видна мера и уважение к хозяевам. Да и состав их общества был не такой, как у других: у них бывала и знать, и артисты, художники, литераторы, и ни одно сословие не выставлялось перед другим; всех соединял ум, понимание и любовь к изящному... У них пели и играли разные виртуозы, литераторы читали и обсуждали все, что выходило нового в русской литературе, художники рисовали... Молодежь плясала, ставила домашние спектакли и живые картины... Одно, чего не было на праздниках у Олениных, это — крепостных танцоров и музыкантов, пляшущих и играющих для господ из-под палки... Короче сказать, даже в то время крепостничество в доме Алексея Николаевича не кололо глаза!

Молодежь к ним привлекали две их дочери [4]. Старшей я совсем не помню, а меньшую, Аннету Оленину, помню прекрасно: она была античнo хороша собою,

* «щелкунчик» (*фр.*).

мила, грациозна, как сильфида, и, говорят, умна. Но чтобы напомнить о ней в настоящее время, достаточно сказать, что этой очаровательной Аннетой увлекался Александр Сергеевич Пушкин и воспевал ее не раз в своих бессмертных песнопеньях.

Кажется, в той же местности, где было Приютино Оленина, находилось еще другое богатейшее имение русского Монте-Кристо, старика Всеволода Андреевича Всеволожского [5], Рябово. Описать все чудеса его пиров и празднеств не хватит силы, а потому расскажу только про вечер, в котором папенька мой принимал участие. Всеволод Андреевич Всеволожский тоже очень любил моего отца и верил в его вкус и талант. И вот раз, когда папенька был в гостях в Рябове, старичок упросил устроить ему на его театре балет-пантомиму. Балет должен был быть во вкусе милой старины, «пасторальный», т. е. какая-то смесь пейзан с богами Олимпа. Папенька сочинил сюжет и распределил, кому изображать какое действующее лицо. Балеринами на этот раз пожелали быть дамы большого света. Тогда первою красавицей Петербурга была графиня Завадовская, рожденная Влодек [6]. Папенька назначил ей роль Венеры, которая, драпированная зеленым крепом, должна была стоять в саду на пьедестале. Другая барынька, не такой классической красоты, но миловидности необыкновенной, должна была изображать пастушку, дочь какого-то пейзана. Но тут из-за распределения ролей вышла ссора и чуть не драка. Завадовская не хотела быть Венерой, а просила себе роль миловидной пастушки... Отец мой стоял на своем, что Венеру никто не мог изобразить вернее Завадовской.

— Вы хороши, как Венера, и будете Венерой! Или я не ставлю балета! — горячился папенька.

— А я не хочу быть Венерой, я хочу быть пейзанкой! — кричала Завадовская, выходя из себя.

— Ну какая вы пейзанка, когда в вас нет ни миловидности, ни простоты?.. Вы — прелестная статуя и будете статуей... или я сейчас брошу все и уеду!..— стоял на своем отец.

И насилу, насилу, говорят, уговорили богиню красоты встать на пьедестал. Но все-таки она никогда не могла забыть и простить папеньке его обидные, по ее мнению, слова: «вы прелестная статуя и будьте статуей, а для пастушки в вас недостает миловидности»... Один раз в жизни царственной Венере захотелось быть пастушкой,

и то злодей Толстой ей помешал, ну, она и возненавидела его.

Осенью 1827-го года папенька особенно заторопился переехать в город; его тянула туда наша семейная картина, которую ему очень хотелось поскорее окончить. И едва успели мы перебраться в розовый дом, как опять начались сеансы и мучительное стояние на натуре. На общую беду художника и его натурщиков, в эту осень долго стояла страшная жарища, мух было видимо-невидимо! Все они облепили несчастного отца, лезли ему в глаза, в нос и в рот. Писать не было никакой возможности (терпенье папеньки известно), он просто выходил из себя. Отмахнется — они отлетят немного; только примется писать, как опять полны глаза мух... Обозлился папенька, да так отмахнулся от надоедливых тварей, что правая рука в кисти соскочила с шалнера...[7] Тут уж было не до письма, пришлось послать за доктором. Приехал наш Андрей Егорович, вправил вывихнутую руку, обложил ее лубками (тогда еще гипсовых повязок и в заводе не было), забинтовал и приказал лежать смирно... И лежал, не шевелясь, несчастный папенька, покрытый кисейкой от мух, и чуть не плакал от горя, что ему долго еще нельзя будет усесться за свой мольберт.

Но не все горе да неудачи; бывают на свете и нечаянные радости.

В 1828 году государь Николай Павлович сам заговорил с Крыжановским об отце моем.

— Ну, радуйся! Теперь, кажется, я могу дать Толстому подходящее место.

— Какое, ваше величество? — спросил Крыжановский.

— Ты слышал, что вице-президент Академии художеств Лабзин умер? Место его свободно; я дам его Толстому,— весело сказал государь.

— Это невозможно!..— прервал его Крыжановский.

— Почему? — удивленно спросил Николай Павлович.

— Вы забываете, ваше величество, что граф Федор Петрович Толстой по чину больше ничего, как мичман в отставке. А место вице-президента Академии художеств, кажется, требует чина статского советника?[8]

— Только-то? Ну, это не твоя беда! Был бы у меня вице-президент, а чины будут. Что, доволен? — милостиво трепля по плечу всегдашнего ходатая за отца моего, сказал император.

Крыжановский горячо благодарил государя.

У Николая Павловича живо скипело дело: граф Федор Петрович Толстой был назначен вице-президентом Академии художеств с пожалованием ему чина статского советника.

Крыжановский был от души рад этому назначению; но как были рады ему жительницы розового дома, так это и описать трудно: просто все от мала до велика помешались от неожиданной радости... И каких глупостей они не наделали в тот день, как пришла бумага о назначении папеньки на место Лабзина: о поцелуях, слезах и радостных криках и говорить нечего. Нет, тетки насильно усадили отца в кресло, надели на голову нового вице-президента вырезанный из белой бумаги лавровый венок, стали перед ним на колени и поклонялись ему как божеству. И точно, не мудрено было любящим женщинам спятить с разума, когда их милый мичман Theodor сделался разом и вице-президентом, и статским советником...

Совсем не так радостно, как на теток, подействовала эта неожиданная новость на профессоров Академии... На первой же конференции, когда отец мой должен был занять свое вице-президентское кресло, около президента Оленина, это доказал ректор Академии, скульптор Иван Петрович Мартос. Рассказывали тогда, что старичок в этот день первый забрался в конференц-залу и, крепко взявшись за спинку вице-президентского кресла, стал ждать. Надобно знать, что со смертью Лабзина, в ожидании нового вице-президента, это место занимал, как старший профессор, И⟨ван⟩ П⟨етрович⟩ Мартос. Собрались все, кому следовало быть на этом заседании. Пришел конференц-секретарь и занял в конце стола свое место (простите, ради Бога, я, старая, совсем забыла упомянуть вовремя о том, что незадолго до назначения папеньки вице-президентом Академии художеств и друг его Василий Григорович, не могу сказать по чьей протекции, был переведен из третьего отделения собственной канцелярии его величества на должность конференц-секретаря Академии, так что друзья сделались сослуживцами). Наконец, приехал в полном своем военном параде президент Академии Оленин, представил нового вице-президента профессорам и служащим и посмотрел на Мартоса, который все еще держался за спинку кресла.

— Иван Петрович, будьте так добры, сядьте на соседний стул. Это место должен занять граф Федор

Петрович,— любезно попросил Алексей Николаевич Оленин ректора.

— Мальчишке? Не уступлю никогда!..— с сердцем отвечал старик, не трогаясь с места.

— Прикажете записать ваши слова в протокол? — холодно спросил президент.

— Пишите! — не помня себя от злобы, резко сказал Мартос.

Но тут к уху его наклонился зять его, Василий Иванович Григорович, и прошептал тестю, должно быть, несколько внушительных слов, после которых Иван Петрович сразу утих, уступил кресло, за которое держался, отцу моему и сел рядом на ректорское место [9].

На другой день утром Мартос, во всех регалиях, нанес папеньке первый официальный визит и был при этом необыкновенно мил и любезен. Под конец он расчувствовался до того, что даже просил у отца моего прощенья за вчерашнюю свою необдуманную вспышку.

Видно, совет Григоровича сильно подействовал на старика. Надо знать, что Василий Иванович имел большое влияние на тестя и в доме его был человеком всесильным: без его совета никто ничего не мог сделать.

За Мартосом у нас перебывали с визитом все профессора и служащие в Академии, а за мужьями явились знакомиться с маменькой и все академические дамы.

Я думаю, после этого не совсем-то приятного для бедного отца моего приема в Академию, кстати будет познакомить читателя покороче с личностью Ивана Петровича Мартоса, который впоследствии оказался милейшим старичком. Говорили, что он родом был хохол из духовного звания; [10] мальчиком привезли его в Петербург и отдали в ученики Академии художеств, где он оказал необыкновенную способность к ваянию. При выпуске получил первую золотую медаль и был послан в Италию пансионером; там, как умный человек, кроме изучения скульптуры, воспользовался пребыванием своим за границей и образовал себя еще более: изучил основательно итальянский и французский языки; говорил на них бойко. Итальянского языка я никогда не знала и не могу судить о нем, но помню, что Иван Петрович говорил по-французски свободно, даже красноречиво, но только выговор у него был грубый, какой-то семинарский.

В то время, как я узнала Ивана Петровича, ему было лет 80, но он казался еще крепок и бодр, как молодой человек. Лицо у него было выразительное, с

хитрецой, как говорил мой отец, с очень крупными чертами; совершенно лысую свою голову дома он прикрывал шапочкой из итальянской соломы, фрак носил серого сукна с большими перламутровыми пуговицами, башмаки с стальными пряжками; белье на нем было всегда белейшее, с плойными [11] брыжами, на указательном пальце правой руки у него красовался перстень с большим итальянским камнем. Вежлив со всеми он был до приторности, но сам любил этикет, чинопочитание и держал молодежь, как говорится, «в струне». Он был женат два раза: первый раз на очень красивой дворянке екатерининского времени, которая оставила ему после себя двух сыновей и четырех дочерей. Рассказывали про Ивана Петровича, что он мечтал выдать всех своих дочерей непременно за художников; только со старшею дочерью мечта его не сбылась: он прочил прелестную свою Настеньку за известного в то время портретиста Варнека (того самого, который после был нашим соседом по розовому дому), но хорошенькая самодурка нашла, что все художники «неотесанное мужичье», и против воли отца вышла замуж за ученого молодого человека Лузанова. Варнек был влюблен в нее без памяти и очень убивался своею неудачею. С этим талантливым художником в средние годы его жизни случилась пренеприятная штука, которой, впрочем, он сам не сознавал. У него испортился фокус глаза, и он стал видеть все краски в синем цвете, оттого и портреты, которые он писал впоследствии, выходили по-прежнему необыкновенно похожими, но по колориту — чистые удавленники. Правду слов моих можно проверить в залах Академии художеств на портрете конференц-секретаря Василия Ивановича Григоровича, за которым была замужем вторая дочь Мартоса, София Ивановна. Третья дочь, Вера Ивановна, была выдана за профессора живописи Егорова. На меньшей, Любови Ивановне, женился профессор архитектуры Мельников. Со всем семейством Мартоса мне пришлось долго жить под одною кровлею, а с внучками его, «красой Академии», я была даже закадычная приятельница. Но теперь мне, прежде всего, хочется рассказать о второй женитьбе Ивана Петровича, потому что она так живо обрисовывает его характер и рыцарские воззрения на поступки людей. Оставшись вдовцом, он заботливо вырастил своих сирот, и все дочери его были уже взрослыми девушками, когда ему даже и на ум не приходило жениться во второй раз. Только неожиданный

случай побудил Мартоса вступить во второе супружество. Вот как это случилось. Для компании дочерей жила у него в доме беднейшая сирота дворянка Авдотья Афанасьевна (фамилии ее не помню), милая, добрая девушка, которую Иван Петрович приютил у себя из жалости. Девицы Мартос обращались с несчастной сиротой не очень-то хорошо, так что раз одна из них забылась до того, что дала Дуничке пощечину. Бедная девушка, годами постарше их всех, разобиделась и собралась уйти из дома своего благодетеля куда-нибудь в услужение. Иван Петрович узнал об этом, не долго думая, облекся в свой синий вицмундир, надел ордена и пошел наверх в комнату барышень. Там, не обращая никакого внимания на дочерей своих, подошел прямо к горько плачущей в уголку сироте, расшаркался почтительно и повел такую речь:

— Милостивая государыня, Авдотья Афанасьевна, имею честь просить вашей руки.

— Чего изволите, дяденька? — вскочив с места, спросила бедная девушка, не понимая слов Ивана Петровича, который всегда звал ее просто Дуничкой, а она его дяденькой.

— Авдотья Афанасьевна, имею честь просить вашей руки...— повторил он и потом пояснил слова свои: — Не откажите мне в счастии назваться вашим мужем... будьте мне доброю женою...

— Дяденька, как я смею! Разве это можно? — наконец понявшая, чего от нее хотел Иван Петрович, ответила, испугавшись, Дуничка.

— Можно, коли вы согласитесь; от вас зависит мое счастье...,— сказал Мартос и, не дожидаясь другого ответа, обратился к обезумевшим от удивления дочерям своим и строго сказал им,— вы не умели уважать достойную вашей любви и дружбы бедную сироту, которую я до сих пор любил как дочь; нанесли ей неслыханную обиду, которую я один только могу смыть... Так теперь вы будете уважать Авдотью Афанасьевну как мать. И я посмотрю, кто из вас осмелится чем-нибудь манкировать перед моею женою!..

Так состоялся неожиданный для самого Ивана Петровича второй брак. Об этом незаурядном сватовстве Мартоса я слышала много раз рассказы его внучек. Говорят, что матушки их, во время оно, были сильно недовольны рыцарским поступком отца своего; но все-таки преступить воли его не посмели и были с мачехой

своей всегда почтительны. А про нее и говорить нечего: она всю жизнь свою щедро платила падчерицам за зло добром...

Скоро и мы переехали в здание самой Академии художеств, на новую папенькину вице-президентскую квартиру. В ней было с низом и антресолями комнат 16, не считая подвального этажа, где помещалась большая кухня и прачечная; короче сказать, новая квартира была так просторна, что мы все и люди наши разместились в ней очень удобно. Были в ней, кроме того, и сухие песчаные погреба для вина и зелени; эта затея роскоши екатерининского времени нам была уж совсем ни к чему, потому что у нас банкетов никогда не бывало, да и вин в доме не держали. Березовых дров на это помещение отпускалось в год 80 сажен. Одним словом, умирать не надо, а не квартира.

Не успели еще мы привести в порядок новую квартиру, как от Лизаньки Никитиной, из ее добровольной ссылки, по почте прилетела к папеньке крошечная записочка, в которой каракулями, слабою рукою, было написано: «Дяденька, спасите меня, возьмите меня отсюда!.. Нет больше сил выносить моей здешней жизни!..» Под этим было подписано: «Ваша несчастная Лиза». И больше ничего. Нельзя было понять, что с нею случилось. Все наши сильно перепугались, всполошились, не знали, что предпринять... тем более что папеньке на первых порах новой службы нельзя было бросить все и уехать. Но добрейший торопыга наш, дяденька Константин Петрович, всегда отзывавшийся первым на чужое горе, успокоил папеньку тем, что собрался сам ехать за Лизанькой и привезти ее к нам. Иван Никитич Кудрявый упросил дядю взять его с собой. Они мигом справили свои делишки и укатили. Наши в недоумении и беспокойстве должны были ждать их возвращения.

Что же после оказалось? Когда влюбленная Лизанька прискакала вслед за своим арестантом Митей, он уже успел обойти своих церберов арестантской роты, пообещав озолотить всех, когда приедет жена его с деньгами...

Ловкий был парень Никитин! Наговорил «турусы на колесах» даже самому майору, главному своему начальнику. Тот ему поверил и вместо того, чтобы усадить негодяя, куда следовало, приказал отвести ему особую светлую и чистую комнату, начал посылать обед с своего стола, заходил поболтать с ним... И даже иногда (в счет будущих благ, разумеется) майор и узник его

присаживались поиграть от скуки в картишки... Когда Елизавета Александровна приехала, командир арестантской роты принял ее очень любезно и дозволил ей видаться с мужем, когда ей будет угодно...

При первом же свидании Никитина с обожаемой женой он так подольстился к Лизочке, так влез к ней в душу, что она вынула из своего заветного мешочка банковый билет и передала ему, а он, когда она ушла, сунул его в руку майора. Тогда льготы арестанту Никитину пошли уже не те: вместо того, чтобы посылать его на работу с другими арестантами, ему разрешили просиживать это время у жены на квартире, которую нанял для нее Иван Никитич, когда привез ее к мужу. А в его собственной комнате в арестантском казенном помещении начали собираться майор с офицерами, пошли попойки и страшная азартная игра... Банковые билеты из мешочка Елизаветы Александровны вылетали один за другим... А когда она заметила, что их становится мало, и стала просить его поберечь деньги, потому что их скоро совсем не будет, тогда Дмитрий Николаевич стал их ловко потаскивать из мешочка Лизаньки, уносил к себе, искусно подделывая с них фальшивые, и клал на место настоящих, а настоящие билеты удалая шайка меняла у купцов на деньги, и на них продолжалась игра, пьянство и кутеж...

Но не буду тянуть рассказ про эту тяжелую, грязную историю; скажу прямо, что Никитин притворялся милым и ласковым мужем с несчастной Лизанькой до тех пор, пока он мог добывать у нее деньги... Но как только он вытащил из ее дорожного мешочка последний настоящий банковый билет, заменив его фальшивым, так и обращение его с женою совершенно переменилось. Надо сказать, что ему и самому не везло больше «воловье счастье». Он перестал выигрывать в карты, денег у него на руках оставалось очень мало, а он очень хорошо понимал, что если у него не будет денег, то не будет и милостей к нему начальства. А паче чаянья, если откроется подделка банковых билетов, то впереди ему грозит каторга. Сообразив все это, мошенник вдруг начал сильно трусить и в своем безвыходном положении винить не себя, а свою несчастную молодую жену за то, что она навязалась ему на шею и загубила его жизнь. Приходил к ней в пьяном виде, бранил, ругал и даже бил несчастную женщину, требуя, чтобы она достала ему денег, где хочет. Испуганная Лизанька стала давать ему свои банковые билеты...

Но тут он так рассвирепел на нее, что, сорвав с себя ремень с пряжкой, исколотил ее чуть не до смерти... Вот тогда-то, вероятно, она и нацарапала папеньке свою маленькую записочку.

Когда дяденька Константин и Иван Никитич приехали за ней, то застали ее уже больной, в постели, в страшном жару, но еще в памяти, так что она могла рассказать деденьке Константину Петровичу о злодействах своего мужа...

Бережно довезли они ее до Петербурга, но к нам, в Академию, Лизанька не попала, потому что дорогою у нее разыгралась страшная горячка. Да и добрейший Иван Кудрявый уговорил дяденьку отвезти ее в его дом, где была свободная квартира и где больной будет покойнее. Так они и сделали.

Как только наши узнали о случившемся с Лизанькой несчастии, то сейчас же тетя Надя и маменька полетели ухаживать за больной и прогостили в доме Ивана Никитича довольно долго,— помнится мне, недели две,— и вернулись домой только тогда, когда бедная страдалица скончалась... Самые лучшие доктора и всевозможные их средства не могли отстоять молодой, так зверски надломленной жизни.

Как теперь вижу, как мимо наших окон проехали богатые похороны с розовым гробом, в котором везли нашу кузину на Смоленское кладбище, где она похоронена в одной могиле с отцом своим графом Александром Петровичем Толстым.

Не могу тут пропустить одного обстоятельства. Во время болезни Елизаветы Александровны приглашением докторов и всеми расходами заведовал Иван Кудрявый. Когда дяденька Константин привозил ему на это деньги, то Иван Никитич всякий раз говорил ему: «Погодите, ваше сиятельство, куда нам спешить? После за все вместе получу с вас!» Когда похоронили Лизаньку, дядя приехал расплатиться, но тут уж Иван Никитич с обиженным видом проговорил:

— Нет уж, ваше сиятельство, это вы оставьте! Неужели же я такой скот, что допущу кого-нибудь, кроме себя, даже вас, похоронить дочь моего благодетеля!..

Дяденька рассердился, раскричался на него, но все-таки не мог принудить бывшего верного слугу своего брата взять ни одной копейки.

После всех этих хлопот и передряг в нашем семействе, в которых я, как 11-тилетняя девочка, никому не могла

помочь, а могла только смотреть, слушать и сожалеть милых мне людей, пора мне порассказать все, что я запомнила про милейшую мою Академию, где я так счастливо и весело прожила много лет...

Не могу, однако ж, сказать, чтобы с переездом нашим в Академию профессора и жены их сошлись с семейством нашим на более короткую ногу. Нет, отношения мужчин оставались по-прежнему служебные, а дамы наносили маменьке визиты по праздникам. Только с одной Софьей Ивановной Григорович, которую и прежде мы знали и любили, живя под одной кровлей, сдружились еще больше.

Да еще мы с сестрой Лизанькой скоро познакомились и сдружились с дочерьми профессоров. Да и трудно было не познакомиться: квартира наша в Академии была дверь об дверь с квартирой Мартоса, а у него был вечный притон молодежи, в особенности его внучек... Милейший старичок Иван Петрович, у которого в это время дочке от второго брака Катеньке было уже 14 лет, сам привел ее к нам с визитом и просил маменьку сделать ему честь дозволить нам с Лизанькой бывать у них в доме. Маменька на эту любезность старичка ответила тем, что сама свела нас в гости к Авдотье Афанасьевне Мартос. Так началось наше знакомство с доброй милой Катенькой и с ее юными племянницами, внучками Ивана Петровича, а у такого молодого народа, как мы все были тогда, от знакомства до дружбы недалеко. И так нам было хорошо и весело всем вместе, что теперь, старухою, вспоминая то счастливое невозвратное время, молодеешь...

Академия художеств ведь была тогда целое особенное государство со своими обычаями, привычками и образом жизни, совсем особенным от остальных жителей Петербурга. Но чтобы ознакомить с этим своеобразным бытом профессоров Академии, лучше будет, если каждого из них особо с семейством и гнездом его я опишу отдельно.

Начну с первой профессорской квартиры по левую руку от ворот с Румянцевской площади; в ней жил профессор Воробьев, известный пейзажист, маленький, веселый человечек, скрипач и музыкант в душе. Жена его, полная величественная женщина, очень любезная в обращении, называлась Клеопатрой. Очень картинна она была, когда, красиво драпированная пунсовою турецкою шалью, молилась, обливаясь слезами, стоя на коленях посредине старой академической церкви... Так молилась, что, глядя

на нее, поневоле всем приходило в голову, что эта женщина отмаливает какой-нибудь тяжкий грех. Оно отчасти так и было, но об этом расскажу в свое время. Семейство их состояло из двух сыновей: старшего Платона *, меньшого Ксенофонта и маленькой девочки, тоже с каким-то классическим именем, которого я теперь не припомню. Платон был учеником Академии и шел, по примеру отца, по пейзажной части, в которой, кажется, со временем перещеголял отца своего. Кто не помнит прелестных пейзажей Платона Воробьева, которые до сих пор красуются в залах Академии!.. Характером он был весельчак и проказник страшный.

Вот жаль, что некому мне теперь напомнить, был ли учеником Академии меньшой сын Воробьевых, Ксенофонт, или Сеничка, как его тогда называли, но помню, что после он был тоже весельчак, душа компании и «сорви-голова» порядочный...

Квартира у старика Воробьева была небольшая, меблирована довольно бедно, да и жизнь они вели тихую, какую-то затворническую. Покуда довольно о Воробьевых. За ними шла наша квартира; но ее и наш образ жизни,— который и в Академии оставался такой же, как в розовом доме,— я уже описала, а потому пока обойду нас и остановлюсь у дверей Мартоса, чтобы описать подробнее арену наших проказ и шалостей. По-моему, в квартире Ивана Петровича интереснее всего была мастерская «в а я т е л я IX на X в е к а», как величал своего тестя красноречивый зять его Василий Иванович Григорович. Видно, эта лаконическая и веская фраза из римских цифр очень полюбилась Григоровичу, если впоследствии он приказал вырубить ее на гранитном памятнике Мартоса, который до сих пор стоит невредимо на Смоленском кладбище.

Мастерской, собственно говоря, у Ивана Петровича не было, а была точно такая же высокая со сводами зала, как у нас, и в ней старичок устроил себе очень оригинальную мастерскую; она же была и столовая и в торжественных случаях живо превращалась в бальную залу... Только две вещи никогда не двигались с своего почетного места в импровизированной мастерской — это два громадные алебастровые слепка с памятников работы Ивана Петровича, которые вечно стояли недвижно на простых

* Ошибка М. Ф. Каменской: старшего сына Воробьевых звали Сократом. (*Примеч. сост.*)

массивных деревянных станках в двух углах около входной двери в залу. По правую руку памятник Минину и Пожарскому [12], а по левую памятник великолепному князю Тавриды; [13] о нем помню, что он кудрявой головой доставал до самого начала свода, а около ног у него зачем-то сидел орел... За неимением особой столовой в квартире ректора и по невозможности поставить в залу, кроме двух памятников, какой-нибудь буфетец или шкафик, изображения великих людей приспособили по хозяйству: в ногах у Минина и Пожарского всегда стоял судок с горчицей, уксусом и прованским маслом, корзина с ложками, ножами и вилками; на остальные свободные места гости мужеского пола всегда наваливали свои шляпы... Князь Потемкин всегда стоял настороже за шкатулкой с чаем и сахаром, лоточком с булками и грудою чайных чашек; на голову орла вешали просушиваться чайное полотенце. Всю средину мастерской занимал длинный складной стол, покрытый чудным персидским ковром. Вокруг стола, рядом, один около другого, лепились стулья с высокими спинками, обитые черной кожей с медными гвоздиками. Около одной стены помещался такой же диван, на котором Иван Петрович засыпал часок-другой после обеда. Наконец, у окна, как «святыня», до которой никто не смел дотрогиваться, стоял станок с укутанной в мокрые тряпки глиняною работою Мартоса, и около него раскинутый ломберный стол, заваленный старинными гравюрами. Надобно знать, что ваятель IX на X века никогда не лепил иначе, как приглядываясь к изображениям античных статуй, главное, к их драпировкам... Драпировки — это была страсть Ивана Петровича; он был скульптор очень стыдливый и показывать много голого тела не любил. Ему вылепить женскую фигуру с обнаженной грудью было бы невозможно. Стыдно, да и только! Вообще для скульптора, который побывал в Италии, скромность его просто казалась непонятной. Может быть, происхождение его из духовного звания оставило на нем до старости лет свой духовный отпечаток... У него было какое-то отвращение к голому телу. Помню, как позднее, разговаривая раз со мною про знаменитую танцовщицу Истомину, так обаятельно воспетую Пушкиным [14], старичок сказал: «Коровища жирная, оголилась вся, да еще перегибается и наклоняется, тьфу, мерзость какая!»

За мастерской шла маленькая гостиная, перегороженная пополам массивною перегородкою с античными ба-

рельефами, за которой была спальня Ивана Петровича и Авдотьи Афанасьевны. Помню, как в этой гостиной они всякий вечер сражались в мельники [15], и, если она останется мельничихой, он надевал на нее свою соломенную шапочку, а если он — мельником, то она на него — свой чепец. За гостиной шла еще комната под названием «комната барышень». В ней всегда заседала наша веселая братия. На антресолях помещалась Катенька. В другой огромной комнате жила ее тетка, Наталья Афанасьевна, сестра ее матери. Прелестная старая дева была эта Наталья Афанасьевна: высокая, полная, очень еще красивая лицом, вечно завитая в каких-то кудряшках, добрая, всегда веселая; ее обожали все, кто только ее знал. А она больше всех обожала племянницу свою Катеньку, называла ее «наша телятинка» и всегда говорила ей: «Катенька, вы-с». Да и никто в доме, кроме отца и матери, Катеньке «ты» не говорил. Самого Ивана Петровича дочери от первого брака называли по старине «тятенькой», только одна многолюбимая им Катенька называла его по-нынешнему «*papa*». Все вдовы и сироты, которых Иван Петрович опять набрал к себе полон дом, величали своего благодетеля «Дяденька, вы-с».

Вот и все, что мне хотелось прибавить к моему рассказу о Мартосах; после житье-бытье наше само покажет, что мы там творили, а покуда перейду к другим жителям Академии.

За Мартосами, по коридору, перейдя чрез парадную лестницу, первым жил Василий Иванович Григорович. В квартире его не было ничего необыкновенного, кроме множества гравюр в золотых рамках, которые покрывали все стены залы и его кабинета. Меблировка была самая скромная: соломенные стулья кругом всей залы да старинное фортепиано; веселили ее только зеленые кадки с померанцевыми деревьями около окон. Гостиная точно такая же, как у Мартоса. Около окна на Неву два кресла, на которых в свободное от занятий время Василий Иванович приходил посидеть с женой своей Софьей Ивановной. Сидя один против другого, они болтали кое о чем и оба курили сигары... Софья Ивановна, закуривая молодому мужу своему трубки и сигары, сама научилась курить и в этом не женском деле от него не отставала; это был, кажется, единственный ее грех. Любили они с Василием Ивановичем друг друга умною, серьезною любовью; в детях, которых у них было мал мала меньше целых пятеро, души не чаяли.

Странная особенность была в их детях: они через одного были очень долгоносые или совсем курносенькие. И Василий Иванович, смеясь, часто говорил, что профиль у людей зависит от нянек, что у них нянька Настенька, которой попал на руки первый сын Коля, сморкала его, поднимая платком нос кверху, а нянька Марфа, которой по очереди досталась вторая дочь Анюта, сморкала ее книзу, высморкает и еще потянет сильно раза два за нос... И точно, за длинноносою Нютой следовала курносенькая Соничка, за нею долгоносый Костенька, а за ним прелестный ребенок Вася с маленькой пуговкой вместо носа. Всех этих ребят я таскала на руках и очень любила.

Говорят, Григоровича назначили конференц-секретарем в Академии художеств за то, что он был великий знаток в изящных искусствах и мог с первого взгляда на древнюю картину верно определить, кем она написана. Кроме того, он говорил и писал красноречиво. Как начальник канцелярии с чиновниками был строг и важен; все подчиненные его боялись гораздо больше, чем моего отца, который был страшный баловщик. Помню, как, бывало, письмоводитель придет к нему и принесет к подписи нужные бумаги, а папенька и подписывать их не станет, пока не подаст ему сам стул и не усадит около себя. Помню тоже, что этот письмоводитель после так ободрился, что приходил за подписью бумаг к отцу моему с двумя маленькими девочками в розовых платьицах, вероятно, его детьми; пока папенька подписывал бумаги, эти девчурочки играли и бегали по его кабинету... Ну, от Василия Ивановича чиновникам такой вольготы было не дождаться: у него стой навытяжку, у него «всяк сверчок знай свой шесток».

За квартирой Григоровича, на угол 4-й линии, шла квартира профессора живописи Егорова. У него в мастерской убранства никакого не было, кроме того только, что по всем стенам были развешаны чудные картины его работы, привезенные им из Италии, которые нынче ценятся так дорого... Всюду грязища и неурядица страшная! Его самого в этом храме искусства можно было застать в грязнейшем халате, с такою же ермолкою на голове... Невысокий ростом, мускулистый, с порядочным брюшком, Алексей Егорович всегда стоял перед мольбертом с палитрой и муштабелем [16] в руках и писал какой-нибудь большой образ. Около него в кресле, в пунсовом ситцевом платье, прикрывая ковровым платком свой

громадный живот, всегда сидела на натуре, очень еще красивая собой, жена его Вера Ивановна. (Я ее не помню иначе, как в «почтенном положении».) И она, бедная женщина, вечно, без устали и ропота, служила изящному искусству... Я уже сказала выше, что Егоров писал с нее Богородиц, а с дочерей своих — ангелов. Мастерскую свою Алексей Егорович держал совсем на манер студий старинных итальянских художников; ученики его пригождались ему на всякие должности... Из учеников его я помню теперь одного Михаила Ивановича Скотти, который после так прелестно писал внутренности дворцов и был в такой славе по этой части... Помню я, как, бывало, Егоров пишет в своей мастерской, и Скотти тоже пишет на своем мольберте около своего профессора, и весело разговаривают между собой. И между этою болтовней Алексей Егорович ему скажет: «Миша, сапоги ты мне почистил?» или «Миша, поставь, братец, свечи в шандалы». Или еще: «Миша, погулял бы ты с барышнями!» Егоров под словом «барышни» разумел своих дочерей. И Миша, впоследствии Михаил Иванович Скотти, исправлял все эти должности весело, не обижаясь... Да и обидеться было невозможно, потому что все повеления свои Алексей Егорович отдавал таким ласковым, дружеским тоном. Барышень у Егорова было тогда три: Надинька — тонкое, воздушное, сентиментальное созданье, именно с ангельским личиком; Дуничка — живая, веселая девушка, не так хороша собой, как пикантна, с задорливыми родимыми пятнышками на бело-матовом лице, умная, острая, всегда находчивая на ответы. Эта вторая дочь Егорова и была моим сердечным другом. Меньшая дочь, Соничка, во время нашего переезда в Академию была еще маленькая девочка и нам не пара, и отцу своему — не натурщица; а после, когда она выросла, Алексей Егорович все писал с нее одалисок. И точно, верх ее лица и глаза с поволокой были прелестны, но рот был некрасив, и потому художник-отец всегда картинно укутывал ей пол-лица дымкою, и она выходила у него просто красавицей. После у Веры Ивановны родился еще сынок Евдокимушка, который тоже, кажется, был живописцем.

Про время пребывания Егорова в Италии осталось несколько интересных анекдотов. Всем известно, что Алексей Егорович был знаменитейший рисовальщик. Достаточно сказать, что картина «Христос в темнице» [17] — его работа, чтобы понять, что имя Егорова не умрет в летописях Академии художеств.

Вот раз как-то в Италии завязался спор между художниками о том, что русскому художнику никогда не нарисовать так правильно человеческой фигуры, как нарисует итальянец. Егоров вспылил, остановил азартное разглагольствование озорников и, взяв уголь в руку, сказал: «А вот так вы умеете?» — и с этими словами начал вести углем по стене и, не отнимая от нее руки и начав с большого пальца левой ноги, обвел на память, не пропустив ни одного мускула, одним почерком, целую человеческую фигуру без одной ошибки. Про этот tour de force Егорова долго еще рассказывали итальянцы вновь приезжающим из России молодым художникам, как про чудо.

Вообще, говорят, Алексей Егорович легко относиться про Россию при себе не позволял. И про воловью силу его в молодые годы тоже часто вспоминали в Италии. Раз за что-то он повздорил с итальянским художником; тот обозлился и кинжал вытащил, но Егоров в мгновенье ока вырвал у него смертоносное оружие, руками изломал стальное лезвие на кусочки, все вместе швырнул к ногам задиры и ушел как ни в чем не бывало.

А то, говорят, еще другого какого-то итальянца, в пылу перебранки, схватил за штанишки одною рукою, просунул в отворенное окно и держал на весу над мостовой до тех пор, пока несчастный не попросил у него пардона.

Как времена-то переменчивы! Когда я знала Егорова в Петербурге, он сам многого трусил: от грозы прятался между перин своей постели; боялся почему-то масонов и вообще стал подозрителен, недоверчив... Странное дело! Казалось бы, что такая размашистая натура, какою был в молодости Егоров, должна бы остаться навсегда щедрою; а между тем Алексей Егорович, когда я его узнала, был положительно скуп. Вот пример: Вера Ивановна за обедом всегда сама разрезывала жаркое, и всякий раз, как она, бывало, возьмется за большой ножик, муж непременно остановит ее словами:

— Погоди, Веруша, не рушь! Спроси прежде у гостей, хотят ли они, а если не хотят, так зачем же даром материал портить.

Дочерям своим Алексей Егорович не дал почти никакого образования, отговариваясь тем:

— К чему девиц учить? Сколько не учи, все равно забудут, а были бы деньги — женихи будут.

Теперь мне осталось сказать несколько слов о про-

фессоре архитектуры, Абраме Ивановиче Мельникове, женатом на меньшой дочери от первого брака Мартоса, Любови Ивановне. Абрам Иванович был рослый, полный и красивый мужчина. По рассказам о нем я знаю, что он был искусным архитектором; им самим и по чертежам его по всей России построено много церквей и домов. Самого же его я почти совсем не знала, хоть и встречалась с ним часто у Мартосов, но он с женщинами никогда не разговаривал. Да и жена его, со всеми живая, веселая женщина, мужа своего как-то сторонилась, и я почти никогда не видала их вместе. И про семейную жизнь их ничего не могу сказать, потому что я у них в доме в это время никогда не бывала. У Абрама Ивановича и Любови Ивановны детей было всего двое: дочка Сашенька и сынок Абрамушка, но о них интересного теперь сказать нечего; вот когда Сашенька Мельникова вырастет и выйдет замуж за англичанина, который был секретарем у богача барона Штиглица, тогда будет что порассказать о Сашеньке живой и мертвой...

Вот и все профессора моего времени, которых я знала лично... Об остальных деятелях Академии художеств особо теперь говорить не буду: когда придется к слову, помяну о них.

Лето 1828 года мы в первый раз провели во втором Парголове. Бабушка Мария Степановна и три тетки мои, верные своей нелюбви к дачам, опять остались на лето в Петербурге, а потому маменька и наняла у крестьянина Ивана Москвина, на задворках, маленький домик, в котором мы вчетвером поместились очень удобно. Этот хозяин наш, старик с громадной рыжей бородой, был до старости лет лихой ямщик, и парголовские дачники всегда нанимали его, чтобы прокатиться на его лихой тройке в Токсово, полюбоваться на нашу русскую Швейцарию. Бывало, никто не спустит так бережно, шагом, телегу с отвесных гор и взлетит на них соколом, как Иван Москвин.

Он стариком, от двух взрослых дочерей, женился во второй раз на красивой бабе Анисье, которая выкормила графу Шувалову не знаю которого сына, за что с мужа ее были сняты все подати, а ей самой выстроили рядом с дачею Ивана новую большую дачу, которую она отдавала уже в свою пользу. Самые богатые мужики во всем втором Парголове были Анисья и Иван. Анисья была баба умная, говорливая... и я помню, как папенька любил с нею беседовать. Очень полюбилось нам всем прелестное

Парголово. Но о нем рассказывать нечего, потому что все жители Петербурга, верно, побывали в нем не раз.

В то время, про которое я пишу, старый граф Шувалов уже давно умер, вдова его графиня Шувалова, рожденная княжна Шаховская [18], успела уже во второй раз выйти замуж по страстной любви за графа Адольфа Полье и овдоветь во второй раз. Этого второго мужа графиня обожала до того, что даже с мертвым не захотела расстаться и похоронила его тут же, около своей усадьбы, в прорытом в горе и отделанном на готический манер гроте. И этот грот, от которого тянется Адольфова прямая аллея до самой Адольфовой горы, тоже, вероятно, все помнят, но вот о чудесах, которые творила вдовствующая графиня Полье в этом гроте на первых порах своего неистового горя по боготворимом муже, может быть, и не все знают, и мне хочется о них рассказать, потому что они очень забавны. В гроте, около двух стен, были положены две плиты из какого-то пестрого камня, что-то вроде яшмы. Под одной почивал прах графа Полье, другая же могила стояла пустая и была предназначена неутешной вдове его... Весь грот, снаружи и внутри, был уставлен тропическими растениями. Плиту над телом покойного мужа графиня всякий день убирала своими руками богатейшими цветами. Но ей этого было мало; так как половину ночи она проводила в гроте, где было темно, то ей захотелось украсить так могилу своего Адольфа, чтобы и ночью она поражала своею красотою. И вот графиня придумала для этого такой способ: она стала приказывать деревенским девчонкам и мальчишкам собирать для нее светящихся червячков и, говорят, платила за них по пятиалтынному за штуку. Нанесут ей их, бывало, тьму-тьмущую, а она, как только смеркнется, этих светляков по всему гроту и разбросает... И поползет живая иллюминация, переливаясь фосфорическим светом, по пальмам, розам и лилиям! А графиня сидит в гроте далеко за полночь, любуется этой картиной, обливается горючими слезами и со своим Адольфом разговаривает... Наконец, видно, ей спать захочется; пойдет домой отдохнуть, а мальчишки и девчонки караулят ее, и как только она уйдет, все шасть в грот! И давай опять собирать своих червяков в баночки и коробочки, а наутро новеньких немного подбавят и опять продадут графине... Анисья, бывало, смеясь, говорила папеньке:

— Да, ваше сиятельство, не поверите, какой большой оброк собирают босоногие чертенята червячками с своей законной барыни...

И не одни ребятишки приглядывали за неутешною вдовицей; кроме них, каждую ночь забирались в грот какие-то шалопаи-студенты, прятались по темным уголкам и оттуда следили за каждым движением графини, как она то полежит на плите, то походит по гроту, плачет, рыдает, слезы свои собирает в богатый батистовый носовой платок и потом кладет его между розанов на могилу своему Адольфу... * Все это, должно быть, сначала очень забавляло шалунов-студентов, но скоро им надоело быть только наблюдателями; им самим захотелось принять учстие в этой ночной трагикомедии. Вот раз, перед приходом графини, забрались проказники в грот, сдвинули плиту с пустой могилы, один из них спрыгнул в склеп и притих, а другие задвинули над ним плиту и попрятались... Приходит графиня; как всегда, плачет, рыдает и упрекает обожаемого супруга за то, что он покинул ее одну на белом свете... И вдруг из недр земли страшный замогильный голос отвечает:

— Я здесь, я жду тебя, приди ко мне!..

Быстрее молнии улепетнула вдова из грота, студенты с громким хохотом убежали восвояси по Адольфовой аллее...

С тех пор графиня в грот ни ногой... Говорили — не знаю, правда ли это,— что и говорящего покойного супруга после этого вырыли и отправили похоронить на родину в Италию и что будто бы теперь обе могилы в гроте пусты... Сама же графиня Полье, не подновляя ежедневно своего горя ночными ламентациями [19], видно, скоро забыла своего незабвенного Адольфа, потому что вышла в третий раз замуж за неаполитанца князя Бутера.

Но «не суди и не осужден будеши».

Теперь, верно, и самой княгини Бутера нет на Божьем свете... Мир праху ее!.. И да сбудется над нею священное обещание: «Она много любила и много ей простится!»

Со вторым Парголовым я расстаюсь ненадолго, потому что я там жила и девушкой и замужней женщиной, и много у меня связано с ним интересных воспоминаний. А теперь уже осень, пора вернуться в Петербург и поговорить о моей милейшей Академии художеств.

---

* Эти платки, разумеется, тоже крали деревенские девки. (*Примеч. автора.*)

VIII

Возвращение в Петербург.— Анекдот.— Братья Чернецовы.— Перемены в кругу наших знакомых.— Карлики Ромул и Софрон Осипович.— Забавы княгини Васильчиковой.— Отношения моих родителей к крепостным.— Медвежонок и А. Н. Оленин.— Милостивое обращение императора Николая Павловича с моим отцом.— Нога славянина.— Доброта И. П. Мартоса.— Академическая церковь и ее причт.— Свадьба дочери И. П. Мартоса.— Кончина бабушки и дяди

По переезде из Парголова в Петербург папенька усердно принялся за обычную работу: всякое утро усаживаться в кабинете у окна вырубать свои медали. Но его часто отрывали от занятий; почти ежедневно к нему приходили с просьбами о принятии в ученики Академии каких-то мальчиков, и это отнимало у него много времени. По этому поводу маменька рассказывала нам забавный анекдот, в котором ей самой пришлось играть роль.

Мать какого-то мальчика, вероятно, подумала, что прием ее сына в Академию будет вернее, если она забежит вперед попросить покровительства графини Анны Федоровны. Так она и сделала. Забралась прежде к маменьке и стала слезно умолять ее упросить супруга своего принять в число учеников Академии ее бедного сына.

— Отчего же вы, моя милая, не обратились прямо к графу? Я, право, тут ничего не могу... Это совсем не мое дело...— ответила этой женщине маменька.

— Ваше сиятельство, заставьте за себя вечно Бога молить! Ведь все говорят, что коли вы за кого супруга вашего попросите, то того они непременно примут... А мальчик у меня такой смирный, богобоязненный!..

— Да ведь не в том дело, милая моя; надо знать, имеет ли сын ваш способности к художеству? — спросила мать моя.

— К художеству? — с испугом вскрикнула несчастная мать,— к художеству? Да избави Боже!.. Благодетельница моя! Никаких у моего сына способностей к художествам нет... Он у нас ведь в страхе Божием воспитан, он у нас ведь не дурак какой-нибудь, он у нас в школе, он уж очень ученый: всю эту ашетрию,

манетрию и фиц под фискал* давно уж прошел, а насчет художеств — Бог помиловал! Он у нас их и в голове не держит...

Так я и не знаю, взяли ли тогда этого ученого мальчика без художеств в ученики Академии.

А вот в другой раз, на моих глазах, пришли к папеньке два крестьянские мальчика в лаптях, стареньких кафтанишках,— так эти сразу завоевали сердце отца моего.

— Чего вы желаете, ребята? Что я могу для вас сделать? — ласково спросил у них папенька.

— Мы рисовать хотим,— ответили в один голос оба мальца.

— Да вы разве умеете рисовать?

— Умеем.

— Что же вы рисуете?

— Корову — так корову, лошадь — так лошадь: что видим, то и рисуем.

— Что же, вы принесли мне показать ваши рисунки?

— На чем принести-то? У нас бумаги ведь нет...

— Так на чем же вы до сих пор рисовали? — продолжал с удивлением допрашивать мальчиков отец мой, а они без запинки ему отвечали:

— Да на заборе мелом али на стене в сарае... Только за это батька очень больно бьет, чтобы мы стен не пачкали, и сейчас же все, что мы нарисуем, смывать заставляет... Вот один барин нам сказал, что здесь в Академии за то, что мы будем рисовать, нас бить не будут и бумаги и карандаш дадут... Вот мы из деревни убежали и сюда пришли. Этот же барин и денег нам на дорогу дал и приказал нам идти в Питер. А вот по этой бумажке мы и Академию нашли и тебя спросили,— добавил мальчик, который был постарше, и подал папеньке запачканную бумажку, на которой был написан адрес Академии художеств и имя графа Ф. П. Толстого.

Нечего и говорить, что эти два самородка-художника были приняты в число учеников Академии, блистательно окончили в ней курс, сделались известными пейзажистами братьями Чернецовыми [1], которым впоследствии давались в распоряжение казенные пароходы, на которых они объехали всю Волгу, Крым, Кавказ и составили свои знаменитые альбомы, так долго хранившиеся в кабинете покойного государя Николая Павло-

* Геометрию, дифференциалы и интегралы. *(Примеч. автора.)*

вича. Где находятся теперь эти альбомы, я не знаю, но знаю, что папеньке, в благодарность за его заботы о них, оба брата Чернецовы поднесли две картины своей работы, написанные масляными красками, два деревенские вида, которые висели у нас в зале и которыми, я помню, отец мой очень дорожил. И верно он Чернецовых очень любил, коли принял от них этот подарок.

В это же лето, пока мы жили в Парголове, в кругу наших знакомых случились маленькие перемены. Во-первых, Михаил Евстафьевич Лобанов, вероятно, окончив давать уроки императрице Александре Феодоровне, вышел в отставку, купил себе дачу с большим садом, на Карповке, стена об стену с дачею старика балетмейстера Дидло, переехал туда с женою своей Александрой Антоновной на вечное житье, где уже на собственной земле занялся своим излюбленным ученым садоводством.

Потом еще наш друг m-r Lioseun в это же лето успел слетать на родину в Швейцарию и привез себе оттуда прехорошенькую молодую женку, m-me Louise Lioseun de Vevey, как она всегда подписывалась под своими письмами. Эта Louise Lioseun вскоре сделалась в петербургском большом свете модной учительницей французского языка, а впоследствии была даже воспитательницей целого поколения детей в аристократическом кругу. У нас в доме по мужу m-me Louise скоро стала своим человеком.

По субботам, как и в розовом доме, мы с сестрой собирали к себе девочек из пансиона m-me Ловоф и кадетиков из I-го кадетского корпуса, а к теткам моим аккуратно приезжала от княгини Васильчиковой ночевать Анна Николаевна Рускони; ее привозили в большой карете с двумя гайдуками и с нею, кстати, всегда посылали проветриваться малюсенького карлика Ромула, старичка лет семидесяти. Его запросто звали Ромушкой. Помню, что он составлял мое блаженство. Бывало, как только завижу Васильчиковскую карету с желтыми колесами, так и бегу в переднюю и жду: войдет Анна Николаевна, и покуда один верзилище, выездной лакей, разоблачает ее из салопа, а тетки и маменька целуются с ней, я во все глаза гляжу на какой-то комочек, укутанный в дамские шали, которого другой лакей держал на руках, ну, ни дать ни взять, как маленькую сморщенную обезьяну. Это и был знаменитый Ромул, любимец княгини Васильчиковой. Ему мамень-

ка и тетки мои жмут ручонки и разговаривают с ним, как с настоящим кавалером, а он отвечает им тоненьким, тоненьким голоском... Но у нас его никогда не раздевали, а тотчас же уносили опять в карету и увозили домой, а зимою этого Ромула всегда привозили в собольем мешке, завязанном под горло, и в такой же собольей фуражечке. Был у них еще и другой карлик, Софрон Осипович; но этот был уже человек самостоятельный, лет пятидесяти, и ростом с семилетнего мальчика. Этого привозили к нам часто обедать по воскресеньям. Одет он был всегда во фраке от самого первого портного в Петербурге и при часах, только лицо, как печеное яблоко. Софрон Осипович был человек грамотный и большого ума, но, как все карлики, очень зол. Раз у нас после обеда наш родственник, кадет старшего класса Барановский позволил себе как-то неосторожно подшутить над карликом, но не успел еще большой кадет досказать свое bon mot *, как Софрон Осипович подпрыгнул, схватил его за ухо и повис на нем... Барановский вскрикнул от боли, папенька кинулся разнимать их, но Софрон Осипович, не выпуская уха из рук, побагровев от злости, сказал отцу моему:

— Позвольте мне, ваше сиятельство, научить этого большого болвана, как он должен уважать людей старше себя...

Про Софрона Осиповича еще рассказывали анекдот, как он имел счастье войти в большую милость к государю Николаю Павловичу. Пятидесятилетний малютка, кроме своего ума, острот и находчивости, был еще страстный охотник, ловкий и меткий стрелок. Вот князю Иллариону Васильевичу Васильчикову раз и пришла в голову мысль взять с собою на царскую охоту своего Софрошу и потешить им государя. Выдумка князя имела успех: Софроша на охоте не дал почти ни одного промаха и ловкими своими словцами смешил Николая Павловича. За завтраком, говорят, государь посадил карлика около себя и, милостиво трепля его по плечу, спросил:

— Ну что, маленький человечек, доволен ты сегодняшним днем?

— Безмерно счастлив, ваше величество, и не забуду этого дня до последнего моего вздоха...

---

* остроту (*фр.*).

— Ну, так научи меня, Софрон Осипович, как бы мне ознаменовать этот день, когда мы охотились вместе с тобою, так, чтобы ты никогда не забыл его.

— Примите меня на службу в вашу охоту, ваше величество, и дозвольте мне носить ее мундир. Тогда, если б я и мог забыть сегодняшний день, то это будет мне невозможно...

Государь расхохотался и тотчас приказал князю Васильчикову зачислить забавного карлика в свою охоту и велел нарядить его в мундир.

Анна Николаевна несколько раз рассказывала при мне, что у ее друга княгини Васильчиковой в деревне происходила какая-то особенность: очень часто родились карлицы и карлики, что раз княгине захотелось поженить такую парочку уродцев между собою и что на это желание деревенский священник долго не соглашался и говорил ей:

— Помилуйте, ваше сиятельство, что вы хотите делать? Ведь это будет вам большой грех, если вы будете распложать на свете уродов...

— Ах, батюшка, не говорите мне этого! — отвечала огорченная противоречием священника княгиня.— Ведь если мы их соединим, то дети их родятся законными, и в этом никакого греха не будет. Гораздо же грешнее будет, если у этих несчастных родятся дети без брака...

И переспорила княгиня своего деревенского пастыря: он сделал удовольствие своей барыне и обвенчал такую парочку... А она стала играть, как в игрушки, со своими молодыми. Выстроила им у себя в саду особый крошечный домик, приставила карликам в прислугу подростков мальчиков и девочек, велела для них сделать маленькую телегу, купила пони, завела полное хозяйство в миниатюрном виде и водила всех гостей своих смотреть на свои чудеса. Восторгам княгини Васильчиковой и ее гостей, которые лазали в маленький домик смотреть на семейное счастье маленьких супругов, не было конца.

Да, хотя эти проказы творились далеко до появления моего на свет, но все-таки с трудом верится, чтобы та же самая женщина, которая играла живыми божьими созданиями, как игрушками, могла быть вместе с тем в полном смысле добродетельной княгиней Васильчиковой, которую уважал весь Петербург. Неужели же тогда даже все прекраснейшие люди своих крепостных за людей не считали?.. Как это странно! Слава Богу, что я у нас в доме никогда ничего подобного не видела.

Мои дорогие отец и мать, с тех пор, как я их помню, кажется, были немного помешаны на желании как можно скорее отпустить всех своих крепостных людей на волю. Да вот беда, от них никто уходить не хотел. Да и маменька сама себе их подбавляла: как только узнает, что на Васильевском острове какой-нибудь барин или барыня тиранят человека, так и начнет мучиться, как бы ей выкупить несчастного; займет, бывало, денег у дяди Константина Петровича и выкупит. Помню, что сестре Лизаньке и мне в наши именины она всегда дарила чью-нибудь вольную и приказывала отнести и подарить вновь выкупленному человеку. Так выкупила маменька нашего кривоногого повара Филиппа и чудную девушку Анну Васильевну, которая вольной от нас не приняла и до глубокой старости была горничной девушкой тети Нади. Случалось, что маменька и сама не отпускала на волю ни на что не способного человека из боязни, что на воле он умрет с голоду. Был у нас такой Иван, которому по глупости его даже должности придумать не могли. Только раз перед самым переездом нашим из розового дома в Академию он сам явился к маменьке с просьбой:

— Ваше сиятельство, отпустите меня на волю, я жениться хочу...

Разумеется, вольную ему дали. Он ушел, женился на такой же дуре, как он сам, и долго о нем не было ни слуху ни духу... Прошло года полтора, и вдруг он сделал маменьке сюрприз: не спросив у нее даже позволения, пришел к нам назад с женой, люлькой и маленькой дочкой. И, как будто так и надо, объявил маменьке:

— Ваше сиятельство! Я опять к вам, возьмите нас, мы с женою и ребенком на воле с голоду помираем.

И что же? Маменька вместо одного рта приняла назад три.

Но я увлекаюсь, поднимаю всю милую мне старину, а, может быть, мои рассказы про мою святую мать интересны только мне... Да по правде сказать, в конце 1828 года ничего особенно знаменательного, кроме кончины императрицы Марии Феодоровны, не случилось, но о ней я подробностей никаких не знаю. Слышала только, что все казенные заведения, о которых государыня заботилась как родная мать, были в страшном горе. Старик Иван Петрович Мартос, который в молодые свои годы по заказу императрицы украшал Павловск своими произведениями, часто имел счастье видеть го-

бежал к вашему величеству,— весь вспыхнув от стыда, заговорил папенька.

— Ах ты, мой художник! — расхохотавшись, сказал государь и ласково потрепал по плечу отца моего.

И всякий раз, как приедет, бывало, государь в Академию, паменька точно нарочно по своей рассеянности счудит что-нибудь... Раз как-то тоже ждали в Академии государя. В то время отец мой был уже занят гравированием на медных досках сочиненных им в греческом вкусе иллюстраций к поэме «Душенька» Богдановича. Не могу сказать, для чего, но только помню, что папенька, когда не работал, медную доску, по которой гравировал, всегда покрывал белой лайкой, с мохнатой стороны густо обсыпанной мелом. Так как отец мой без работы не мог просидеть ни минуты, то и в тот день, когда ждали Николая Павловича, он не утерпел, чтобы совсем одетому не пойти к себе в кабинет посмотреть на свою работу. Уселся к столу, откинул лайку к себе на колени, смотрел-смотрел, потом увлекся, прилег грудью к доске и начал гравировать, забыв все на свете... Неожиданно его спугнул кто-то, крикнув в дверь: «Ваше сиятельство, государь приехал!..» Отец мой вздрогнул, точно спросонья выбежал в переднюю, вестовой накинул ему на плечи его старую камлотовую шинель, он помчался по коридору, на парадной лестнице сбросил кому-то на руки шинель, влетел в круглую залу и очутился прямо перед лицом государя, который стоял там с Олениным и профессорами. Не успел папенька отвесить его величеству поклон, как государь разразился громким хохотом. Отец весь вспыхнул... «Опять смеется! Чему? — забродило у него в голове.— Платок у меня чистый, да я еще и не вынимал его из кармана, а он уж смеется...» — все более и более конфузясь, думал папенька.

— Здравствуй, Толстой! — протянув руку, со смехом сказал Николай Павлович.— Скажи мне, давно ли ты у меня в мельники пошел?

— В мельники?..— не понимая, что этим хочет сказать император, с удивлением переспросил папенька.

— Да посмотри на себя, ведь ты весь в муке!..— проговорил государь, дотрогиваясь пальцем до груди графа.

Папенька опустил голову и увидал, что весь перед его платья выпачкан мелом...

— Простите, ваше величество, я гравировал и не заметил, что выпачкался мелом!..— совсем успокоившись, извинился отец мой.

Раз ожидали государя на выставку. Папенька с утра оделся, и так как был очень рассеян, то маменька осмотрела, все ли на нем в порядке, положила около него носовой платок и сказала:

— Theodor, смотри, вот я тут положила тебе чистый носовой платок.

Это напоминание необходимо было сделать, потому что папенька обыкновенно, рисуя акварельными красками, вытирал свои кисти об носовой платок, так что платки его вечно были перепачканы.

В ожидании государя отец мой опять присел порисовать немного. Вдруг вбежал наш академический полицеймейстер с известием, что его величество едет.

Папенька бросил работу и поспешил встречать императора на парадный подъезд. Государь милостиво поздоровался со всеми, кто его ожидал. Подымаясь по лестнице, государь тихо сказал ему:

— Федор Петрович, у меня до тебя просьба. Знаешь, кроме баталической живописи, я не доверяю моему толку в картинах; а мне надо купить что-нибудь на выставке, и я боюсь ошибиться. Так ты не отходи от меня, и если какая-нибудь картина будет стоить того, чтоб я ее купил, ты мне глазами покажи на нее, я куплю...

Так папенька и сделал, и государь приказал оставить за ним какие-то две картины.

У папеньки на беду в этот день был сильный насморк, и он, показывая государю выставку, часто вынимал из кармана платок и сморкался... При этом Николай Павлович, смотря на него, всякий раз не мог удержаться от улыбки. А между тем деликатный отец мой уже успел обидеться и всегдашняя его вспыльчивость работала в нем...

— Чего он смеется? Что во мне он видит такого смешного? — задавал папенька себе вопрос, и на лице его было видно, что он недоволен. Государь это заметил и, как только папенька опять вытащил платок из кармана, поймал его руку, поднял кверху и, засмеявшись, спросил:

— Толстой, скажи мне на милость, какой это у тебя флаг? Я что-то не разберу...

Папенька поднял глаза и увидел, что у него в руке весь выпачканный красками платок.

— Простите, ваше величество, виноват! Ведь жена мне положила чистый платок, а я второпях и по рассеянности захватил вчерашний грязный и с ним при-

сударыню и любил ее до обожания,— долго был неутешен... И в его доме, и у всех профессоров празднеств в этом году никаких не было; осень и зима прошли совсем тихо. Наступила весна, и в Академии начали готовиться к ежегодной выставке, на которой была выставлена и наша семейная картина, одобренная советом Академии, и которая так понравилась публике...

Не помню, кто-то подарил папеньке презабавного маленького медведя, который, бегая по нашей квартире, потешал всю семью нашу. И мало того, что забавлял нашу семью, он скоро сделался любимцем самого президента Академии А. Н. Оленина, который перед выставкой часто заходил поговорить с отцом моим о делах. Приедет, бывало, Алексей Николаевич, войдет к папеньке в кабинет и вместо того, чтобы совещаться с ним о чем-нибудь нужном, по целым часам, тихо хихикая, любуется на маленького Мишку, как он, обхватывая лапами толстые ноги биллиарда, влезает на полотно биллиарда, бегает и кувыркается по зеленому сукну, а когда захочется ему опять на пол, он неловко полезет вниз, тяжелое туловище перетянет его, он оборвется и упадет на паркет, как мягкая подушка. Папенька в это время начинал несколько раз заговаривать о деле:

— Алексей Николаевич, не забудьте приказать, чтобы...

— Погодите, погодите, граф, дайте мне поглядеть на эту прелесть...— не слушая, что говорит ему мой отец, рассеянно ответит президент.

А то маленький зверенок обхватит лапами ногу маленького генерала и полезет на него, как на биллиард, тогда Алексей Николаевич начнет и хохотать и кричать:

— Граф, возьмите его, возьмите! Я его боюсь!..

И так пройдет все утро; о делах Оленин не промолвит и полслова, а только, уезжая, скажет:

— Нет, граф, теперь уж поздно! Я завтра приеду к вам поговорить о деле. Только спрячьте этого прелестного Мишу, а то я опять с вами ничего путного не сделаю.

А на другой день приедет и прежде всего спросит:

— А где же Мишка? Покажите мне его хоть на одну минуточку...

Заговорив о дружеском тоне с папенькой его прямого начальства, не могу кстати не рассказать о том, как несказанно милостив и ласков был к отцу моему сам государь Николай Павлович.

— То-то гравировал! Ах ты чудак! Ну, стой смирно, я тебя вычищу...

И государь, вынув носовой платок, начал выколачивать мел с вицмундира своего вице-президента...

Когда Николай Павлович уезжал, на парадной лестнице много рук протянулось подавать ему шинель, но он остановил их и приказал:

— Нет, наденьте прежде шинель моему мельнику; я боюсь, что он простудится, а он мне дорог...

Когда государь уехал, добряк Оленин крепко пожал руку отцу моему, а все профессора были поражены, видя такую великую милость монарха к их вице-президенту...

Кроме этих свиданий с государем в Академии художеств, папенька часто рано по утрам ходил к нему в Зимний дворец и носил показывать свои проекты, нарисованные пером для новой медали войны 1812 года, которую он собирался начать лепить. Без одобрения Николая Павловича он никогда не приступал к этой работе.

Лучше сказать теперь же, что за все 20 лет работы, в продолжение которых отец мой сочинял, лепил и вырубал свои медали, государь всего только один раз остался не совсем доволен рисунком отца моего и, рассмотрев его внимательно, сказал ему:

— Послушай, Федор Петрович, воля твоя, а колено у твоего славянского воина повернуто неправильно!..

— Нет, правильно, ваше величество! — с уверенностью ответил папенька.

— А я тебе говорю, что неправильно,— настаивал на своем император.— Вот, посмотри, я стану в такую же позу, как твой воин...

И государь точно стал перед зеркалом в позу воина.

— Вот видишь, от самого колена ты отвел ногу в сторону, а так она твердо стоять не может. Славянский воин манерничать, по-моему, не будет; он поставит ступню вот так...

И Николай Павлович, смотря в зеркало, передвинул ногу и стал прямо и твердо на всю ступню ноги. Потом присел к письменному столу и тут же на папенькином рисунке легонечко нарисовал карандашом ногу так, как ему казалось, что она будет стоять правильно [2].

— Вот, возьми домой, посмотри хорошенько; и если я прав, так поправь,— сказал государь, отдавая рисунок графу.

Но с того момента, как Николай Павлович стал поправлять рисунок отца, в папеньку успела вступить его всегдашняя горячка: он ничего не видел, не слышал и не в состоянии был рассуждать ни о чем, а только взял свой рисунок и молча вышел из кабинета государя. Всю дорогу, покуда папенька, задыхаясь, летел от Зимнего дворца до Академии художеств, в разгоряченной голове его не переставало бурлить:

— Вот как нынче!.. Я уже не в состоянии нарисовать ноги правильно... меня надо учить! Да еще рисуют на моем рисунке. Как это вежливо!..

Вбежав в свой кабинет, папенька заперся изнутри на ключ, проворно разделся догола и начал перед своим трюмо становиться в разные позы. По мере того, как он проверял себя, горячка его разом оставила: он вдруг чего-то застыдился... Проворно оделся и, открыв дверь, громко кликнул маменьку. Она сейчас же к нему прибежала.

— Аннета, поищи, пожалуйста, где у меня тут стоит баночка с лаком, подай мне ее скорей...

— Что с тобой? Отчего у тебя такое переконфуженное лицо? Не случилось ли с тобой во дворце чего-нибудь неприятного? — с участием начала расспрашивать маменька.

— Ничего со мною не случилось. Я сам виноват, виноват так, как в жизни никогда не был... Вот посмотри, у меня в этом рисунке медали, в правой ноге у воина, прокралась ошибка; я ее сам не заметил, а от государя она с первого взгляда не ускользнула. Каков молодец, какова у него верность взгляда, а я, скот этакий, еще обозлился на него... А он прав, тысячу раз прав! Гляди: это государь сам поправил мне правую ногу... Что ж ты мне не даешь лаку? Я покрою им карандаш его величества и сохраню эту редкость потомству...

Про эту поправку ошибки отца моего самим государем Николаем Павловичем я слышала от папеньки миллионы раз и видела своими глазами покрытую лаком поправку государя на рисунке отца, который он хранил до конца жизни как зеницу своего ока. Не знаю, существует ли теперь этот старенький лоскуток бумажки, на который с таким сладким чувством воспоминания о былом до глубокой старости порою заглядывался мой отец. И если существует еще эта бумажка, то придает ли ей тот, кому она досталась, ту же цену, какую придавал во время оно первый русский медальер граф

Феодор Толстой? Ничего этого я не знаю. Знаю только, что папенька тогда же исправил по указанию Николая Павловича рисунок своей медали и с повинной головой отнес его в Зимний дворец показать государю. И оба они, и царь, и художник, остались очень довольны друг другом...

Покуда все это творилось, время себе шло да шло, и незаметно настал Великий пост, пришла пора молиться и каяться в грехах. Все академические начали поочередно говеть.

Серьезнее всех, кажется, принялся за это религиозное дело Иван Петрович Мартос (недаром он происходил из духовного звания). Он мало того что говел с дочерью своей Катенькой в академической церкви, но после службы уводил свою Катеньку будто бы гулять, а сам потихоньку от домашних водил любимую дочь по тюрьмам и больницам навещать заключенных и страждущих и там давал ей деньги, чтобы она делала вклады и помогала неимущим... И все домашние знали, куда Иван Петрович повел дочь, но все молчали, потому что старичок хотел, «чтоб это было тайно»... Кроме этого тайного добра, которому старичок Мартос научал свою дочь, у него явно дом битком был набит бедными его и жениными родственниками, которые жили у него на полном его иждивении... Да, можно сказать, что Иван Петрович был истинный христианин.

Какая была наша академическая церковь простенькая, не золоченая, с темненьким военно-походным иконостасом, оставшимся, кажется, еще после императора Павла. Но что было истинно прелестно и грандиозно в нашей старой церкви, это — в самом алтаре, над престолом, что-то вроде отдельного круглого храма на шести гранитных колоннах с бронзовыми вазами и капителью и куполом, писанным масляными красками, изображающим голубое небо, облака и в нем св⟨ятого⟩ Духа в виде белого голубя в сиянии. Помню, рассказывали тогда, что под этим величественным храмом в Петропавловском соборе было выставлено тело государыни Елисаветы Петровны и что после ее похорон Екатерина II отдала это погребальное украшение в дар Академии художеств на вечную память о первой ее строительнице.

Священником Академии в то время был отец Василий Виноградов, очень умный, ученый и красивый собою молодой человек, неизвестно почему всегда груст-

ный и задумчивый. По этому поводу всеведущая академическая хроника рассказывала, что у отца Василия еще до поступления его в духовный сан священника был сердечный роман, что еще в семинарии он был без памяти влюблен в светскую прелестную барышню, но принужден был разлучиться с любимой девушкой, потому что ему дали место скончавшегося священника Академии художеств, вместе с которым ему обязательно надо было взять за себя в замужество дочь его предшественника, не любимую им и некрасивую девицу, что таков стародавний закон духовного ведомства. И вот отец Василий и грустен всегда потому будто бы, что никак не может забыть свою возлюбленную барышню.

Отец дьякон Академии художеств Тамаринский, напротив того, был нрава веселого, живой, проворный, обожающий свою жену и детей. Кроме того, Тамаринский был и художник, очень недурно писал образа и всегда находил способ прирабатывать что-нибудь в пользу семьи своей. Не знаю, помнит ли кто-нибудь в Академии, как отец дьякон проворно и ловко сумел воспользоваться долетевшею до Петербурга вестью о том, что в Воронеже открылись мощи святого Митрофания. А я так очень хорошо помню. Как только отец дьякон узнал эту новость, то, не теряя ни минуты времени, поехал, накупил себе много кипарисных дощечек, на которых пишут образа, привез к себе домой, уставил их в линию в длину своей комнаты, вооружился своей палитрою, кистями и начал гулять взад и вперед и писать много Митрофаниев сразу. Раз прошел — написал всем лбы; другой прошел — всем брови; в третий — глаза, а там и пошел, и пошел тем же порядком писать нос, рот, бороду и, наконец, одеяние. Все это было сделано так живо, что работа была готова, просохла и поступила в продажу тогда, когда во всем Петербурге ни за какие еще деньги нельзя было выменять себе образ нового святителя, а спрос на него был большой. Говорили тогда, что Тамаринский этой аферой сколотил себе порядочные деньги.

Закончу настоящую главу моих воспоминаний браком дочери Ивана Петровича Мартоса. Он сам приехал объявить отцу моему, что дочь его, Екатерина Ивановна, просватана за прекраснейшего человека, архитектора Василия Алексеевича Глинку.

Папенька был знаком с Глинкой, знал, что он дейст-

вительно прекрасный человек, но все-таки не мог не подумать, что пятидесятилетний муж далеко не пара пятнадцатилетней дочери Мартоса.

Но в то время браки совершались обыкновенно по предварительному соглашению родителей невесты и жениха. Старик Мартос был вполне убежден в том, что обожаемая им дочь будет гораздо счастливее в замужестве, если он сам, столь опытный в жизни, выберет ей мужа. И точно, выбрал ей человека уже пожившего на свете, умного, богатого и занимающего видное место. Чтобы хотя немного ознакомить между собой жениха и невесту, он устроил им у себя в доме несколько свиданий, а затем состоялось и сватовство. Оно совершилось весьма оригинальным образом.

В один прекрасный день Мартос, надев парик, академический мундир и все регалии, ожидал Глинку. Когда тот приехал, в гостиную была призвана дочь, и отец торжественно сказал ей:

— Катенька! Вот почтеннейший Василий Алексеевич делает нам честь просить твоей руки. Я и маменька за это очень ему благодарны и даем ему наше согласие. Теперь дело только за тобой, скажи: согласна ты или нет?

Старик, вопросительно глядя на дочь, ждал ответа. Жених, в сильном волнении, готовился услышать решение своей участи.

Катенька, вся покраснев до ушей, упорно молчала.

— Молчание — знак согласия! Человек! Шампанского! — громко и радостно крикнул радостный отец.

Лакей тотчас же подал поднос с вином. Иван Петрович и Авдотья Афанасьевна первые, с бокалами в руках, поздравили жениха и невесту. Старик залпом опорожнил свой бокал, опрокинул его на свой парик и начал целовать дочь и будущего зятя. Затем в гостиную были приглашены домочадцы, начались поздравления, целование, обнимание, шампанское полилось рекой, и веселию не было конца. Более всех был счастлив сам Мартос тем, что устроил прочное счастье своей любимой дочери. Одна только Катенька продолжала молчать. Таким образом, она, не промолвив ни «да», ни «нет», едва дожив до пятнадцати лет, сделалась невестой пятидесятилетнего, некрасивого Василия Алексеевича Глинки.

На свадьбу их из наших никто не попал, потому что в это время нас поразило большое горе: умерла моя

добрая бабушка, Марья Степановна. Но этим наши беды не кончились. У всеми обожаемого дяди Александра Федоровича Дудина развилась чахотка, и он, прохворав около полугода, скончался к величайшему огорчению всех нас, и в особенности маменьки и теток, которые потеряли в нем не только любимого брата, но и человека, который всю жизнь заботился о них как отец.

IX

Отъезд в Царское Село.— Боязнь холеры.— Дед мой граф Андрей Андреевич Толстой.— Его молодость.— Женитьба на девице Барыковой.— Тетушка Прасковья Васильевна Толстая.— Прасковья Степановна Барыкова.— Наши гулянья по Царскосельскому саду.— Игры царских детей на лугу.— Великая княжна Мария Николаевна.— Великий князь Константин Николаевич и нянька его англичанка Мими.— Императрица Александра Феодоровна.— Александровский сиротский корпус.— Храбрый кадет.— Мое знакомство с А. С. Пушкиным.— Мои новые знакомства.— Варвара Павловна Барыкова; ее дружба с императрицей Александрой Феодоровной.— Знакомство с дядюшкой Ф. И. Толстым-Американцем.— Его похождения.— Холера в Петербурге.— Смерть Василия Алексеевича Глинки.— Доктор Спасский.— Крестины великого князя Николая Николаевича.— Княгиня Волконская.— Село Кузьмино.— Приключение с художником Черноглазовым.— Работы отца.— Возвращение в город.— Наблюдения Матрены Ефремовны.— Смерть Венециановой.— Катенька Глинка.— Семейство Крашенинниковых.— Новые знакомые.— А. П. Башуцкий.— Его анекдоты.— Наши воскресные вечеринки

Как мне памятен день отъезда нашего в Царское Село! На беду нашу папеньке рано утром подали «Северную Пчелу», в которой он прочел известие о быстром приближении холеры к Петербургу. Этого было довольно, чтоб подновить панический страх мнительного отца моего пред этой ужасной заразой. Он сейчас же послал в аптеку за предохранительными средствами от холеры, сам натер какие-то ниточки дегтем, навесил на них ладонки с кусочками чесноку и навязал все это маменьке, Лизаньке и мне на шею, потом заставил всех нас проглотить на дорогу по маленькой вонючей пилюльке. Но этого мало: покуда мы еще не сели в карету, он окропил ее всю внутри и снаружи хлоровой водой и тогда только решился усадить нас в нее... Но, видно, и этого показалось еще мало: он намочил хлоровой водой два поло-

тенца и вывесил их из двух открытых окон кареты на улицу. Вонь от хлора в карете сделалась невыносимая! Но маменька, чтобы не раздражать папеньку, не перечила ему ни в чем и нам приказала молчать. А его, кажется, именно эта страшная вонь и успокоила; очень довольный своим делом, он сам сел к нам в карету, вестовые захлопнули дверцы, повар Андрей влез на козлы, крикнул ямщику: «Трогай!» — и лихая тройка понеслась по улицам Петербурга... Правда, народ останавливался и смотрел с удивлением на мокрые полотенца, которые шлепали в бока кареты... но папеньку это нисколько не смущало; он был теперь уверен, что сохранно довезет нас до Царского Села, где холеры не будет...

В Царском он сразу точно переродился и стал мил и весел, как всегда.

Люди наши с поклажей были посланы накануне. Покуда они разбирались в маленькой квартире нашей, мы все пошли к дедушке Андрею Андреевичу и застали все его семейство в сборе. Все нам очень обрадовались и приняли нас истинно по-родственному, как они это всегда делали... Но прежде, чем я поведу мой рассказ о том, как мы прожили в 1831 году лето в Царском, мне хочется рассказать все, что я знаю о дедушке Андрее Андреевиче. Смолоду он был военным, служил в гусарах, и, судя по рассказам о нем, был настоящий гусар того времени: человек честный, благородный, души добрейшей, но в действиях своих несдержанный, размашистый, кутила и забияка порядочный... Про его молодые годы сохранились до сих пор анекдоты, которые сразу обрисовывают его тогдашний характер. Вот, например, один.

Служа в гусарском полку, молодой Толстой что-то накутил. Полковой командир сделал юноше-офицеру строжайший выговор, и хотя это было сделано келейно, в кабинете начальника, но, видно, графу не понравились резкие выражения генерала, и дед мой, долго не думая, дал своему полковому командиру пощечину... И сию же минуту сам снял с себя шпагу и понес ее в дежурную комнату.

— Граф, остановитесь! — закричал ему вслед генерал.— Есть еще время исправить дело... Опомнитесь, не горячитесь! Дверь была заперта, нас никто не слыхал. Сознайтесь мне только в вашей запальчивости, и я прощу вас...

Генералу, видно, огласки не хотелось.

— Да я-то вас не прощаю! — сказал граф, распахнул дверь в дежурную комнату, где было много народу и, подавая свою шпагу адъютанту, громко сказал: — Извольте арестовать меня! Я за дерзость дал пощечину его превосходительству...

Толстой был предан суду и разжалован в солдаты, но и полковой командир не усидел на месте.

Говорят, дедушка еще за какую-то провинность был вторично разжалован в солдаты, и оба раза опять дослужился до чина полковника. Служа еще в военной службе, граф Андрей Андреевич Толстой женился на девице Барыковой, которая своим добрым влиянием на него преобразовала его совершенно. Говорили, что прежде он спал на голом полу, на воловьей коже, любил выпить лишнее и бывал порой очень вспыльчив, но все эти гусарские замашки он бросил из любви к жене своей...

Я узнала дедушку веселым, бодрым стариком, когда он служил советником в царскосельском правлении. До этого времени он, вероятно, жил в Москве или где-нибудь в провинции, потому что я никогда не видала его. Но и в то время, когда он с семьей перебрался на жительство в Царское Село, мы все-таки не часто видались. Дедушка заезжал к нам, когда бывал наездом в Петербурге, и мы раза два в зиму ездили повидаться с ним и его семейством. Тогда ведь железной дороги еще не было, а поездка в экипажах до Царского стоила дорого, так что близко я сошлась с семейством дедушки Андрея Андреевича и стала у них своим человеком в доме только с 1831 года, когда мы переехали на все лето в Царское. Семейство дедушки тогда состояло из жены его, тетушки Прасковьи Васильевны, трех дочерей: старшей Елизаветы, средней Александры и меньшой Софии, и двух сыновей, которые тогда были, если не ошибаюсь, юнкерами артиллерийского училища.

Не удивляйтесь, пожалуйста, что я жену деда моего называю тетушкой, а дочерей ее всегда буду называть кузинами. Я и сама не знаю, отчего это случилось, только я всегда так называла их, должно быть, потому, что сестра Лизанька и я были почти однолетки с ними и на «тетушек» они совсем не были тогда похожи.

Тетушка Прасковья Васильевна, рожденная Барыкова, была женщина очень умная, образованная, прекрасная мать и хорошая родственница. Кроме этого, маменька моя рассказывала мне, что тетушка смолоду была очень хороша собой; но и я застала ее еще очень

сохранившеюся: у нее были чудные, черные, большие глаза, очень умное выразительное лицо и самая добрая ласковая улыбка... Тетушка жила вся в детях и старалась из всех сил дать им прочное, хорошее образование. Помню, как в этом святом деле сильно помогала тетушке двоюродная сестра ее, девица Прасковья Степановна Барыкова, которую запросто в семье все называли подружески Пашенькой и которую буквально все в доме обожали... Одно уж то, что эта молодая девушка сумела быть в одно и то же время и серьезной воспитательницей своих племянниц, и их сердечным другом, делало ей великую честь. Но и, кроме того, эта Пашенька Барыкова была такое прелестное, симпатичное созданье, которое невозможно было не любить... Что же мудреного, что с такою помощницею тетушка Прасковья Васильевна в воспитании дочерей своих достигла таких хороших результатов, которые со временем упрочили за ними любовь и уважение света и даже двора... Доживу, Бог даст, и до этого времени, и о нем расскажу все, что знаю. А теперь мне хочется пережить еще раз счастливое для меня лето 1831 года.

Маменька моя, после смерти дяденьки Александра Федоровича сильно страдала расстройством нервов и потому редко выходила из дому, так что сестра Лизанька и я ходили гулять или с папенькой, или с тетушкой Прасковьей Васильевной и дочерьми ее — Лизанькой и Сашенькой Толстыми... Помню, что тогда излюбленная прогулка наша была — ходить смотреть, как играли царские дети на зеленом лугу против Александровского дворца. Помню, что всякий вечер на круглой дорожке около луга густою толпою устанавливались царскосельские жители; всякому лестно было полюбоваться на эту живую семейную картину русского царя. И мы всякий вечер стояли в этой толпе и жадными глазами следили за каждым движением государя Николая Павловича, императрицы Александры Феодоровны и их красавцев-детей. Наследнику Александру Николаевичу было тогда лет двенадцать; он был ловкий статный мальчик, всегда окруженный избранными ему товарищами... За наследником шли три сестры его: Мария, Ольга и Александра Николаевны, и так лесенкой доходили до Константина Николаевича, тогда еще маленького, хорошенького карапузика, с которым, не стесняясь зрителями, вечно воевала нянька его, англичанка Мими[1]. Помню, какая раз вышла баталия у них из-за потерянного куша-

ка. Англичанка, чтобы наказать мальчика за это преступление, насильно повязала его по рубашечке своим носовым платком, а маленький великий князь ревел во все горло и от стыда прятался головой к ней в юбки... На тот неистовый крик подошел к ним государь, и когда узнал, в чем дело, то дал сыну маленький подзатыльник и сказал:

— Прекрасно, Мими! Прекрасно! Так ему и надо, пусть не теряет больше своих кушаков.

Эта англичанка Мими, нянюшка детей Николая Павловича, была большая его любимица, сама боготворила государя и пользовалась его уважением и дружбою до последнего ее вздоха.

Великая княжна Мария Николаевна была тогда, кажется, общею любимицей всего Царского Села. Настоящая картинка собой, она была так мила, ласкова, жива и шаловлива, что полонила кругом себя все сердца... Про ее неудержимую веселость и ребячью шаловливость говорили тогда во всех домах Царского Села. Рассказывали, например, о том, как великая княжна любила, чтоб часовые отдавали ей честь, и как шустрая девочка умела всегда после обеда ускользнуть на минуту с глаз старших, проворно выбежать на крыльцо с апельсином в руке, сделать книксен часовому и сказать ему:

— Миленький солдат, сделайте мне честь, я вам подарю апельсин...

И часовой, разумеется, исполнял желание великой княжны, и она предовольная убегала опять во дворец. Говорили, что государь Николай Павлович поймал как-то нечаянно на месте преступления шалунью, и с этих пор было строго запрещено часовым отдавать честь великой княжне, когда она одна, а приказано отдавать ей честь только тогда, когда она выходит или выезжает из дворца со своей воспитательницей или с кем-нибудь из членов царской фамилии.

Очень тоже интересно было видеть, как государыня Александра Феодоровна приезжала на зеленый луг верхом на лошади, предводительствуя малолетним Александровским сиротским корпусом. В этот корпус принимались сироты военных людей очень малолетними, оставались в нем до 10 лет включительно, а потом поступали в Первый кадетский корпус. Помню, что в 1831 году в Александровском корпусе были кадетами даже грудные дети, которых мамки в форменных красных кокошниках носили на руках, а сами ребяточки отличались

только красными погончиками на белых рубашонках; места офицеров при корпусе занимали женщины, классные дамы.

И вот, как я сказала, выедет на луг государыня во главе этой мелюзги, а за нею потянутся сперва мамки с грудными ребятами, а потом кадетики мал мала меньше, в своих военных курточках, с белыми оборочками кругом ворота, и с боков их шеренги важно выступают барыни в синих мундирных платьях. Все это в полном военном порядке, точно и в самом деле войско. Вот Александра Феодоровна подъедет к государю, приложит руку к правому виску и серьезно рапортует мужу о благосостоянии вверенного ей корпуса. Государь выслушает серьезно, а потом всякий раз начнет тормошить и дразнить игрушечное войско жены своей. Раз как-то Николай Павлович, чтобы подзадорить карапузиков-кадет, сказал им:

— Ну какие вы воины, когда у вас и командир баба, и офицеры бабы! Вы просто девчонки, и верно все до одного трусишки страшные...

— Не плявда! — пропищал один ребячий голосок из строя.

— То-то, не плявда! — передразнил его государь.— А что с тобою будет, коли я тебя, храбреца, посажу на пушку и прикажу выстрелить?

— Не боюсь, стреляй! — ответил задорный мальчуган.

— Увидим твою рысь... Марш!.. Полезай на пушку! — смеясь, скомандовал Николай Павлович.

Кадетик выбежал из строя, вскарабкался на одну из небольших пушек, которые стояли у подножия парадного дворцового крыльца, и, усаживаясь на ней, как на деревянной лошадке, опять крикнул: «Не боюсь!»

— Ну, смотри, держись крепче! — сказал государь и точно приказал выстрелить... Раздался выстрел, лафет пушки откатился немного назад. Мальчик не свалился и не испугался, а усидел.

— Молодец, молодец! — крикнул царь, схватил маленького храбреца на руки и крепко расцеловал...

В этом же году я случайно познакомилась с Александром Сергеевичем Пушкиным, который после женитьбы своей на Гончаровой приехал с нею провести лето в Царское. Очень оригинально вышло у нас это первое знакомство. В Царскосельском саду, около самого спуска без ступеней, который до сих пор называется «pente

douce» * и ведет от верхней колоннады дворца в сад, было в том году излюбленное царскосельскою публикою местечко, что-то вроде каменной террасы, обставленной чугунными стульями, куда по вечерам тамошний beaeu-monde собирался посидеть и послушать музыку... Только вот в один прекрасный вечер на этой террасе собралось так много народу, что даже недостало стульев двум каким-то пожилым дамам. Я, как девочка вежливая, приученная всегда услуживать старшим, сейчас же заметила, что дамам не на что сесть, сбегала в сад, захватила там еще такие два стула, принесла и подала их двум барыням. Папенька с Пушкиным в это время стояли недалеко от террасы и о чем-то разговаривали. Вдруг Александр Сергеевич схватил отца моего за руку и громко вскрикнул:

— Граф, видели вы, что девочка сделала?

— Какая девочка? Я не видал! — ответил папенька.

— Да вот эта, в панталончиках и в пастушеской шляпе: это — какой-то силач!

— Эта? Это моя дочь Маша! Что она сделала?

— Да вот такие два чугунных стула подхватила, как два перышка, и отнесла их на террасу...

Папенька позвал меня и представил Пушкину; я ему сделала книксен и с удивлением стала смотреть на страшной длины ногти на его мизинцах.

— Очень приятно познакомиться, барышня! — крепко пожимая мне руку, смеясь, сказал Александр Сергеевич.— А который вам год?

— Тринадцать,— ответила я.

— Удивительно!

И они оба с папенькой начали взвешивать на руке тяжелые чугунные стулья, потом заставили меня еще раз поднять их; я опять подняла, как перышко...

— Удивительно,— повторил Пушкин,— такая сила мужчине впору! Поздравляю вас, граф, это у вас растет Илья Муромец.

— Да, она у меня девочка ничего себе,— самодовольно сказал папенька, ласково потрепав меня по щеке.

В доме деда моего, Андрея Андреевича, я бывала почти каждый день, и мне было очень весело с моими кузинами. Помню, что тетушка Прасковья Васильевна, кроме детей своих и всех домочадцев, была очень привязана к жене родного брата своего, Варваре Павлов-

* пандус, отлогий спуск (*фр.*).

не Барыковой, рожденной Ушаковой [2]. Эта Варвара Павловна в молодые свои годы, еще в девичестве, поступила на придворную службу и была назначена состоять при особе невесты великого князя Николая Павловича, Луизе-Шарлотте-Вильгельмине, принцессе Прусской, будущей государыне Александре Феодоровне. Говорят, обе молодые девушки скоро полюбили друг друга, подружились, и эта дружба, несмотря на то, что Александра Феодоровна впоследствии сделалась императрицей всероссийской, а девица Ушакова вышла замуж за простого смертного Барыкова, осталась между ними навсегда. Благодетельное влияние этой дружбы скажется впоследствии на семействе тетушки Прасковьи Васильевны Толстой,— в свое время поведаю обо всем. А теперь мне хочется рассказать о новом знакомстве моем еще с одним моим дядюшкой, которого я увидала в первый раз тоже в Царском, в доме дедушки Андрея Андреевича. Этот интересный дядюшка был не кто иной, как известный, кажется, всему свету, двоюродный брат отца моего, граф Федор Иванович Толстой, прозванный Американцем [3], который, по словам Грибоедова:

В Камчатку сослан был,
Вернулся алеутом...
И крепко на руку не чист...

Я столько в детстве моем наслышалась чисто баснословных рассказов о дядюшке моем Американце Толстом, что и неудивительно, что, сидя с ним за обедом у дедушки, я смотрела на него, как на восьмое чудо света. Но тогда в Федоре Ивановиче не было уже ничего удивительного, он был человек как человек: пожилой, курчавый, с проседью, лицо красное, с большими умными черными глазами, и разговаривал, и шутил за столом, как все люди, так что я начала уже разочаровываться. Но не успели мы совсем еще отобедать, как дедушка, на мое счастье, хлопнул племянника по плечу и весело сказал ему:

— Ну, Американец, потешь гостей моих, покажи дамам твою грудь и руки, а после кавалерам и всего себя покажешь...

Федор Иванович, кажется, очень довольный просьбой дяди, улыбаясь, сейчас же начал расстегивать свой черный сюртук. Когда он распахнул его, у него на груди показался большой образ, в окладе, св. Спиридония, патрона всех графов Толстых, который бого-

мольный Американец постоянно носил на груди. Положив его бережно перед собой на стол, он отстегнул запонки рубашки, открыл свою грудь и выпятил ее вперед. Все за столом привстали с мест и начали внимательно разглядывать ее: вся она сплошь была татуирована. В самой середине сидела в кольце какая-то большая пестрая птица, что-то вроде попугая, кругом какие-то красно-синие закорючки... Когда все зрители достаточно нагляделись на рисунки на груди, Федор Иванович Толстой спустил с себя сюртук и засучил рукава рубашки: обе руки его тоже были сплошь татуированы, на них вокруг обвивались змеи и какие-то дикие узоры... Дамы охали и ахали без конца и с участием спрашивали:

— Вам было очень больно, граф, когда эти дикие вас татуировали? Чем это они проковыряли узоры? Ах, какая страсть!

Когда Федор Иванович покончил с дамами, кавалеры увели его наверх, в светелку к дедушке, и там снова раздели и разглядели уже всего, с ног до головы...

Надо знать, что в протяжении всей жизни Американца Толстого, где бы он ни обедал, его под конец стола всюду просили показать его татуированное тело, и всюду его разглядывали сперва дамы, а потом мужчины, и это ему никогда не надоедало.

Американец Толстой воспитывался вместе с отцом моим в Морском корпусе. Когда папенька, по невозможности выносить морскую качку, вынужден был отказаться от назначения в кругосветное плавание вместе с Крузенштерном, то на его место в это плавание был назначен двоюродный брат его, гр. Федор Иванович Толстой. Но, выехав в море, как человек неуживчивой и бешеной натуры, он скоро начал скучать от бездействия в тесной обстановке корабля. Чтобы развлечь свою скуку, он придумывал всевозможные непозволительные шалости, которые нарушали дисциплину корабля. Сначала Крузенштерн смотрел сквозь пальцы на проказы молодого графа, но скоро шалости его приняли такие размеры, что адмиралу пришлось в наказание сажать Толстого под арест... Но за каждое наказание, выйдя на свободу, он платил начальству новыми выходками, точно поклялся свести с ума весь экипаж. Как любитель сильных ощущений он занялся, например, тем, что перессорил поголовно всех офицеров и всех матросов... Да как перессорил? Хоть сейчас на ножи, так что вместо корабля, назначенного для мирного плавания по волнам,

плавала клетка с разъяренными тиграми... Всякую минуту могло случиться несчастие, а Толстой весело потирал руки: обыденная монотонность морской службы была нарушена. И ни одной-то души не оставлял в покое! Старичок-священник, который находился на корабле, любил выпить лишнее и был очень слаб. У Федора Ивановича в голове сейчас созрел план новой потехи: напоил батюшку до «положения риз», и когда несчастный священнослужитель как мертвый навзничь лежал на палубе, граф припечатал ему сургучом бороду к полу украденною из каюты Крузенштерна казенною печатью. Припечатал и сидел над ним, пока он проснется... И только что старичок открыл глаза и хотел приподняться, Толстой, указывая пальцем на печать, крикнул ему:

— Лежи, не смей! Видишь — казенная печать...

После принуждены были ножницами подстричь бороду священнику почти под корешок, чтобы выпустить его на свободу [4].

Папенька рассказывал мне уморительный анекдот про своего двоюродного братца, как он на Сандвичевых островах потешал русских матросов, заставляя сандвичского короля исполнять должность своей собаки: поплюет на щепку, крикнет: «Пиль апорт» и закинет ее далеко в море. И король плывет за ней, схватит ее зубами и принесет, и подаст ее Толстому [5]. Но все эти глупости, верно, надоели Федору Ивановичу, его стало задевать за живое, зачем в то время, когда он так скучает на корабле и не знает, что с собою делать, Крузенштерн может по целым дням так спокойно и тихо писать свои путевые записки. Толстого брала зависть и злость, и захотелось ему во что бы то ни стало сделать спокойному адмиралу какую-нибудь такую пакость, чтобы он не забыл ее во всю свою жизнь. И этого достиг его изобретательный на всякие мерзкие шалости ум.

У Крузенштерна был на корабле любимый орангутанг, умный, ловкий и переимчивый, как человек. Так вот его-то Толстой и избрал себе в товарищи для того, чтобы насолить хорошенько ученому путешественнику. Раз, когда Крузенштерн отплыл на катере зачем-то на берег, Толстой затащил орангутанга в каюту адмирала, открыл тетради с его записками, наложил на них лист чистой бумаги и на глазах умного зверя начал марать, пачкать и поливать чернилами по белому листу, до тех пор, пока на нем не осталось чистого места.

Обезьяна внимательно смотрела на эту новую для нее работу. Тогда Федор Иванович тихонько снял с записок адмирала выпачканный лист бумаги, спрятал ее в карман и вышел из каюты как ни в чем не бывало. Орангутанг один, на свободе, занялся секретарским делом так усердно, что в одно утро уничтожил все, что было до сих пор сделано Крузенштерном. За это преступление адмирал высадил злодея Толстого на какой-то малоизвестный остров и сейчас же отплыл от его берегов [6].

Судя по рассказам об Американце Толстом, он и на острове, живя между дикарями, продолжал бедокурить напропалую до тех пор, пока какой-то благодетельный корабль не подобрал его из жалости и, татуированного от головы до ног, не привез обратно в Россию.

С этих пор Федор Иванович поселился в Москве, и, по-моему, эта вторая его русская жизнь чуть ли не интереснее американской. По словам самого Федора Ивановича, первым его делом, когда он явился в Москву, было заказать большой образ св. Спиридония, скорого помощника, и надеть его себе на грудь. Про св. Спиридония Толстой рассказывал целую легенду, как во время пребывания его в Америке, в одну темную ночь, когда он был на шаг от пропасти, ему явилось лучезарное видение святого, осадило его назад, и он был спасен. Тогда же Федор Иванович заглянул в устроенный им самим из чего-то календарь, который носил всегда при себе, и увидел число 12-го декабря; значит, святой, который предстал ему в видении, был не кто иной, как св. Спиридоний, патрон всех графов Толстых. С этой минуты Федор Иванович сделался мало того что богомолен, а просто ханжой. И все-таки эти новые религиозные чувства не помешали ему завести в Москве страшную картежную игру и сделаться ярым дуэлистом. Убитых им он сам насчитывал 11 человек. И он, как Иоанн Грозный, аккуратно записывал имена их в свой синодик [7]. Кроме того, дядюшка мой в Москве скоро влюбился в ножки молоденькой цыганочки-плясуньи Пашеньки и начал жить с нею. И, верно, никогда бы не подумал на ней жениться, если бы эта любящая его женщина своим благородным поступком не привела его в совесть. Раз он проиграл в клубе большую сумму денег, не мог заплатить их и должен был быть выставлен на черную доску [8]. Графская гордость его не могла пережить этого позора, и

он собрался всадить себе пулю в лоб. Цыганочка, видя его в возбужденном состоянии, начала выспрашивать:

— Что с тобою, граф? Скажи мне! Я, быть может, могу помочь тебе.

— Что ты ко мне лезешь? Чем ты можешь помочь мне? Ну, проигрался! Выставят на черную доску, а я этого не переживу!.. Ну, что ты тут можешь сделать? Убирайся!

Но Пашенька не отставала от него, узнала, сколько ему нужно денег, и на другое утро привезла и отдала их ему...

— Откуда ты достала эти деньги? — спросил удивленный граф.

— Откуда? От тебя! Разве ты мало мне дарил?! Я все прятала... а теперь возьми их, они твои...

После этого Федор Иванович расчувствовался и женился на Пашеньке [9]. От этого брака у них было 12 человек детей, которые все, кроме двух дочерей, умерли в младенчестве. Довольно оригинально Американец Толстой расплачивался со своими старыми долгами: по мере того, как у него умирали дети, он вычеркивал из своего синодика по одному имени убитого им на дуэли человека и ставил сбоку слово «квит». Когда же у него умерла прелестная умная 12-тилетняя дочка, по счету одиннадцатая [10], он кинулся к своему синодику, вычеркнул из него последнее имя и облегченно вскрикнул: «Ну, слава тебе, Господи! Хоть мой курчавый цыганеночек будет жить!» Когда я видела у дедушки Андрея Андреевича в Царском Селе дядю моего Федора Ивановича, у него в Москве подрастала обожаемая им дочка Пашенька [11].

От теток моих из Петербурга часто приходили письма. Они писали, что холера страшно косит народ, но что они ее не боятся, едят ягоды, огурцы и что попало, и слава тебе, Господи, здоровы... Написали еще, что первою жертвою эпидемии сделался Василий Алексеевич Глинка: приехал из должности, покушал с аппетитом ботвиньи со льдом, и к ночи уж его не стало... Шестнадцатилетнюю вдовушку Катеньку сейчас же отвезли назад к отцу и матери, а за Василием Алексеевичем пришли с ног до головы засмоленные люди и в ту же ночь похоронили его на Смоленском холерном кладбище, а теперь ищут его могилы и до сих пор найти не могут... Писали еще, что папенькин друг, доктор

Иван Семенович * Спасский, делает чудеса: поставил себе фонтанели [12] на обе руки и ноги и утверждает, что теперь он, без всякой опасности заразиться, может трогать голыми руками холерных больных... и лечит очень успешно.

К нам, в Царское, слава Богу, холера и не заглядывала... Но папенька все-таки держал нас на строгой диете и не дозволял нам проглотить ни одной земляннички... И надо было покоряться нашей горькой участи.

В это же лето министр двора, князь Петр Михайлович Волконский, доставил мне большое удовольствие, прислав папеньке для нашего семейства билеты на хоры в церковь Большого дворца для того, чтобы мы могли видеть крестины великого князя Николая Николаевича. Маменька моя и сестра Лизанька были нездоровы, и потому папенька поехал со мною один. Всю эту великолепную церемонию я видела с хор прекрасно. Церковь была полна придворными дамами и кавалерами... Шествие крестин началось с того, что 4 камер-лакея в красных кафтанах внесли в церковь за зеленые ширмы маленькую кружевную корзиночку с новорожденным великим князем; за ним сам государь и великий князь Михаил Павлович почтительнейшим образом ввели под руки мать министра двора [13], князя Петра Михайловича Волконского, которая должна была во время крестин носить кругом купели младенца на золотой подушке. Ее тоже усадили за ширмы в кресло, и Николай Павлович удалился из церкви. Почти 90-летняя старушка княгиня Волконская была в полном парадном костюме, в лифе décolletée, manches courtes **, с бриллиантами на голове. Надо было видеть ее грудь, ее руки, ее трясущуюся голову, на которой бриллиантовые колосья ходили ходуном... Все это было так страшно, что даже жалко было смотреть на старушку, а вместе с тем и трогательно было видеть ее желание не отставать от двора, продолжать состоять на службе и быть полезной обожаемым царям своим до последнего вздоха... Кажется, если б тогда, во внимание к ее летам, пожалели ее и не пригласили на эту церемонию, она бы кровно обиделась и захворала бы с горя!.. А тут она воображала, что делает все, что предписывает ей церемониал, и носила младенца на золотой подушке, под тяжелым

* Ошибка М. Ф. Каменской: Иван Тимофеевич. (*Примеч. сост.*)
** декольте, с короткими рукавами (*фр.*).

парчовым одеялом... Правда, что за четыре угла подушки и под оба локтя старушку поддерживали какие-то генералы, но она не замечала этой помощи и, видимо, воображала, что сама носит на руках царского сына, гордо выступала и была счастлива вполне: она участвовала в царском торжестве, она исполняла свой долг...

Прелестны были в этот день две красоточки, великие княжны Мария и Ольга Николаевны, почти еще дети, со свернутыми в толстый жгут à la chinoise *[14] белокурыми косами, в белых креповых платьицах и Екатерининских лентах через плечо [15], и с чисто ангельскими радостными лицами, тоже довольные-предовольные, что они участвуют в церемонии... И я в тот день была на верху блаженства: в первый раз в жизни я видела в сборе двор и такое великолепное торжество. Разумеется, меня, недавнюю жительницу розового дома, все, что я видела, так поразило и удивило, что я не забыла этого до сих пор.

Остальное лето мы много гуляли с папенькой и маменькой, осмотрели все сады и парки Царского Села и даже добрались до большого села Кузьмина и там совсем неожиданно нашли наших хороших знакомых, художника Черноглазова с его молодою милою женою. Они, как люди бездетные, поселились там на лето в простой мужицкой избе для того, чтобы истратить меньше на дачу и быть подальше от царскосельского модного света. Черноглазову было это на руку, потому что он в это лето решился в тиши сделать великое дело. Он служил живописцем по фарфору на императорском фарфоровом заводе и как хороший химик, кроме того, задался идеей найти и воспроизвести вновь утраченные в то время краски: rose Dubarry, rouge Dubarry, bleu de Sevre и vert de Sevre **. Дело у него уже шло вперед, но он все еще не был доволен и до того увлекался, что не выпускал из рук своих пробных кусочков красок: куда ни пойдет, где ни присядет, все натрет себе на палец той или другой краски, повернет руку к солнцу и долго на нее смотрит. В один прекрасный день бедняк Черноглазов за эту штуку чуть не поплатился жизнью. Проснулся он чуть свет, вышел на деревенскую улицу и тут же, около своего дома, присел у колодца, потом вытащил себе

* по-китайски (*фр.*).

** розовый Дюбарри, красный Дюбарри, голубой севрский и зеленый севрский (*фр.*).

ведро воды и давай в него помакивать свои краски, мазать себе на руку и разглядывать на солнышке... Разумеется, в эту минуту холера совсем не приходила ему в голову. Только вдруг позади него раздались грозные голоса мужиков:

— Ты что это тут, барин, колдуешь? Зачем наш колодезь отравляешь? Холеру на наше Кузьмино хочешь навести?..

— Что вы, ребята, какая это отрава? Это краски! — наивно отвечал бедный художник мужикам...

— А, не отрава, так съешь ее сам! А так мы тебя не выпустим!..

И мужики заставили несчастного химика съесть все его краски и лили силою из ведра ему в горло согретую на солнце воду до того, что он начал уже захлебываться. С ним, наконец, сделалась страшная рвота; это только и спасло его. При свидании с отцом моим после этого ужасного приключения Черноглазов ему рассказывал, что и не чаял остаться жив, потому что знал, сколько яда заставили его проглотить, «и кабы не тепленькая водица, быть бы мне на том свете!».

Папенька в это лето успел тоже много наработать: прежде всего он разрисовал акварелью для государыни Александры Феодоровны прелестный рабочий столик, на крышке которого нарисовал стакан воды с букетом лиловых сиреней и на одной их веточке посадил совсем живую канареечку [16]. Этот столик так понравился императрице, что она возила его с собою, когда меняла местопребывание.

В июле месяце папенька еще нарисовал удивительную ветку липы в цвету, которою все, кто ее видел, восхищались [17]. Этот рисунок тоже находится в настоящее время в Москве в знаменитом альбоме сестры моей Екатерины Федоровны Юнге.

В этом году мы переехали с дачи гораздо позднее, чем всегда; дожили в Царском до конца сентября месяца. Когда мы вернулись в Петербург, карантин в воротах Академии был уже снят, и нас пропустили в нашу квартиру, не обкуривая.

Теток моих мы нашли здоровыми и веселыми, так что по виду их совсем не было заметно, какое ужасное лето они прожили в Петербурге. По словам их, они совсем и не думали о холере, зато няня, Матрена Ефремовна, сидя у себя на вышке, не переставала наблюдать за числом холерных жертв. Говорили, что она с ран-

него утра до поздней ночи считала, сколько провезли по площади покойников, и всякий раз отдавала теткам отчет в своих наблюдениях и говорила им так:

— Вот на Смоленское вчера провезли столько-то возов, по стольку-то гробов, это выходит всего столько-то, а теперь надо прикинуть, столько же гробов на Волково кладбище да столько же на Охтенское, да на Новое холерное под Невским монастырем столько же, и, по-моему, выходит, что всех-то вчера в Петербурге померло вот сколько.

И тут скажет цифру, до которой она досчиталась. И что же, тетки мои говорили, что наш седой математик Матрена Ефремовна против цифры умерших, обозначенной в газетах, очень немногим ошибалась.

Из числа наших академических знакомых, кроме Василия Алексеевича Глинки, холерою умерла еще прекраснейшая женщина, жена академика Марфа Афанасьевна Венцианова [18], которую мы все очень любили. И умерла чисто от страха; она так боялась холеры, что закупорила все свои окна и сидела впотьмах. Раз ночью ей понадобилось взять что-то с окна, она приподняла занавеску и, как нарочно, увидала, что со двора их выносили гроб; этого было довольно, чтобы ее в то же мгновение схватила скоропостижная холера, и она в страшных судорогах к утру окончила жизнь. Две дочки ее, которые не захотели жить без своей мамы, нарочно для того, чтобы заразиться от нее и умереть, сняли с покойницы чулки и надели себе каждая по одному чулку на ногу, но, к великому отчаянью их, обе остались живы, что, кажется, ясно доказывало, что холера от носильных вещей не приставала.

Шестнадцатилетнюю вдовушку Катеньку Глинку мы застали уже опять водворившуюся в ее прежней девичьей комнате на прежнем девичьем ее положении, точно она и замуж никогда не выходила. Овдовев, она значительно похудела, сонливость, лень с нее спали, и она стала даже гораздо живее и разговорчивее, чем была в девушках. И тетушка Наталья Афанасьевна опять поселилась около Катеньки в большой комнате, вместе с родственницами и приживалками Ивана Петровича, и все вместе прислуживали ей; и отец, и мать на нее не могли надышаться. Словом, все пошло попрежнему. Говорили, что после покойника Глинки нашли духовное завещание, по которому он завещал все свои деньги и все свое движимое имущество в пользу Ка-

теньки. Но, странное дело, что ни одной из богатых вещей, которые я видела в квартире Василия Алексеевича, не стояло в квартире Мартоса; все это было куда-то припрятано; и экипаж, и лошади были, видно, проданы, потому что их никто не видал в Академии. Иван Петрович поторопился только поставить на холерном кладбище над покойным зятем своим богатый памятник. И долго после того туда никто не заглядывал, пока наконец тетушка Наталья Афанасьевна не выпросила у родителей позволения сходить с молодой вдовой на Смоленское, поклониться праху покойного Василия Алексеевича... И в этой могиле заснула, кажется, навсегда память об архитекторе Глинке; по крайней мере, в доме Мартоса ни одна вещица его не напоминала о нем. Катенька поступила опять в полное владение отца и матери и сделалась опять такою же покорною дочерью, какою была до замужества. Только в доме у них пошло теперь все не так по-детски, как было до сих пор; все-таки главное лицо в доме, молодая вдовушка Катенька, сделалась разумной женщиной, а не «беленькой телятинкой», как величали ее прежде. И мужского элемента в доме прибавилось; на побывку в Петербург для свидания со своими детьми приехала из деревни старая знакомая Мартоса, помещица Крашенинникова и за собою ввела к нему в дом трех сыновей своих: старшего Федора Петровича, среднего Александра Петровича, которые оба служили в каких-то министерствах, и меньшого, вновь испеченного морского офицерика Сергея Петровича. Скромная, благовоспитанная молодежь полюбилась супругам Мартосам и скоро сделалась совсем своими людьми у них в доме. Авдотья Афанасьевна забрала их в руки как родных сыновей, и старшему, Федору Петровичу, скоро препоручила очень заботившее ее важное дело, а именно: разобраться в бумагах покойного Глинки и привести в ясность и порядок денежные дела своей дочери Катеньки. Услужливый и дельный молодой человек, не предвидя, сколько горя впоследствии принесет ему эта услуга, охотно принялся за возложенное на него поручение.

В таком положении мы нашли, вернувшись из Царского, семейство Мартоса.

У нас тоже скоро настроились наши воскресенья по-старому, и тоже прибавилось много новых знакомых; от Василия Ивановича Григоровича перебрались к нам

его друзья, черниговские хохлы: неоцененное сокровище для вечерних воскресных малороссийских рассказов. Да еще, право, не знаю откуда, прибыл к нам камергер, литератор Александр Павлович Башуцкий [19], который, по-моему, писал довольно тяжеловато, но зато говорил как по маслу, лился неудержимо как река, не жалея для красного словца ни матери, ни отца. В особенности его отец, петербургский комендант и любимец государыни, был «козлом отпущения» во всех придворных рассказах на языке милого сынка...[20]

Расскажу некоторые анекдотцы сынка про батюшку, а то еще, чего доброго, после забуду про них, а они очень забавны.

Александр Павлович рассказывал, что раз императрица Екатерина II в Зимнем дворце сама разливала чай и угощала им гостей своих. Вот она налила первую чашку и, милостиво улыбаясь, протянула ее посланнику, а он, принимая ее из рук государыни, напыщенно сказал ей:

— Votre Majesté, cette tasse vous ressemble!

— Comment, mon cher? — с удивлением спросила императрица.

— Elle est comme vous pleine de bonté *,— сострил француз.

Государыня очень осталась довольна любезным каламбуром посланника, а Башуцкого эта острота, видно, задела за живое. «Погоди, мусье, погоди! Дай срок! — проворчал он себе под нос.— И мы сумеем сострить не хуже тебя».

На другое же утро,— точно на ловца и зверь бежит,— Екатерина усадила Башуцкого пить с собой утренний кофе, налила и подала ему чашку... Старичок засуетился и, принимая чашку кофе из рук царицы, поторопился ей выпалить:

— Votre Majesté, cette tasse vous ressemble! Elle est, comme vous, pleine de bon café **,— договорил разом всю остроту старик, не дожидаясь даже, чтобы государыня его спросила, почему это он находит, что она похожа на кофе.

---

* Ваше величество, эта чашка похожа на вас! — Почему, мой милый?..— Она, как и вы, полна доброты (*фр.* каламбур: bonté — доброта, bon thè — хороший чай).

** Ваше величество, эта чашка похожа на вас! Она, как и вы, наполнена хорошим кофе (*фр.*).

Екатерина Алексеевна пришла в неописанный восторг от подражательной остроты своего коменданта и долго-долго хохотала до слез.

А то, по словам Александра Павловича, батюшка его еще неудачнее собезьянничал у французского любезника. Раз посланник, увидав, что императрица идет по зале, заторопился к ней навстречу, нечаянно поскользнулся на скользком паркете и упал на оба колена в ноги царицы... Она испугалась, закричала: «Monsier, vous vous êtes fait mal?» — и кинулась поднимать его.

— O non, Votre Majesté! Je me trouve au contraire trés bien! Je voudrai rester toute ma vie dans cette position devant vous! *

И опять находчивое слово посланника понравилось царице. А Башуцкий в тот же вечер сделал имитацию ловкого падения посланника, но она плохо удалась: старичок разбежался по паркету слишком сильно, поехал вперед на слабых ногах и вместо того, чтобы пасть перед царицей на оба колена, он перекувырнулся на спину и комично задрал кверху руки и ноги...

— Милый, ты ушибся? — вскрикнула государыня и кинулась поднимать его. Но старичок, не подавая ей рук, продолжал лежать на спине и быстро говорил:

— Оставьте меня, не поднимайте. Je veux rester toute ma vie dans cette position devant vous! **

— Ну, мой милый, это ты напрасно. Уверяю тебя, что ты совсем не красив собой dans cette position! — и императрица опять расхохоталась до слез.

Очень интересный случай рассказал еще Александр Павлович про свое детство, в то время, как он был еще маленьким пажиком, в царствование императора Александра I. Вдовствующая государыня Мария Феодоровна очень любила, вместо прогулки, прохаживаться взад и вперед по Эрмитажу. Вот раз, когда она шла тихонько по одной из картинных галерей, на нее неожиданно из-за угла боковой комнаты налетели несколько маленьких пажиков, в числе которых был тогда и Александр Башуцкий, и свалили ее с ног... свалили и обмерли от ужаса...

---

* Сударь, вы ушиблись?..— О нет, ваше величество! Напротив, я чувствую себя хорошо! Я хотел бы всю жизнь оставаться перед вами в этом положении! (*фр.*)

** Я хочу на всю жизнь остаться перед вами в этом положении! (*фр.*)

— Подымите меня! — шепотом сказала императрица, лежа на спине.

Мальчуганы попробовали поднять старушку, но силенки у них не хватило, и они опять опустили ее на паркет... Вся беда была в том, что вдовствующая государыня сама не могла помочь ни одним движением этим малосильным ребятам: под старость Мария Феодоровна носила на всем теле лосиную снуровку, оттого ноги ее гнулись в коленях с большим трудом, и она никак не могла подняться сама и встать на ноги.

— Не то вы делаете! — опять тихо заговорила императрица.— Подвиньте меня к стене, уприте ногами в уголок, тогда я не буду скользить ногами, и вам легче будет меня приподнять.

Смышленые мальчики послушались совета государыни, дружно взялись за ее плечи, докатили ее до угла, общими силами поставили старушку на ноги и все вместе упали на колени и стали просить прощения.

— Ничего, ничего! Я не сержусь на вас, шалунишки! Только смотрите, не говорите никому ни слова о том, что вы меня уронили. Боже вас сохрани, если об этом узнает государь...

И государыня, милостиво погладив по головкам маленьких повес, опять тихо прошла в свои внутренние покои. И тайна эта между вдовствующей императрицей и маленькими пажиками, может быть, и до сих пор не выглянула бы на свет Божий, если бы бывшему пажику, а теперешнему камергеру Александру Павловичу Башуцкому не вздумалось потешить папенькиных гостей этим интересным рассказом... В большой моде были эти рассказы у нас за ужинами по воскресеньям. И Василий Иванович Григорович, и друг его литератор Гребенка немало морили всех со смеху своими малороссийскими анекдотами... Но я не берусь передавать их, потому что совсем не владею малороссийским языком, а без этого, разумеется, вся пикантность рассказа будет потеряна. Года два позднее в этой вечерней болтовне у нас изощрялся сам Николай Васильевич Гоголь. Но в нем было дорого то, что он, рассказывая такие вещи, от которых слушатели его лопались от смеха, сам никогда не смеялся: сидит серьезно, как на похоронах, и даже ни разу не улыбнется... От этого все, что он ни скажет, казалось вдвое смешнее, и все гости наши так его заслушаются, что и не заметят, как ночь пролетит и рассветать начнет... а все никому домой идти не

хочется. Попросят, бывало, маменьку приказать самоварчик поставить и чайку попьют, и еще похохочут... и только тогда нехотя поднимутся с мест и веселою толпою пойдут по площади к перевозу, потому что Исаакиевский мост в эти часы еще не был наведен [21].

Если бы в теперешнее время гости так шумно расходились по домам, то оно бы и не диво. Уж наверное за ужином было бы выпито без хитрости, так и не мудрено, что на душе у них было бы весело. Но у папеньки за ужином становилось всего две бутылки красного вина, так что разгуляться его гостям было не с чего. Нет, гости наши уходили от нас совсем трезвые: маменькиным шипучим квасом, как он ни вкусен был, допьяна не напьешься. И гости наши уносили от нас не винные пары, а только любовь к хозяину дома и доброе расположение ко всему семейству нашему.

Как, подумаешь, времена-то переходчивы! Будь это теперь, и от наших воскресений гости потребовали бы поменьше ума и побольше выпивки!..

X

Болезненные припадки со мной.— Появление в академической церкви господина с Владимиром на шее.— Мода на магнетизм.— Ясновидящая и Булгарин.— Магнетизерка Турчанинова; ее странности.— Мой первый визит к ней и лечение у нее.— Ее проделки со стариком Всеволожским; мошенничества ее открыты; ссылка в Сибирь.— Рождество в Академии; балы у профессоров.— Новый 1832 год у нас.— Рассказ вдовы попадьи.— Масленица; бунт учеников Академии.— Академический театр.— Великий пост.— Опять Пименов.— Неудачное сватовство барона Клодта.— Еще невеста в Академии.— Григорович — усмиритель Егорова.— Лето в Парголове.— Крестины и гречневая каша.— Свадьба барона Клодта.— Вечера Мартоса.— Мое знакомство с Кукольником

Сестра моя Лизанька по годам, по уму и знаниям своим была уже взрослая девушка; ей исполнилось 20 лет, но по виду, по сложению ей можно было дать не больше 14-ти лет.

Зато я, 14-летняя девочка, точно на зло, подле больной и слабой сестры моей, здоровела, полнела не по дням, а по часам, и сделалась так похожа на взрослую девушку, что даже кавалеры стали за мною ухаживать...

Но в то же время со мною начало твориться что-то необыкновенное, непонятное: стою я, бывало, в воскресенье в академической церкви за обедней за перегородкой между подруг моих, и вдруг меня всю кинет в жар, сделается мне дурно, и чувствую я, что какая-то сила заставляет меня обернуться назад. Я невольно обернусь и вижу, что за мною стоит высокий полный мужчина лет пятидесяти с Владимиром на шее и своими большими черными глазами пристально смотрит на меня. Тогда от взгляда его мне сделается еще хуже, так нехорошо, что хоть упасть — так впору... Дуничка Егорова, бывало, заметит, что мне нехорошо, выведет меня из церкви, проводит домой, откроет форточку, меня обдует ветром, и я оживу... И всегда мы с нею видели, как этот страшный господин, укутанный в богатую шубу, промчится назад мимо наших окон на паре вороных коней. Я стала ужасно бояться этого незнакомого мне человека, и такое мучение повторялось со мною много раз в зиму... Бывало, нет его в церкви, я простою обедню совсем спокойно... В другой раз, как только он войдет, я и не вижу его, а сейчас же почувствую, что он тут, и скажу девицам: «Посмотрите, пришел! Мне дурно!»

Когда я рассказала маменьке о том, что со мной делается в церкви, она рассердилась на меня, сказала, что я ребячусь, что глупо бояться незнакомого мне старика, а убегать от кого-нибудь из церкви — большой грех... Я стала превозмогать себя, но все-таки в те дни, когда страшный господин приезжал и смотрел на меня, мне делалось невыносимо гадко... Но, слава Богу, мучениям моим скоро настал конец: после обедни в первое воскресенье на масленицу мой мучитель с Владимиром на шее в академическую церковь больше не показывался, и со мною перестало делаться дурно. Наши академические барыни, сплетницы страшные, начали рассказывать, что знатный барин с Владимиром на шее, влюбленный в Машеньку Толстую, сгорел во время большого пожара в балаганах, оттого и ездить в нашу церковь перестал. Что ж, может быть, они нечаянно и правду сказали, потому что тогда много народу погибло в балагане Лемана, который загорелся, и откуда, говорят, никто живой не вышел [1]...

Я бы, верно, скоро забыла о своем мучителе, если б один случай не напомнил о нем. Не знаю, отчего у меня вдруг заболел третий позвонок на шее и стало

больно до него дотрагиваться. Папенька, разумеется, перепугался, вообразил, что у меня вырастет горб, и захотел непременно показать меня магнетизерке Турчаниновой [2], которая в это время была в большой моде... Впрочем, в то время в Петербурге было какое-то поветрие на магнетизеров и магнетизерок: ими занимались наши литераторы, присутствовали на их магнетических сеансах, писали, толковали про них.

Я помню, как папенька раз, вернувшись с такого сеанса, рассказывал маменьке при мне про очень неприятный случай, которого он был там свидетелем. В этот день, при большом стечении публики, какой-то магнетизер (фамилии его теперь не припомню) с научною целью магнетизировал очень юную особу, довел ее до глубокого магнетического сна и задавал ей вопросы, на которые спящая дельно ему отвечала. Публика слушала ясновидящую с большим интересом... Только вдруг она перестала отвечать, замолчала, на лице ее изобразилось страдание, и она задыхающимся голосом проговорила:

— Остановите, не впускайте! Сюда по лестнице подымается дурной, нехороший человек... У него железный ключ в кармане... Мне тяжело! Мне больно! Не пускайте, не пускайте!..

Николай Иванович Греч, находившийся среди присутствовавших, бросился к двери, но было уже поздно: она шумно распахнулась и в залу влетел, запыхавшись, опоздавший к началу сеанса Булгарин... Публика встретила его взрывом хохота...

— Фаддей! Есть у тебя в кармане железный ключ? — торопливо спросил Греч, удерживая своего друга за плечи.

Удивленный Булгарин смешался и отвечал:

— Ключ, какой ключ? Ключ от моего кабинета есть; он всегда при мне,— и Фаддей Венедиктович проворно вытащил из кармана большой ключ...

Но тут несколько человек из публики вскочили с места, без дальнейших церемоний попросили Булгарина удалиться и выпроводили его обратно в дверь.

На другой же день по всему Петербургу рассказывали о дивном ясновидении сомнамбулы, о том, как она почувствовала, что по лестнице поднимается Булгарин...

Мне теперь кажется, что это месмерическое [3] публичное представление не обошлось без предваритель-

ной подготовки, как у фокусников «с комперами»... Никак не могу я допустить, чтобы во всей этой публике, которой битком набита была зала магнетизера до прихода Булгарина, не нашлось ни одного «нехорошего, дурного человека, у которого бы был железный ключ в кармане». Верно, был, и не один! Почему же эта ясновидящая дева не почувствовала себя дурно раньше? Почему она пропустила в залу молча весь этот народ и застонала только при появлении Булгарина? Нет, это что-то невероятно. Я убеждена, что тут дело не обошлось без «комперства» со стороны многочисленных недругов Фаддея Венедиктовича, которым пожелалось еще раз публично закидать грязью ненавистного им Фаддея!..

Как теперь помню, что отец, рассказывая маменьке про этот скандал, был очень взволнован... Да еще бы, ведь он был с Фаддеем Венедиктовичем так давно знаком, был с ним даже на «ты» и всегда отзывался о нем, как о прекраснейшем муже, нежнейшем отце, хорошем товарище и, главное, как о человеке, всегда готовом подать помощь ближнему...[4] И хотя на Черной речке Булгарин немилосердно дразнил меня, хотел сделать меня мальчиком, я все-таки с детства привыкла любить этого веселого ласкового человека... И во время рассказа папеньки мне так было обидно за Булгарина, что хоть заплакать. Все это «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», когда мне было только 14 лет; а теперь, когда мне почти 77 лет, меня раздумье берет, хорошо ли я сделала, что написала все это в моих «воспоминаниях». Может быть, из желания вставить хоть одно доброе слово в память об оклеветанном современниками человеке, я только повредила ему тем, что опять вызвала на свет Божий то, что давно забыто и, может быть, многим даже совсем не известно... Но я все-таки довольна тем, что записала отзыв отца моего о Булгарине: «Фаддей Венедиктович человек души добрейшей, всегда готовый на помощь ближнему». Такое слово, сказанное честным, беспристрастным графом Федором Петровичем Толстым, повредить никому не может...

А теперь мне надо вернуться опять к тому времени, когда мнительный папенька вообразил, что у меня растет горб, и пожелал показать меня магнетизерке Турчаниновой. Эту странную женщину я очень хорошо помню. Наружность ее была такая необыкновенная, что,

кажется, забыть ее было бы невозможно; она была высока ростом, худа как доска, голова маленькая, лицо сморщенное, черное, на котором блестели, как две точки, два черных глаза... А по одежде ее и не узнаешь сразу, что она такое — женщина или мужчина? Я ее никогда иначе не видала, как во фризовой [5] шинели с мелкими пелеринами, которые и тогда даже носили только старые крепостные лакеи, да она... На голове у нее всегда была надета черная бархатная скуфейка, из-под которой на обоих висках болталось по жидовскому пейсику. Из женского платья я на ней помню только видневшуюся из-под шинели черную короткую юбку, а из-под этой юбки выглядывали опять-таки мужские, смазные мужицкие сапоги. Надо сказать правду, что она была довольно-таки страшная, и в этом невозможном виде принимала у себя на дому своих многочисленных пациентов, потому что лечила магнетизмом без разбора все болезни; лечила старых и малых, прямых, косых, слепых и горбатых и «чающих движения воды», магнетизировала всех, кто пожелает, лишь бы ей за это платили... Бедного, простого народа среди пациентов Турчаниновой я что-то не помню. У нее лечились только люди зажиточные... Одно время со мною, я помню, ездил к ней папенькин знакомый, старик Всеволод Андреевич Всеволожский. Турчанинова его тоже от чего-то магнетизировала и околдовала его так, что он на нее чуть не молился...

Помнится мне, что, по совету Всеволода Андреевича, папенька прежде сам съездил к Турчаниновой переговорить о моей болезни, и она приказала привезти меня к ней. После этого маменька свезла меня к ней. До смерти, кажется, не забуду я этого первого визита. Когда мы приехали к Турчаниновой, магнетический сеанс у нее уже начался. Я, полная любопытства, не дождавшись маменьки, из передней влетела в какую-то большую комнату и, ничего подобного не ожидая, прямо попала в ад кромешный... Господи, какие страсти я там увидала! Какие-то большие девицы, на вид совсем здоровые, качались на веревках, как на качелях, вешались и вытягивались на каких-то палках... И тут же какого-то несчастного мальчика два солдата растягивали на каких-то страшных пяльцах, а другого маленького горбунчика здоровенный солдатище колотил из всей силы большим деревянным молотком по горбу... И этот несчастный ребенок, вместо того, чтобы

плакать, как бесноватый, извивался и кричал: «Бей крепче, крепче бей!..»

Я до того испугалась всех этих ужасов, что хотела бежать к маменьке, но ноги мои подкосились, я упала тут же на диван, зажала глаза руками и горько заплакала... Прибавьте ко всему этому, что в комнате, где творились все эти чудеса, какой-то пожилой черный господин не переставал играть на каком-то, тоже никогда не виданном мною инструменте. Это был вставленный до половины в ящик толстый голубой стеклянный вал, который все вертелся, а господин водил по нем пальцами взад и вперед, и от этого вал издавал такие страшно заунывные звуки, что меня мороз по коже подирал.

— Что ж вы не идете? Ступайте! Она теперь не занята.

Не помню, кто меня схватил за руку и отвел в темный угол, где я очутилась перед самой магнетизеркой Турчаниновой. Когда я разглядела ее, она показалась мне страшней всего, что я до сих пор видела.

— Кто такая? — спросила она грубым, неприятным голосом.

Вдруг во мне проснулось самолюбие: мне не захотелось показать этому страшилищу-женщине, что я ее боюсь, и я храбро ответила:

— Машенька Толстая.

— А, дочь графа Федора Петровича Толстого! Знаю, знаю...

И она повернула меня к себе спиною, положила свои жесткие, холодные руки мне на оба плеча и сказала:

— Ну, теперь стой смирно, я начинаю смотреть...

Меня от холодных ее рук всю покоробило, но мне так хотелось знать, что такое магнетизм, что я притаилась и начала прислушиваться к тому, что со мною будет. Сначала я не чувствовала ничего в себе, потом меня кинуло всю в жар и стало со мною делаться дурно, точно как в церкви Академии, когда на меня смотрел страшный человек с Владимиром на шее... Я успела еще подумать: «Так, значит, и он был магнетизер», а потом уже ничего не помню, что со мною было... Должно быть, я уснула... Когда я очнулась, я лежала на диване, около меня сидела бледная как смерть маменька... После я уже узнала, что и она вошла за мною в комнату, где делались все эти страсти, и как только увидала, что

горбатого ребенка солдат бьет молотком, с ней сейчас же сделалось нехорошо... А потом раздирающая душу музыка довела ее до того, что с нею сделалась истерика, и ее в другой комнате насилу отпоили водой... После этого маменька никогда не ездила со мной к Турчаниновой, но все-таки меня в продолжение всей зимы возили к ней или тетки мои, или няня Аксинья Дмитриевна.

Несомненно, что в глазах Турчаниновой была страшная магнетическая сила, потому что всякий раз, как она посмотрит на кого-нибудь из своих больных, на них нападало точно какое-то наитие, они начинали сами выдумывать, чем себя лечить... Особенно горбатые дети выдумывали даже разные машины и сами рисовали их, заказывали и заставляли солдат истязать себя на них...

Странно, что со мною от магнетизирования этой страшной женщины, кроме дурноты и тяжелого сна, ничего не делалось, и ни разу мне даже в голову не приходило, чем я должна лечить себя. Это, может быть, оттого, что и лечить-то меня было не отчего, потому что я была совсем здорова.

Была у Турчаниновой еще больная вроде меня, то есть совсем здоровая, девушка моих лет, дочь красавицы Софии Трубецкой, тоже Машенька, как и я,— та самая, которая впоследствии была замужем за Столыпиным, а потом вторым браком была за светлейшим князем Воронцовым [6].

Она, кажется, на магнетических сеансах Турчаниновой просто дурачилась, качаясь на трапециях, вешаясь на веревках и уверяя, что лечится гимнастикой. Мы с ней скоро познакомились и даже подружились. И я, грешным делом, вместе с нею часто лечилась гимнастикой, летая и качаясь на трапециях... Разумеется, что наша дружба не долго продолжалась; нас скоро развели разные дороги, по которым нам суждено было идти в жизни: я, дочь полка художников, застряла в Академии художеств, а ее умчал от меня вихрь большого света... И с тех пор мы с нею никогда не видались, но никогда не переставали помнить друг друга. Не больше, как лет пятнадцать тому назад, она прислала мне из Алупки поклон и приказала сказать, что она меня помнит, любит по-прежнему и, как только приедет в Петербург, непременно навестит меня...

Мне кажется, что лучше будет, если я теперь же доскажу все, что знаю про магнетизерку Турчанинову, для того, чтобы больше не возвращаться к этой несимпатичной личности.

Во-первых, папенька, наконец, разубедился в том, что у меня должен вырасти горб, и сам позволил не возить меня больше к Турчаниновой; а во-вторых, она сама вскоре закрыла свою домашнюю лечебницу. Должно быть, она разочла, что ей выгоднее будет, если она займется исключительно слепо верующим в нее старичком Всеволодом Андреевичем Всеволожским, и для того, чтобы вернее и неотразимее действовать на его склонный к мистицизму ум, она прежде всего переделала сама себя из магнетизерки в «духовидицу», вызывательницу духов... Короче сказать, сделалась чем-то вроде нынешних спиритов. В этом новом звании ей, разумеется, легче было овладеть легковерным стариком и одурачить его окончательно. По словам отца моего, Турчанинова в это время часто бывала в имении Всеволожского Рябове; он несколько раз сам встречал ее на дороге в Пороховые, на простой телеге, в одну лошадь, без кучера, одну-одинешеньку... и своими глазами видел, как по дороге она останавливалась и сама, как добрый мужик, смазывала свои колеса... Папенька говорил, что силища у нее, для женщины, была поразительная.

Мало-помалу она совсем перекочевала в Рябово, пустила там глубокие корни и начала орудовать по-своему. Первым делом разными каверзами и сплетнями отвадила от старика родных и друзей, а потом с помощью какого-то духа начала высасывать из легковерного старика все, что можно высосать... Делалось это, говорят, у духовидицы очень просто. Прихворнет, бывало, чем-нибудь, как все старики, Всеволод Андреевич, она к нему точно с неба свалится и под величайшим секретом объявляет ему, что сейчас, желая узнать об его драгоценном здоровье, снеслась с миром загробным, вызвала к себе душу давно умершего праведного человека, и дух явился и приказал ей скорее сообщить рабу Божьему Всеволоду, что он от болезни своей не встанет, что ему положен предел жизни только до такого-то дня, часа и минуты и что до этого последнего срока он должен успеть помолиться, покаяться в грехах и принести такие-то и такие-то угодные небу жертвы... Какие именно он должен был принести жертвы, разумеется, больному нашептывала на ухо заботившаяся о душе его

духовидица Турчанинова... Старик Всеволожский, больше всего на свете боявшийся смерти, сейчас же пугался, начинал на скорую руку молиться, каяться и требовать от своего управляющего нужные ему для значительных жертв деньги. Получив их, отдавал той же Турчаниновой, чтобы она скорее исполнила волю пославшего ее духа... Потом, в ожидании рокового часа и минуты, начинал слабеть до того, что верно умер бы раньше назначенной ему последней минуты, но тут, к неописанному счастью умирающего, опять влетала к нему его пророчица с вестью о том, что день смерти его отложен, и опять назначала новый срок. Всеволожский оживал, сначала радовался, что еще поживет, потом торопился молиться, каяться, приносил новые жертвы...

Не могу сказать, сколько времени эта ужасная женщина эксплоатировала почти доведенного ею до одурения несчастного богатого знатного барина, который никого, кроме нее, к себе не допускал; но знаю от папеньки наверное, что наследникам его наконец показались странными тайные отношения лекарки-приживалки к охладевшему ко всем родным Всеволоду Андреевичу; они проследили ближе за его таинственной жизнью, поймали на месте преступления злодейку Турчанинову, с великим скандалом передали ее в руки правительства, и по окончании над нею суда она была сослана в Сибирь.

Вот и все, что мне оставалось сказать об этой ужасной женщине.

В конце 1831 года в Академии ничего особенного не случилось. Отец мой служил, лепил свои медали, гравировал «Душеньку», так что рассказывать об этом было бы повторять то же самое. Только к Рождественским праздникам все профессора перебывали у нас с приглашением к себе на вечер. Мы с папенькой перебывали по очереди у всех, всюду отплясывали до упаду... Новый 1832 год все профессора с дочками встретили у нас, и нашим балом закончились Рождественские празднества.

В числе других развлечений должна я упомянуть о племяннице И. П. Мартоса Александре Степановне, вдове попа-расстриги, которая в то давно прошедшее время своими рассказами о старине составляла наше блаженство. Редкий день проходил без того, чтобы мы не заставили повторять нам историю ее замужества с отцом Иваном. Этот рассказ я повторю в моих «воспоминаниях» слово в слово. По-моему, он стоит того. Выки-

ну из него только наши глупые вопросы, которыми мы всегда прерывали ее. Александра Степановна, бывало, прежде чем начать говорить, поломается немного и скажет нам: «Да что, девицы, ведь я вам это вчера рассказывала». А потом соблазн поболтать о молодых ее годах был так велик, что она в сотый раз начнет снова: «Мой покойник был ведь не просто семинарист, как я за него замуж выходила, он ученый был, на магистра шел, да на экзаменах у него что-то сорвалось, ему и дали место священника в село к богатой вдове помещице. А красавец он какой был, так я и сказать вам не могу: чистая писаная картина!.. В ту пору он, для священнического своего сана, косу уж себе длинную отрастил, а как в день свадьбы по фраку ее спустить неприлично было, то он, мой батюшка, намазал ее восковой помадой и из нее себе модный кок сделал, просто загляденье!.. Ну вот и повенчались мы; спервоначалу как в раю жили... Поместье богатое, ни в чем недостатка не было... Только вот с моим покойником вдруг что-то попричтилось, начал он у меня с разуму спячивать... Влюбился в нашу помещицу и начал он за нею ухаживать: что ни день — он у нее же в оранжерее все дорогие цветы оборвет, огромный букет сделает, лентами от моих чепцов перевяжет и поднесет ей в презент... Она за свои цветы обижается, сердится... Мне моих чепцов смерть жаль: все с них ленты, как есть, обкорнал... Да и, кроме того, обидно: у меня дочка Машенька в ту пору уже бегала, да и вторым я на сносях ходила, а он, муж, духовного звания, да романы затевает... И что дальше, то больше: барыне проходу не дает, в любви объясняется... Помещица терпела, терпела, да благочинному и пожаловалась... Его, моего голубчика, за неприличные поступки и расстригли... И пришлось нам с батюшкой из церковного-то дома, со всего-то готового, да в простую избу на свои харчи перейти... Я тут с горя моего Ваньку раньше времени скинула, а батька-то мой, как его только расстригли, и совсем рехнулся... Слег в постель и вставать перестал, так все лежамши и колобродил. Что тут со мною было, так этого, девицы мои дорогие, ни в одном романе не прочтете... Так как все божественное в покойнике батюшке крепко сидело, то он одним божественным и бредил. И чтоб он не сердился, я должна была все потрафлять ему. Бывало, чуть свет забрезжится, мой отец Иван и закричит страшным голосом: «К заутрене!

В большой колокол!» Я спросонья Ваньку от груди оторву, в зыбку брошу, схвачу полено, да об котел и колочу: бум, бум, бум! «В маленький колокол!» — крикнет батюшка, а я серебряной ложкой об кофейник: динь, динь, динь! Прикажет, несчастный, да сам и запоет стих божественный... Мальчишка-то брошенный орет благим матом, у меня от горя вся душа займется, слезы так рекой и льются. Сами подумайте, барышни, каково мне было все это переносить. И так-то я целые дни звоню: только, бывало, к ранней обедне отзвоню, Ваньке грудью рот заткну, чтобы не орал, а отец Иван опять гаркнет: «К поздней обедне!» Я опять за полено да за ложку: бум, бум да динь, динь, динь! А там и к вечерне... И так мы с ним, моим батюшкой, с утра и до вечера Господу Богу служили... Как я тогда с ума не сошла, одному Создателю известно. Это-то все еще ничего; а то раз ночью слышу, он с постели встал, гляжу, а он в одной рубашке, стул дырявый соломенный себе на спину повесил, шляпу на голову надел, палку в руки взял и к двери пробирается... Вижу, уйти хочет... Я вскочила с кровати, кричу ему: «Что ты, отец Иван?» — А он мне: «Я — царь Давид[7], взял свои гусли, псалмы иду петь»... Слышите ли, барышни, голубчики мои? Он царь Давид, а дырявый стул у него гусли... Как я эти слова услыхала, так где стояла, там от страху на пол и села... инда у меня самой голова помутилась... Покуда я опомнилась, выбежала на улицу, кричать начала: «Помогите, помогите! Отец Иван у меня ушел!» — а его, моего несчастненького, и след простыл... Только и видели, что посреди болота шляпа его валяется, за нею уж побоялись идти, болото это у нас было топкое: много уж людей в себя засосало... И что бы вы думали? Мой покойничек прошел по этой трясине, аки посуху, и в соседнем городе очутился... Так уже увидали, что человек в одной рубашке со стулом за спиною ходит по улицам и поет. Его поймали, спросили: «Кто он такой?» Он только и сказал: «Я царь Давид!» Его взяли да в сумасшедший дом и посадили... Там он свою святую душеньку Богу отдал, и я больше не видала его. После уже дяденька мой Иван Петрович узнал о моем горьком сиротстве с двумя ребятами и подобрал нас к себе; дай ему Бог и тетеньке Авдотье Афанасьевне много лет здравствовать!..»

Незаметно подошла масленица 1832 года. Помню, что в четверг у отца моего случилась большая неприят-

ность: ученики взбунтовались из-за того, что эконом купил им горького масла для блинов. Зачинщиком всей кутерьмы был ученик Пименов (впоследствии профессор Николай Степанович Пименов, наш известный скульптор), который, с большой деревянною чашкою с блинами на голове, влетел к нам в приемную, за ним бледный как смерть эконом, а за ним целая толпа разъяренных учеников.

Мы в это время сидели за завтраком; папенька сейчас же вышел к ним, и я из любопытства тоже побежала к двери. Разозленные ученики кричали в один голос, громче всех орал голосистый Пименов.

— Рассудите нас, ваше сиятельство! Попробуйте эти блины! Разве можно кормить учеников таким горьким маслом? Взыщите с этого мошенника-отравителя! — кричал он охриплым голосом, показывая на эконома,— иначе мы сами с ним справимся.

При этом Пименов не упомянул, что он другую точно такую же чашку с блинами уже надел на голову помощнику эконома и ошпарил его горячим маслом...

Папенька откусил маленький кусочек блина, масло точно было очень горькое; но отец мой не мастер был судить и рядить, а главное, взыскивать с кого-нибудь. Он покраснел, сконфузился и проговорил:

— Точно, масло очень горькое, но успокойтесь, господа; мы эту ошибку сейчас поправим.

Затем он обратился к эконому:

— А вы сделайте одолжение, пошлите сейчас в ближайшую харчевню заказать, н а м о й с ч е т, хороших блинов для господ учеников... Вы же, молодые люди, не волнуйтесь. Мне, право, совестно, что это могло случиться, но я уверен, что это больше не повторится.

И папенька опять пристально посмотрел на эконома, думая, что плутяга поймет этот взгляд, но эконом, который до тех пор стоял бледный от страху, что ему от вице-президента за горькое масло сильно достанется, сейчас же ободрился, поехал, заказал блины, учеников накормили, отец мой заплатил за блины свои деньги, и тем кончился бунт и расправа... Оказался в этом деле наказанным только один помощник эконома, которого ошпарил Пименов горячим маслом.

Как в этой расправе с экономом сказался весь характер отца моего! За какие-нибудь пустяки он мог вспылить, накричать, нашуметь... но выставить мошенни-

ком старого человека при молодежи папенька не мог: ему в эту минуту за эконома так было стыдно, что он просто пожалел его...

На масленице же ученики Академии художеств в своем собственном театре давали для академической публики театральные представления. Театр их с одним рядом лож, креслами и партером помещался в самом здании и был очень красив. Кулисы и занавеси писали сами ученики; оркестр был составлен из них же, и актрисы были они же сами. В каждом представлении давалась одна серьезная пьеса, драма или трагедия, что-нибудь вроде «Коварство и любовь» Шиллера, а вторая пьеса была какая-нибудь веселенькая комедия Коцебу, и спектакль оканчивался всегда дивертисментом. Помню, что из балетных танцовщиков отличался воспитанник Академии Рыбников. Большой, худой, длинноногий, он выделывал такие удивительные батеманы [8] и антреша и так летал по сцене, что, верно, не уступил бы в искусстве настоящему танцору с императорского театра. Впрочем, он и кончил свою художественную карьеру тем, что сделался хорошим «танцевальным учителем» в Петербурге...

Отец мой был вообще большой охотник до театров, но театр учеников Академии особенно занимал его. Во-первых, он находил, что это развлечение для молодых людей, в свободное время от наук, самое благородное и безвредное; а во-вторых, что игра на сцене развивает у учеников ум, вкус и придает им физическую ловкость. И потому во время их спектаклей папенька помогал им всем, чем только мог. Насчет гримировки мужчин молодые художники были сами великие мастера, а вот насчет костюмировки не обходилось без советов отца моего... Хорошеньких мальчиков, назначенных на женские роли, он отводил к маменьке и просил одеть их. Она забирала над ними бразды правления, по ее указанию няня Аксинья Дмитриевна и Аннушка тети Нади снуровали мальчиков в корсеты, подкладывали куда следовало хлопчатой бумаги... Маменька с тетками жертвовали даже своими платьями. И в ловких руках матери моей эти мальчики живо превращались в «благородных матерей», «первых любовниц», «субреток» и «кухарок». Особенно интересная «ingénue» *[9] выходила всегда из хорошенького юноши скульптора Ставасера,— того самого,

* «инженю» (*фр.*).

который после вылепил знаменитую статую «рыбачки». Весь этот женский персонал маменька нежною рукою гримировала сама, и порученные ей актеры оказывались так похожими на женщин, что во время спектакля публика даже не хотела верить, что это ученики.

Вообще спектакль всегда сходил с рук благополучно, и аплодисментам не было конца...

Настал Великий пост. Церковь Академии художеств опять огласилась стройным пением учеников. Растрепанный, кудрявый Пименов потешал нас, девиц, пробегая на клирос с засученными, вымазанными глиной панталонами и часто по дороге ронял из кармана сырые яйца (которые он глотал во время пения для очищения голоса), и они, падая, разбивались о каменный пол. Начались церковные ходы. Пименов, как самый сильный, шествовал всегда с большим крестом, по бокам его большие два ученика, Логановский и Пахомов, выступали с хоругвями. Впереди шли со свечами певчие, несли образа... И вся эта духовная процессия с тихим пением «Святый Боже, Святый крепкий» извивалась между языческих богов по античным галереям... Очень это было чувствительно. Я всегда разливалась, плакала. Во время этих святых дней поста шалун-амур задел крылом немецкого барона Петра Карловича Клодта [10]. Вдруг вообразилось ему, что он так влюблен в Катеньку Глинку, что должен непременно на ней жениться. Скорый, проворный на все, он объяснился предварительно с матерью ее, Авдотьей Афанасьевной, и стал умолять ее ходатайствовать за него у Ивана Петровича.

— Я знаю, добрейшая Авдотья Афанасьевна,— сказал он,— что вы одни можете устроить счастие моей жизни. Если вы согласитесь на мою просьбу, то и почтеннейший Иван Петрович не откажет мне в руке Екатерины Ивановны...

Авдотья Афанасьевна с великим удивлением выслушала неожиданную просьбу молодого человека и, как всегда, откровенная и простая, ответила ему то, что ей подумалось в ту минуту:

— Опомнитесь, дорогой Петр Карлович! Что вы это очертя голову затеваете? Разве наша Катенька вам пара? Она у меня единственная дочка, балованная, нежная, ни к какой работе непривычная... А вы человек бедный, только маленьких солдатиков да лошадок и лепите... Так разве на эту мелочь вы можете прокормить и одеть жену вашу? Да могу ли я просить за вас Ивана Петровича,

когда вперед знаю, что он меня с моею просьбою турнет и вам откажет наотрез... Нет, голубчик, барон, выкиньте из головы эту затею. Я ведь не со зла, а как мать, любя, вам говорю: ищите жену по себе, право, лучше будет... Поверьте, я обидеть вас не желаю, и будь моя дочь бедная, трудолюбивая девушка, как племянница моя Улинька, например, да посватайтесь вы за нее, я бы вам слова поперек не сказала, а благословила бы вас, и конец!.. А отдать родное детище свое на верную нужду, простите меня, я не согласна и опять-таки должна повторить, что моя Катенька вам не пара.

Странное дело, что во время всех этих переговоров своих с бароном Клодтом Авдотья Афанасьевна упоминала только о том, что он не богатый человек, но ни разу не обмолвилась о том, что дочь ее сама по себе богатая женщина и могла бы быть очень хорошей помощницей в делах своему мужу если не трудами, то деньгами... В это время ведь Федор Петрович Крашенинников давно успел разобраться в бумагах покойного Глинки, и Авдотья Афанасьевна прекрасно знала, что ее дочери, кроме движимого имущества, от мужа осталось одними деньгами сто тысяч. Да, верно, знала и то, сколько Иван Петрович дал за Катенькой приданого, но об этом ни гугу... Да вряд ли знала это и Екатерина Ивановна, потому что родители по-прежнему ее поили, кормили, наряжали и на «булавки», как бывало в девушках, выдавали ей из своих рук небольшие деньги... Отчего состояние вдовы Глинки хранилось в таком секрете, это и понять трудно...

У Петра Карловича Клодта во время этого бесцеремонного отказа (как он сам рассказывал после) от злости даже дух захватило... Вся любовь его к вдовушке Глинке мигом, как чулок с ноги, снялась... Он унял свою горячку и холодно сказал:

— Так вы находите, Авдотья Афанасьевна, что дочь ваша мне не пара, а бедная девушка Ульяна Ивановна пара? И я с вами совершенно согласен, а потому снова прошу у вас руки, только не дочери вашей, а племянницы Ульяны Ивановны...

— Вы шутите, барон? Право, я не к тому это сказала,— сконфузившись, проговорила Авдотья Афанасьевна.

— Нисколько не шучу! Вы убедили меня в том, что бедная трудолюбивая девушка мне будет больше пара, чем дочь ректора, которая к нужде не привыкла...

И я хочу жениться на Ульяне Ивановне именно для того, чтобы весь свет видел, как жена Петра Клодта будет ходить у него голодная и неодетая. Вы ведь за Ульяну Ивановну не боитесь, так отдайте мне ее.

Так курьезно произошло сватовство и состоялось примерное супружество Петра Карловича Клодта с бедной сиротой Ульяной Ивановной Спиридоновой, которые до последнего вздоха буквально боготворили друг друга. И Авдотья Афанасьевна впоследствии, увидав, как барон заваливает жену свою богатыми заграничными подарками, спохватилась, да поздно, и часто, призадумавшись, говаривала:

— Да, кажется, я с бароном-то промахнулась! Да кто же тогда мог знать, что он не одних маленьких солдатиков да лошадок, а и большие статуи сумеет лепить и в такую славу попадет? Тогда это дело было темное: что я, женщина, понимала? А то ведь сам Иван Петрович,— кому уж понимать было, коли не ему: и ректор, и первый скульптор в мире, можно сказать, а и он тогда про клодтовских лошадок да солдатиков говорил: «Разве это скульптура? Это детские игрушечки!» Да, да, промахнулась, сама вижу, что промахнулась... Катенька наша самая бы пара барону была.

С легкой руки Ульяны Ивановны и за хорошенькую Наденьку, дочь профессора Егорова, ту самую, что ему моделью для ангелов служила, тоже посватался инженерный офицер Дмитрий Николаевич Булгаков, прекраснейший молодой человек; и все тогда порадовались за Надежду Алексеевну. И представьте себе, что и это сватовство без скандала не обошлось. По словам Василия Ивановича Григоровича, самодур Егоров чуть было Булгакова за дверь не выпроводил... И за что? За то, что он раз, обедая у них, положил около своего прибора крестом вилку с ножом, а сложил так только потому, что у Егоровых подставочек под вилки и ножи и в заводе не было... Заметил это на грех Алексей Егорович и на стену полез... «Чтоб я,— говорит,— русский человек, я, профессор Егоров, дочь свою за масона выдал!.. Да никогда этому не бывать!»

Спасибо еще, что за усмирителем мнительного старика недалеко было ходить! Василий Иванович Григорович жил стена об стену и вовремя налетел, как гроза, на взбунтовавшегося старика, нашумел, накричал на него так, что тот покорился, и дело уладилось. А какая жалость была бы, если б эта свадьба расстроилась.

Из ангелоподобной Наденьки впоследствии такая дебелая красавица, инженерная генеральша вышла!..

Летом мы опять все расстались. Мартосы перебрались к себе на Петербургскую; мы уехали на лето во второе Парголово. И лето у нас прошло не совсем благополучно. Во всем Парголове ходила повальная натуральная оспа, и странное дело, что отца моего, всегда такого мнительного, это нисколько не испугало; он так был убежден, что к людям, которым была привита оспа, она снова пристать не может, что оставался совершенно спокоен, и даже отпустил меня к нашей хозяйке, у которой все дети лежали в оспе, крестить меньшую дочь. Я тогда крестила в первый раз и очень гордилась ролью «кумы». Крестил со мною какой-то очень франтоватый гвардейский полковник Бибиков, который с своими солдатами стоял на постое во втором Парголове. Ему я, верно, показалась взрослою девушкой, потому что он за мною что-то очень уж ухаживал... Уморительно было видеть, как этот светский франт скорчил отчаянную гримасу, когда родители новорожденной заставили нас с ним, кума и куму, сейчас же после нашего обеда, для того, чтобы крестница наша рябая не была, съесть по полной глубокой тарелке крутой гречневой каши с маслом, и не отстали от нас до тех пор, пока мы не оставили на тарелке ни одного зернышка... От этого, что ли, уж не знаю, право, только крестница моя Наташа, одна изо всей семьи, вышла не рябая и красавица. С нею мы еще встретимся в моих записках.

Как только в начале сентября мы с Мартосами перебрались в Петербург, так Авдотья Афанасьевна сейчас же занялась приготовлениями к свадьбе Улиньки, и очень нам, девицам, тогда было весело... Мы сами ездили в карете отвозить Улинькино скромное приданое в маленькую квартирку Петра Карловича Клодта и там устанавливали и приводили все в порядок. Потом, по русскому обычаю, накануне девичника, мы были с невестой в бане, где тетушка Наталья Афанасьевна, тоже дева, угощала нас медом, кормила сластями и пела нам песни, которые в старину певались невестам в то время, как обмывали их девичью красу. Девичник тоже у нас был форменный, без жениха и мужчин, и не внизу, потому что Иван Петрович, как европеец, терпеть не мог всех этих русских обычаев, а наверху, в комнате Натальи Афанасьевны, где мы, одни девицы, пели свадебные песни, и пили, и ели, и плясали, как сумасшедшие...

Зато свадьбу, по желанию барона, сыграли самую простую; никого, кроме его братьев и Авдотьи Афанасьевны, на ней не было.

На другой день Иван Петрович Мартос в честь молодых дал парадный обед, пригласил на него чуть не всю Академию и угостил на славу. Да и вообще в этом году, на радостях, что траур по Глинке кончился, старик Мартос что-то раскутился: редкая неделя проходила без того, чтоб у них не танцевали. Разумеется, мы с папенькой бывали всегдашние их гости. До сих пор вспоминаю с большим удовольствием эти оригинальные вечера.

Мастерская Ивана Петровича в эти дни становилась неузнаваема: длинный стол куда-то исчезал, стулья с высокими спинками становились по стенкам, маленький станок, закутанный в мокрые тряпки, с работой ректора, задвигался в угол, и глазам представлялась большая бальная зала... Минин и Пожарский, по случаю торжества, закидывались шляпами гостей по пояс... И даже с Потемкина все хозяйственные принадлежности убирались; на место их дамы прятали ему в ноги свои боа и шарфы; и даже потемкинский орел в такие дни, вместо того, чтобы выглядывать из-под чайного полотенца, важно сидел в шляпе какого-нибудь гостя... Народу всегда бывало много. Барышни больше все доморощенные, академические красоточки, одна другой лучше... матери их, отцы профессора. Кроме своих, помню, бывали и почетные гости: превосходительный старичок Бутков с маленькой худенькой супругой в очень рогатом чепце и сынок их с вечною лорнеткою у глаз, тот самый, который сделался после важным лицом в служебном мире, и какой-то юноша, Татаринов, который после играл немаловажную роль в свете... и много других, и военных, и статских молодых танцоров, из которых помню больше всех милого Ганецкого, всегдашнего моего кавалера, который недавно умер комендантом Петропавловской крепости. Ну и, разумеется, тут же были неизбежные три брата Крашенинниковы, которые продолжали состоять в великом фаворе у Авдотьи Афанасьевны. Учеников Академии у Ивана Петровича на вечерах не бывало; он, кажется, вообще их не жаловал и панибратства со своею ректорскою особою никакого не допускал; старичок любил, чтобы «всяк сверчок знал свой шесток»...

По-моему, всех милее, всех интереснее на вечерах Мартоса был сам глубокий старец Иван Петрович.

Для приема гостей он переодевался всегда из своего типичного серого фрака в парадный академический мундир, украшенный всеми заслуженными им орденами, и в руке держал жалованную табакерку с бриллиантами, и вместо соломенной шапочки голую голову прикрывал седой, как лунь, завитой в кудряшки парик; один только красный фуляровый[11] носовой платок по-будничному длинно висел из его кармана... И старичок не присаживался ни на минуту, все ходил между своими гостями, все старался, чтобы всем было весело... В то время только что вошла в моду французская кадриль; матрадур, краковяк и даже экосез были уже изгнаны; на вечерах только и танцевали, что вальс, галоп да французскую кадриль без конца... Кавалер старых времен, Иван Петрович никак не мог понять этого танца, и его просто сердило, что все пары не танцуют зараз... Помню, как во время того, как я во французской кадрили дожидалась своей очéреди танцевать, он подошел ко мне и, дотрогиваясь до моего плеча, сказал:

— Что ты стоишь, графинюшка, как усопшая? Ступай, танцуй!..

— Иван Петрович, мне нельзя... Теперь не наша очередь; надо, чтобы сперва кончили поперечные пары...

— Пустяки! Ступай, ступай! Танцуйте все вместе, вам веселее будет...— увещевал меня милый старик.

— Да во французской кадрили этого нельзя, это не такой танец,— объясняла ему я.

— Дурацкий танец — ваша французская кадриль, вот что! — сказал он мне и недовольный отошел прочь.

Отца моего обожали академические девицы, все подбегали его ангажировать, и он вальсировал с каждой из них. Как он прелéстно, грациозно тогда танцевал!

Как видите, некогда было скучать, особенно мне, которой еще не стукнуло 16-ти лет. Однако вдруг, нежданно-негаданно для меня самой, случилось такое обстоятельство, которое лучше всего доказало отцу и матери моей, что дочь их Машенька взрослая девушка. Представьте себе, что я, далеко еще не достигнув до 16-ти лет, влюбилась... Нет, я не так выразилась: я не влюбилась, а полюбила... потому что влюбиться может всякая девочка, а полюбить так крепко, как я полюбила, мог бы только совсем взрослый человек...

Помню до сих пор все подробности этого решительного для меня события. Помню, что это случилось со мною зимою 1832 года в воскресенье. Мы только

что пообедали; не совсем здоровая в этот день маменька и сестра Лизанька прилегли немного отдохнуть; вечерние гости еще не сходились; Анна Николаевна Рускони с тетками ушли наверх в их комнату, и я пошла посидеть с ними; немного погодя я услышала оттуда, что у нас в зале кто-то играет на фортепиано, потом папенька крикнул мне снизу: «Маша, поди сюда!» Я сейчас же побежала. Когда я вошла в залу, в ней было почти совсем темно, только две сальные свечи горели на столе, и я не могла разглядеть хорошенько мужчины, который сидел вдали за фортепиано.

Папенька взял меня за руки, подвел к нему и сказал:

— Нестор Васильевич, позвольте вам представить меньшую дочь мою, Марью Федоровну... Маша, рекомендую: это наш молодой поэт, Нестор Васильевич Кукольник [12].

Я молча сделала реверанс. Черная фигура тоже молча, не отнимая рук от клавишей, только мотнула головой и продолжала играть... Тогда только наш Иван,— спасибо ему,— вбежал с фитилем, начал зажигать кенкеты, зало осветилось, и я увидела перед собой худого, длинного, бледного молодого человека с большим носом и толстыми губами... И что же бы вы думали? Умное, доброе лицо Кукольника мне сразу понравилось... И хотя он далеко не любезно со мною обошелся, я не ушла от него, а оперлась рукой на фортепиано и стала его слушать... Как он прелестно играл! Он что-то фантазировал и переходил из мотива в мотив, точно ворковал что-то, и тихие звуки от игры его так и лились прямо в душу... Я, грешный человек, до сих пор шумной блестящей музыки не люблю; мне она мила только до тех пор, покуда говорит душа, а как только становится жонглерством, фокусом с проворством рук, так — Господь с ней, мне ее не надо! И я охотно сознаюсь, что я в музыке совершенный профан.

Кукольник продолжал играть и вдруг, не взглянув даже на меня, спросил:

— А вы играете на фортепианах?

— Нет, Нестор Васильевич, я самое бездарное создание: ни в дудочку, ни в сопелочку! — засмеявшись, отвечала я.

— Напрасно! У вас длинные музыкальные пальцы, вы бы могли играть хорошо,— сказал он, вставая из-за фортепиано, и прошел в кабинет отца.

Кажется, после такого первого знакомства нельзя ожидать завязки какого-нибудь романа между мною и Нестором Васильевичем Кукольником; однако ж роман не роман, а что-то вроде того завязалось; в будущем месяце я поговорю об этом в моих «Воспоминаниях».

XI

Как я любила Н. В. Кукольника.— Кукольник — душа общества.— Записочка.— Прием государя.— Смерть Мартоса.— Лето 1834 года; дача деда Федора Андреевича.— Француженки.— Благоволение деда к папеньке.— Интересный подарок.— Раскольница — жена Федора Андреевича.— Моя размолвка с Н. В. Кукольником; мое горе.— Мое рождение; бал у отца.— Смерть няни Матрены Ефремовны.— Мое объяснение с Н. В. Кукольником.— Еще неудачное сватовство.— Скульптор Теребенев.— Генерал Шепелев.— Скотти гувернерствует.— Барон Розен.— Появление Осипа Афанасьевича Петрова и Анны Яковлевны Воробьевой.— Михаил Иванович Глинка.— Его дружба с Кукольником.— Появление Василия Андреевича Каратыгина и его жены Александры Михайловны, урожденной Колосовой.— Ее столкновение с Кукольником; любовь к бане.— Смерть маменьки.— Сестра Лиза визионерка;[1] болезнь ее и кончина.— Я у отца одна, как порох в глазе

В предыдущей главе моих «Воспоминаний» я обещалась поговорить о чем-то вроде «романа» моего с Нестором Васильевичем Кукольником, который так нелюбезно обошелся со мною при первом нашем знакомстве. Несмотря на это, он мне очень понравился, и мне обидно было, что он ушел, даже не взглянув на меня... Когда он скрылся за дверями кабинета, я обиженно сказала папеньке:

— Что это какой он бука?

— Нет, Маша, он не бука, он просто не привык к дамскому обществу и конфузится... Да погоди, у нас в доме эта застенчивость скоро пройдет! Ведь он милейший человек, душа общества, его нельзя не любить,— ответил мне папенька, вероятно, желая загладить неприятное впечатление, какое произвел на меня новый его гость.

И напророчил тогда дорогой отец мой! Точно, я скоро познакомилась с Кукольником, подружилась с ним и потом — сама не знаю уж как — крепко полюбила его... Конечно, за другого человека отвечать трудно, но я знала,

чувствовала, что он также любит меня... хотя во все время, что мы были так близки друг другу, Нестор Васильевич ни разу не сказал мне ни одной любезности, ни одного комплимента, да и вообще между нами о нашей любви никогда и помину не было. Ни разу он не назвал меня «Машенькой», а я его «Нестором»; мы все оставались Марьей Федоровной и Нестором Васильевичем. И во все это счастливое для меня время он ни разу не поцеловал не только меня, даже руки моей; а между тем мы с ним составляли точно одно существо: он знал все мои вкусы, угадывал мои желания и старался исполнить их, чтобы доставить мне удовольствие, а я так даже чувствовала, когда он едет к нам, и всегда выбегала в приемную встретить его... И тут он наскоро передавал мне новости о делах своих, и все, что интересовало его в ту минуту, он спешил сообщить мне первой... Я этим очень гордилась! И радовало меня тоже, что папенька и маменька видимо полюбили Нестора Васильевича. Короче сказать, на моем горизонте тогда не виднелось еще ни одной темной тучки, и я была счастлива вполне.

И воскресенья наши, с появлением у нас Кукольника, оживились еще больше. С его умом, веселым характером и изобретательностью чего не делал он для того, чтобы доставить удовольствие отцу моему и старым и молодым гостям нашим. Бывало, читал у нас, у первых, все что ни напишет новенького из своих драматических произведений. За ужином вместе с Николаем Васильевичем Гоголем и Василием Ивановичем Григоровичем рассказывал такие хохлацкие анекдоты, что от них можно было умереть со смеху, или придумывал для потехи старых и молодых разные забавные и остроумные игры. Правду сказал про него папенька, он был именно «душа компании»... Все знакомые наши были от него в восхищении. Только теткам он, казалось мне, не нравился... Может быть, потому, что у них был уже свой любимчик: московский кузен тети Нади, граф Дмитрий Николаевич Толстой... Красавчик собой, две капли воды — лорд Байрон... grand genre * с головы до пят; он заседал всегда около Анны Николаевны и теток и потешал их своими остротами и великосветской любезностью. Я этого моего бомондного дядюшку не жаловала: во-первых, за то, что он трактовал меня всегда как маленькую девочку, вся-

* вельможа (*фр.*).

кую минуту делал мне замечания и давал разные советы и даже написал в мой альбом стихи, в которых сказано:

И как же иначе? На вас я глядя,
Не забываю то, что я вам дядя!..
Et l'oncle sévère n'est pas sentimental... *

Во-вторых, злилась я на него за то, что он хотя и был с Нестором Васильевичем на «ты», но все-таки обращался с ним как-то свысока, точно хотел показать ему, что между ними есть большое расстояние. Кукольник как умный человек не обращал на этот странный тон Толстого ровно никакого внимания; зато я за него выходила из себя. И потом мне казалось, что Дмитрий Николаевич все наблюдает и подсматривает...

Нестор Васильевич бывал у нас аккуратно всякое воскресенье и часто заезжал к нам по будням, когда у него было свободное время. Помню, в одно из воскресений он приехал что-то позднее обыкновенного. Я выбежала встречать его. С первого взгляда я тотчас догадалась, что он сообщит мне что-нибудь новенькое, и точно, не снимая еще шубы, он сунул мне в руку маленькую сложенную бумажку и, весело улыбаясь, сказал: «Прочтите одни». Я сейчас же подбежала к огню от кенкетки, развернула бумажку и прочла: «Николай Романов ждет к себе Кукольника завтра в девять часов утра». Я вспыхнула от радости и шепотом спросила: «Государь?» Нестор Васильевич молча, со счастливым лицом, только утвердительно кивнул мне головой, а потом прибавил: «Сейчас получил, и к вам!..»

— Можно показать папеньке и маменьке? — спросила я также тихо.

— Им? Разумеется, можно! — ответил он.

И я убежала от него в залу, захватила там отца моего и маменьку, привела в нашу с Лизанькой комнату и показала им записочку государя. Папенька сейчас же узнал руку Николая Павловича и также, как я, вспыхнул от радости... Потом он побежал отыскивать Кукольника, поймал его за руки и проговорил:

— Очень, очень рад за вас. Но теперь дело не в том, а в том, есть ли у вас мундир, в чем представиться государю?

— Ничего у меня нет: ни мундира, ни шляпы, решительно ничего нет. Не знаю, что и делать! Теперь

* А дядя строг и не сентиментален (*фр.*).

праздник, портные все гуляют, в одну ночь сшить не успеют... Положение мое безвыходное,— смеясь, сказал Нестор Васильевич.

— Однако ж надо из него выйти: нельзя же вам не явиться на призыв государя... Надо у кого-нибудь призанять мундир. Вы какого ведомства? — озабоченно спросил папенька.

— Я? придворного!..

Отец мой бросился узнавать, нет ли у кого-нибудь из его гостей мундира придворного ведомства. Оказалось, что он есть у дяденьки Константина Петровича. Но и тут беда: Кукольник был очень высокого роста, худой, с длинной талией, а дядя Константин среднего роста, толстый, с короткой талией... Но «на нет и суда нет»... Пришлось взять то, что есть. Сейчас же послали за дядиным мундиром и шляпой; как только принесли, мужчины заперлись с Нестором Васильевичем в кабинете отца, и началось примериванье. Из-за закрытых дверей то и дело слышались взрывы неудержимого хохота. И было над чем хохотать: дядиным мундиром в ширину можно было обернуть Кукольника два раза, а в длину талия хватала ему только до половины туловища, так что две пуговицы у фалдочек сидели у него как раз между крылец [2]. Но Нестор Васильевич этим нисколько не смущался, а морил всех со смеху, представляя, как он на приеме у его величества будет все время поворачиваться к государю передом, чтобы не показать спины.

На другой день утром представление состоялось. Необыкновенно просто, мило и ласково обошелся государь с молодым нашим писателем. Сказал ему, что пожелал познакомиться с ним потому, что много слышал хорошего об его драматическом таланте. Очень интересовался новой его драмой «Рука Всевышнего отечество спасла» [3], которую Нестор Васильевич в это время оканчивал, и милостиво распростился с ним, обещаясь непременно приехать на первое ее представление.

Из дворца Кукольник прямо приехал к нам рассказать о милостивом приеме. Мы все от души его поздравили. Потом папенька, рассмеявшись, сказал ему:

— Ну, Нестор Васильевич, вижу, что вы мастерски лавировали в мундире брата Константина, и государь вашей спины не видал.

— А почему вы это узнали, граф?

— Да потому, голубчик мой, что, если бы Николай Павлович хоть раз взглянул на две пуговки, которые

сидят у вас между лопаток, он бы наверно покатился со смеху. Слава тебе, Господи, я по опыту знаю, как государь смешлив!

В скором времени был назначен день первого представления «Руки Всевышнего». Кукольник привез нам ложу, и мы всею семьей поехали в Александринский театр. Когда мы еще шли по коридору, я услышала, как кто-то из публики, проходя мимо меня, проговорил: «Смотрите, смотрите! Вот графиня Толстая, невеста Кукольника!» Можно себе представить, как от этих слов сладко забилось мое сердце и с каким блаженным лицом я уселась в нашей ложе. Зрительная зала была уже полна публикой, которая волновалась от любопытства, и слышались хлопки, требующие поднятия занавеса.

Приехала царская фамилия, вошла в боковую ложу, тотчас занавес взвился и представление началось. Новая драма Нестора Васильевича прошла блистательно. Актеры играли превосходно; аплодисментам не было конца. Много хлопал и государь. Автор выходил в директорскую ложу несколько раз, чтобы раскланиваться публике, и всякий раз его встречали оглушительными криками «браво» и неистовыми аплодисментами. В райке простой народ, которому «Рука Всевышнего» пришлась по душе, так орал и бесновался, что всякую минуту можно было ожидать, что оттуда кто-нибудь вывалится.

А что я чувствовала в это время, я и рассказать не могу... Положительно я была на седьмом небе от успеха и триумфа Нестора Васильевича. Когда я после этого увидала его в первый раз, я до того расчувствовалась, что не могла сказать ему ни слова, а только крепко, крепко пожала ему руку. Да, верно, полные слез глаза мои досказали ему все, что я не смогла тогда выговорить.

Слух о блистательном представлении «Руки Всевышнего», а главное, о милостивом расположении государя императора к молодому автору дошел до Ивана Петровича Мартоса, и старец пожелал непременно видеть молодого человека, которого так обласкал государь. Василий Иванович Григорович поторопился исполнить желание тестя и с гордостью представил ему своего земляка. Но Кукольнику что-то у Мартосов не полюбилось. Особенно не понравилось ему шумное веселье и постоянный хохот внучек Ивана Петровича; он нашел, что эти девицы держат себя неприлично, и даже сделал мне замечание, что, по его мнению, в этой компании я ничему

полезному не научусь. Сказал он мне это при маменьке, и она сейчас же ему поддакнула:

— Вы совершенно правы, добрейший Нестор Васильевич. Я Маше это много раз говорила, а она все мне не верила. Я очень рада, что вы со мною одного мнения.

После этого замечания, чтобы угодить моему сердечному другу, я стала реже бегать к Мартосам, а вскоре и большое горе посетило их дом и еще больше разъединило меня с ними. Девяностолетний Иван Петрович как-то простудился и опасно захворал. Чего не предпринимали доктора, чтоб спасти старика, но в его годы помочь ему было трудно.

Во время его болезни я видела его только один раз: он лежал в своей спальне в сильном жару, со льдом на голове. Милейший человек оставался верен себе, до последней минуты не перестал быть вежливым дамским кавалером: когда я подошла к нему, он засуетился, начал прикрывать свою голую грудь простыней и протянул слабую руку к пузырю со льдом, вероятно, воображая, что на нем надета его соломенная шапочка, и захотел снять ее. Мне так стало жалко бедного старичка, что я еле могла удержаться, чтобы не заплакать при нем.

В понедельник на Страстной неделе заслуженного ректора Академии художеств не стало. Убитая горем Авдотья Афанасьевна не захотела и слушать советов похоронить мужа-благодетеля прежде четырех суток. А там подошли последние дни Страстной и три первые дня Святой, когда хоронить уже нельзя, потому она продержала покойника у себя на дому ровно 10 дней. Можно себе представить, какой воздух был в мастерской Ивана Петровича, где он стоял в малиновом бархатном гробу на парадном катафалке. И несмотря на это, около него старшие ученики Академии составляли дни и ночи почетный караул. Первые три дня праздника около памятника Потемкина был накрыт стол с разговеньем, закусками и винами, и ученики беспрестанно окружали его, ели и пили преисправно. Маленькие сыновья Василия Ивановича Григоровича, которых к больному дедушке не пускали из боязни, что они обеспокоят старичка, из мертвого дедушки сделали себе игрушку: продели веревку в ручку в ногах у гроба и всякий день впрягались в нее и представляли из себя лошадей, которые скачут куда-то галопом... Слава Богу, я ничего этого не видела, потому что, надо правду сказать, покойников тогда сильно по-

баивалась, а потому не ходила к ним в эти дни, и пишу все это со слов очевидцев.

В четверг на Святой Ивана Петровича с превеликим парадом отвезли на Смоленское кладбище и похоронили по правую руку от ворот, сейчас же за главною церковью, где вскоре над ректором Академии художеств был поставлен памятник из красного гранита, с лаконическою и вескою надписью, сочиненною Василием Ивановичем Григоровичем: «Ваятелю IX-го на X века».

Вскоре вдова Мартоса с дочерью и всеми домочадцами, призренными покойным ее мужем (из которых она никого не покинула), переехала в 4-ю линию, в розовый каменный дом против Академии, а оттуда на лето в собственный дом на Петербургскую сторону.

Мы это лето, не знаю почему, нигде на даче не жили. Папенька часто возил нас с Лизанькой к дедушке Федору Андреевичу, который жил тогда на собственной даче в начале Крестовского острова по Неве, против дачи Лаваля. Тогда это было самое модное место. В павильоне, к которому сходятся лучами все просеки Крестовского острова, всегда по вечерам играла музыка и мимо дачи деда постоянно катались в экипажах царская фамилия и весь петербургский beau-monde... Дедушкина дача от мостика с Каменного острова приходилась вторая. Это был прелестный дом: одноэтажный, с громадной террасой, укрытой тропическими растениями до самой крыши, удобный, просторный, меблированный дорогою старинною мебелью красного дерева. И что было в нем дороже всего — это окружавший его садик, буквально утопающий в розанах всех возможных сортов. Это уже была охота деда, который, говорят, выписывал красные розы со всего белого света, но в настоящее время бедный старик всей этой прелести уже не видел: у него на обоих глазах были катаракты, и он ждал только, когда доктора скажут ему, что пора ехать за границу, чтобы снять их, а покуда не видел ни зги...

Смолоду, говорят, граф Федор Андреевич был великий любитель женского пола, и до сих пор все стены спальни его на даче были еще сплошь завешаны портретами красавиц Греведоновой работы. И хотя он был совершенно слеп, но про него рассказывали, что камердинер его, Марушка, часто привозил к нему в гости из Петербурга хорошеньких француженок. Граф объяснялся с ними на русском языке, потому что не знал ни одного иностран-

ного языка, усаживал, говорят, этих «мамзюлек» около себя и говорил им:

— Марушка сказал, что ты хорошенькая! Подвинься ко мне, я проведу рукой по твоему лицу и увижу, какая ты есть такая! У меня глаз нет, так руки за них видят.

И начнет старик водить пальцами по лицу.

— Точно, носик у тебя маленький, вздернутый — это очень мило, и ротик маленький, и губки пухленькие...

И водит, водит пальцами по рожице без конца, а француженка только молча подставляет свою мордочку под старческую руку, запачканную во французском табаке...

Господи ты Боже мой, чего не в состоянии вытерпеть француженка из-за денег! Да и слепенький дедушка Федор Андреевич, нечего сказать, хорош был старичок!

Нам он всегда был очень рад. Любовь его к своему крестнику Федюше далеко еще не прошла, и всякий раз он придумывал, чем бы потешить папеньку. Раз до того расходился, что сказал:

— Знаешь что, Федюша, я хочу подарить тебе эту дачу. Я жить в ней больше не буду... Сперва съезжу за границу катаракты снять, а потом буду жить с Закревскими на их даче на Аптекарском острове, а эта дача, ты так и знай, твоя. И будущее лето ты живи в ней.

Отец мой был очень благодарен деду за этот прелестный подарок. И после точно мы много лет сряду каждое лето проводили на этой даче. Самому Федору Андреевичу подарила эту дачу со всеми ее угодьями старушка княгиня Белосельская [4], хозяйка Крестовского острова, которая приходилась ему по жене его близкой родственницей.

Дед был женат на дочери богатейшего откупщика, Степаниде Алексеевне Дурасовой, и на ее средства сделался сам богатым человеком. Она была раскольница, женщина без всякого образования, но большого природного ума. У них с дедом была всего одна дочь, Аграфена Федоровна, которую они выдали замуж за адъютанта фельдмаршала графа Каменского, Арсения Андреевича Закревского, человека совсем бедного, правда, трезвого и чрезвычайно аккуратного, но не блиставшего умственными способностями.

Выдавая дочь замуж и богато наградив ее движимым и недвижимым имуществом, Степанида Алексеевна все-таки давала мужу умный совет:

— Смотри, граф, много им сразу не давай. Пусть они

лучше смотрят из наших стариковских рук... Почтения тогда от них больше будет. Смотри же, граф, уговор лучше денег: я умру — все тебе, ты умрешь — все мне.

Да, хорошо бы было, если б дедушка никогда не забывал умного совета Степаниды Алексеевны, а то, кажется, со смертью жены и мудрые советы ее испарились из головы дедушки, и он начал передавать в руки дочери и зятя свое имущество.

Женившись на Аграфене Федоровне, Закревский, по милости фельдмаршала Каменского, который не переставал ходатайствовать за него, быстро пошел в гору: скоро был сделан финляндским генерал-губернатором, потом попал в министры внутренних дел и был пожалован в графы. Но за какое-то опрометчивое распоряжение в 1831 году, во время первой холеры, с этого места слетел и попал в сильную немилость государя Николая Павловича, которую много лет спустя мог переломить своею силою только канцлер граф Нессельроде [5]. Но об этом поведу речь после, а теперь настало время мне поведать о первом моем сердечном горе в жизни.

Все у нас в доме шло спокойно и благополучно, как всегда, и я была безмятежно счастлива. Только раз выбежала я весело встречать своего обожаемого Кукольника; он вошел в приемную какой-то странный, серьезный, совсем не похожий на себя. Я было протянула к нему обе руки и только что хотела заговорить с ним, как он поклонился мне как-то неловко и сейчас же, не сказав мне ни слова, прошел в кабинет отца моего. Меня что-то ударило точно ножом в сердце: я поняла, что с ним случилось что-нибудь новое, ужасное. Я так и замерла на месте... В голове моей завертелись вопросы: но, если с Нестором Васильевичем и случилось что-нибудь неприятное, я-то чем виновата? За что он меня так нестерпимо обидел? А тут вдруг меня подстрекнуло женское самолюбие; мне не захотелось показать ему, что я заметила его странный со мною поступок: я сейчас же скорчила равнодушное лицо, вышла как ни в чем не бывало в залу и весело начала заниматься гостями, но в сердце моем что делалось в это время, только одному Богу известно. Такой муки не желаю и врагу лютому.

Немного погодя Кукольник пришел в залу, начал, как всегда, устраивать разные игры, был очень любезен со всеми гостями и со мною говорил в общих разговорах. Но ко мне отдельно не подошел ни разу и не сказал

мне ни одного задушевного слова. Женская гордость не позволила мне даже подойти к нему спросить, что значит эта перемена, и я держала себя с ним так же, как он со мной. И с этого самого дня невинное чистое счастье ни разу ко мне не возвращалось. Осталось на мою долю только страшное горе, которое я глубоко припрятала на душе. И даже отцу и матери не пожаловалась на мое несчастье; но они, кажется, заметили перемену в обращении Нестора Васильевича со мною и очень ею огорчились; может быть, они, добрейшие мои, между собою тоже составили какой-нибудь радужный план насчет моего будущего счастья с Кукольником, и когда он у них неожиданно рушился, тоже стали грустны и печальны, но тоже молчали, потому что старание разъяснить странную перемену Нестора Васильевича в отношении меня могло бы навести его на мысль, что меня хотят навязать ему насильно, чего он, по-видимому, совсем не желал. Должно быть, это соображение возмутило гордость отца моего, и он так же, как и я, хотел показать Кукольнику, что никакой перемены в нем не заметил, и остался с ним всегда мил и ласков, как прежде, и никогда о своем тайном горе ни мне, никому не сказал ни слова.

Маменька вела себя с Нестором Васильевичем точно так же, как отец мой, совсем по-прежнему. Но, как женщина, она тоньше чувствовала и, должно быть, понимала мои страдания, потому что ее глаза не переставали следить за мною. И если она не говорила мне об этом ни слова, то только потому, что не могла ничем помочь моему горю, и я ей за это была сердечно благодарна, потому что тогда жизнь моя была разломана на две половины и ничем даже не напоминала моего прежнего безмятежного счастья. Днем женская гордость моя заставляла меня притворяться спокойной, веселой, обманывать себя и других, а по ночам от невыносимого горя — обливаться горючими слезами. Все это было так не похоже на меня, нервы мои были так натянуты, что стоило только маменьке спросить меня: «Маша, что с тобой?» — и я бы разразилась потоком неудержимых слез, измучила бы мать мою, а горю нашему все-таки мы обе ничем бы не помогли.

Кукольник все это время не переставал быть «душою компании» в нашем доме, был мил, равно любезен со всеми. И все дамы и кавалеры были от него в восторге. Я одна только между всеми знала, что Нестор Васильевич

не то для меня, что был прежде, и мукам моим не было конца.

Но я так заболталась о своих радостях и горестях, что даже перестала считать свои года; совсем забыла упомянуть, что вскоре после появления Кукольника в нашем доме мне минуло мои желанные шестнадцать лет, а теперь, в 1834 году, 30 октября, стукнули и все 17 лет. В этот день папенька, для того, чтобы повеселить меня, устроил танцевальный вечер; была даже взята бальная музыка Финляндского полка, что прежде составляло для меня особенное блаженство, но теперь сердце мое от этого нисколько не дрогнуло. Все гости наши веселились, танцевали до упаду, и я старалась быть веселее всех и танцевать больше всех, но на душе у меня от этого не было весело: я танцевала без устали, точно кукла, которую завели, и она вертится без сознания. Вместо ужина подавали маменькины гомерические блюда с тартинками; пробки от папенькиной чудной водянки летели в потолок; кавалеры угощали дам, усаживаясь с ними по уголкам, ели с аппетитом и подставляли с восхищением узенькие бокалы под шипучую влагу нашего доморощенного шампанского. Помню, что и меня кто-то угощал, но есть я уж не могла, это было выше сил моих: у меня весь вечер было стянуто горло какою-то судорогой, и мне думалось только: ах, кабы поскорее все ушли! Я бы убежала в нашу комнату и упала бы на мой диван; ведь мне хочется плакать, а нельзя; я должна быть веселой и танцевать. И точно, этим еще не кончилось мое терзание; я еще протанцевала котильон, носилась в шумном гроссфатере, и это был еще не конец. Старички еще потребовали для себя свой собственный классический кадриль, составили его сами и протанцевали не спеша, со всеми онёрами, ригодонами, pas de пижонами, pas de басками и антреша [6]. Во всех этих старинных танцевальных премудростях отличался лучше всех мой дорогой дядя, Константин Петрович, увешанный орденами за войну 1812 года. Видно, недаром в 1798 году, когда дядя Костя, служа в Рязанском мушкетерском полку, в капитанском чине, делал шведскую кампанию, и ему удалось где-то танцевать с шведскою королевою, ее величество выразилась про него так: «Этот молодой человек прелестно танцует!» И теперь, через 36 лет, каждый прыжок старого графа под сводом академической нашей залы сопровождался громкими аплодисментами. Правда, что няня Матрена Ефремовна не была согласна с мнением

шведской королевы и стояла на своем, что Костинька настоящая ступа. Но ведь Матрена Ефремовна во многом и со многим никогда не была согласна; но уж с этим ничего не поделаешь, это дело ее века.

Наконец, кончилось торжество моего рождения; гости разъехались. Я пошла лечь, поплакать, и этим только развязала мучительный узелок, который весь вечер стягивал мне горло. На другое утро я опять была весела.

Помню, что утром маменька, разливая наш чай, была что-то очень грустна, и темы ее разговора со мной и сестрой Лизанькой были какие-то печальные.

— Как бы я желала, чтобы хоть одна из вас вышла замуж, тогда бы я была покойна и за другую,— грустно говорила она.

— Да мы обе ни за что не выйдем замуж: коли одна выйдет, то другая останется с вами,— крепко целуя маменьку, сказала я.

— Разумеется, мы никогда не оставим вас одну,— добавила Лизанька со слезами на глазах.

— А если я от вас уйду? — вдруг спросила маменька.

И тут уж мы обе начали плакать.

— Не плачьте, это ведь в натуре вещей, чтоб мать умерла прежде дочерей. Я прошу у Бога одной милости, чтобы он дозволил мне умереть ударом, чтоб я умерла, не зная, что расстаюсь с вами. Знать это для меня будет слишком мучительно.

— Маменька, как вы — христианка, а говорите такие ужасные слова, значит, вы хотите умереть без покаяния? — прервала Лизанька маменьку.

— Мне кажется, что достаточно стараться жить так, чтобы всякую минуту быть готовой к смерти. Но простите меня, мне взгрустнулось, и я наговорила чего не надо и вас расстроила. Утешьтесь, Бог даст, я еще поживу с вами,— ангельски улыбнувшись нам, сказала маменька, поцеловала еще раз Лизаньку и меня, по-видимому, успокоилась, и опять жизнь наша потекла по-прежнему.

До сих пор я живо помню это грустное утро. И если б мы тогда могли знать с Лизанькой, сколько оно пророчило нам горя в скором будущем, то, верно, не успокоились бы так легко.

Конец 1834 года у нас прошел не совсем благополучно. Старушка, папенькина няня, Матрена Ефремовна, собралась скончаться от старости и сама этому не хотела верить, бунтовала до конца; когда тетя Надя увидела, что дело плохо, и послала позвать к умирающей нашего

академического священника, и он явился со Святыми Дарами, Матрена Ефремовна рассердилась и встретила доброго отца Василия словами:

— С чего ты взял, что я умираю? Я умирать не хочу, я буду жить, и приобщаться не буду... Убирайся отсюда вон! Жить хочу, жить!..

И так никто не мог ее уговорить покаяться в грехах, и она, спровадив от себя батюшку, скончалась без исповеди. Читатель уже знает, с каким почетом похоронил ее отец мой.

Вскоре после смерти Матрены Ефремовны пришло время покинуть Божий мир и старушке Прасковье, жене того бобыля, который предал добро господ своих французам и которого и французы, и свои русские мужички забили до смерти. Маменька призрела у себя несчастную бобылиху, жену его, с двумя ребятами, мальчишкой Ванькой и девочкой Грушей. И вот ей суждено было умереть у нас в доме. Но как несчастливо умерла бедная верующая старушка: она умоляла позвать к ней батюшку, чтобы исповедать и приобщить ее, но отец Василий отчего-то не поторопился прийти к ней, и бедная женщина скончалась в страшном горе о том, что умирает с неразрешенными грехами на душе. И Прасковью похоронили на Смоленском кладбище, подле Матрены Ефремовны. После старой бобылихи у маменьки на руках остались двое ее сирот: прекрасная девочка Груша и страшный негодяй мальчишка Ванька, который впоследствии столько наделал хлопот отцу моему и всему нашему семейству.

Канун нового 1835 года встретили у нас чем-то вроде маскарада. Мы и все дамы в этом году не наряжались, но зато приходило много наряженных из учеников Академии и также приезжало много знакомых в прелестных костюмах. Очень умно и мило был наряжен «старым 1834 годом» скульптор Рамазанов. Он изобразил из себя древнего седого старца в рубашке, обвешанного с головы и до ног старыми объявлениями и газетами за прошлый год, и печально с старенькой поломанной дубинкой в руке бродил по нашей зале в ожидании нового года. Как только зашипели часы, чтобы начать бить полночь, в залу влетел «новый 1835 год», Нестор Васильевич Кукольник, одетый в новенький с иголочки светло-сереньский фрак, с большим букетом свежих роз в петлице фрака. Влетел и прямо кинулся весело обдирать со старого 1834 года все отжившие свое время объявления

и новости, а самого беззащитного старца схватил поперек сгорбленного туловища и без церемонии выкинул за дверь залы. Все это безжалостное торжество нового над старым совершилось по-театральному — в одно мгновенье ока; часы били еще первые свои удары на новый год, когда о старом годе не было уже и помину. А новый со свежими розами, стоя один в торжественной позе посреди залы, проворно вынимал из своих новых карманов и кидал в публику новые, своей стряпни, четырехстишия с пожеланиями и пророчествами на новый 1835 год. Лакеи разносили на подносах в бокалах папенькину водянку, она шипела и поднималась белою пеною; гости пили ее, целовались, и все в зале кипело жизнью и весельем... Все, сами не зная, кажется, почему, с таким восторгом встречали неизвестный еще никому новый год. Я одна знала, почему с грустью провожала мой милый старый год: я чувствовала, что все, что было в нем мне дорогого, ушло от меня навсегда.

Нестор Васильевич в этот вечер, можно сказать, был неистощим. Он придумал еще для папеньки сюрприз: говорящие живые картины. Я попала в картину «девять муз и Аполлон». Кукольник должен был представлять Аполлона, вдовушка Глинка и нас восемь барышень получили роли девяти муз. Меня Нестор Васильевич назвал Мельпоменой, дал мне маску, кинжал и сунул в руку бумажку, на которой было написано:

Мельпомена восклицает
И в трагедьи возрыдает...

И так каждой из девиц он роздал атрибуты той музы, которую она должна была изображать, и стихи, которые ей следовало сказать. Сам же взял в руки бумажную лиру, стал в середину, а нас всех поставил кругом себя в разные подходящие сюжету позы. Я сначала храбрилась, но когда Нестор Васильевич приподнял мне руку, прикрыл мне маскою пол-лица и показал, как держать кинжал, у меня вдруг потемнело в глазах, я забыла все: кто я? что я? и думала только об одном: он выбрал для меня атрибутом маску и кинжал, значит, он думает, что я коварная и злая. Что я сделала? За что еще эта новая обида?

Кукольник начал декламировать с анфазом [7] уморительные стихи Тредьяковского. Кто-то сбоку мне подсказал: «Машенька, вам говорить!» — и я решительно не

помню, как я, вместо того, чтобы «восклицать и возрыдать», как следовало Мельпомене, едва слышно проговорила мои стихи и вдруг почувствовала, что кто-то крепко поцеловал меня в голую шею и добрым, тихим голосом сказал мне на ухо: «Маша, ведь Мельпомена его муза». Я сейчас узнала родной мне голос: это была маменька, которая хотела ободрить и поддержать меня в ту минуту, когда я теряла силу. Дорогая моя не выдержала, проговорилась и показала мне, что она все знает и страдает вместе со мною. От слов ее я сейчас ожила и поняла, что я — Мельпомена, муза трагедии; значит, я его муза. Я точно прозрела; давно покинувшее меня счастье вновь ворвалось в мою больную душу. Вообще ночь нового 1835 года открыла мне много нового. После ужина, когда я присела на диван, чтобы отдохнуть от галопа, в котором кавалеры затаскали меня,— представьте себе мое удивление,— Нестор Васильевич вдруг очутился около меня и прежним задушевным голосом заговорил со мною:

— Марья Федоровна, я пришел сказать вам, что я еду ставить на Московском театре мою «Руку Всевышнего».

— Когда? — едва выговорила я, совсем позабыв в эту минуту роль моего напускного равнодушия.

— Завтра. Прощайте, не поминайте лихом...

Я ничего уже не могла сказать ему; слезы поднялись, душили меня, я вскочила и убежала от него в нашу комнату, где по старинному обычаю для гостей, которые должны были остаться ночевать у нас, свалены были на ковер перины, тюфяки, подушки. Я как только вбежала туда, сейчас же налетела на них, упала со всех ног и разразилась неудержимыми рыданиями и вдруг над собою услышала опять его голос:

— Марья Федоровна, не плачьте, не разрывайте мне душу. Ведь я так же страдаю, как и вы. Верьте мне, что во всем, что случилось, не я виноват. Как честный человек я должен был поступить так, как я поступил. Молю вас, не обвиняйте меня. Нашли, что мы с вами оба еще слишком молоды, чтобы нам усесться на место. После вы узнаете все и сами скажете, что я был не виноват.— Задыхающимся голосом он все продолжал что-то мне говорить, и мне показалось, что и он тоже плакал. Это уже было выше сил моих, и я начала его умолять, чтобы он ушел от меня, не мучил меня, оставил меня одну.

После этого я услышала над собою еще одно только слово: «Прощайте!» Дверь в комнату, где я лежала на полу между перин, захлопнулась, и я очутилась в совершенной темноте. И странное дело: вместо того, чтобы продолжать разрываться и плакать, у меня вдруг стало гораздо легче на душе; я сейчас же привстала и начала припоминать все, что сказал мне Нестор Васильевич, и каждое слово его отозвалось во мне давно забытым счастием. Он невиновен в том, что между нами случилось; значит, его кто-нибудь вынудил поступить так, как он поступил; он страдает вместе со мною; значит, он еще любит меня. С меня этого было довольно; только бы мне не думать, что он совсем разлюбил меня, а если на нас с ним вместе обрушилось что-то ужасное, для меня непонятное, то страдать и молчать я сумею всегда. Так, сидя впотьмах, рассуждала я и так сумела утешить и успокоить себя, что даже скоро, как ни в чем не бывало, с душою, полною светлых надежд на будущее, вышла в залу. С этой минуты у меня вдруг отпала охота обманывать себя и других, казаться шумно-веселой, когда у меня на душе кошки скребли. Я стала ровнее, тише, натуральнее и почувствовала себя гораздо лучше. Да и воскресное общество наше во многом изменилось: приятельницы мои, академические девицы, как-то отстали от нас, стали бывать у нас гораздо реже; у всех у них завелись свои интересы. У Мартосов в доме неожиданно разыгралась драма: смирная вдовушка Катенька Глинка, которую мать по-прежнему держала около себя на привязи, как маленькую девочку, как-то сворковалась со скромным, тихим поверенным в делах Авдотьи Афанасьевны Федором Петровичем Крашенинниковым, они полюбили друг друга не на шутку. Он, не предвидя беды, как человек сам с хорошим состоянием, посватался к Катеньке. Авдотья Афанасьевна взбеленилась, приписала это сватовство тому, что Федор Петрович хочет жениться на ее дочери потому, что, занимаясь их делами, выведал, сколько у вдовушки денег, и хочет жениться не на ней, а на деньгах. Вспыльчивая, влюбленная в дочь свою Авдотья Афанасьевна побранилась с Федором Петровичем хуже, чем с бароном Клодтом, и объявила ему, что покуда она жива, ни за что на свете не отдаст свою Катеньку за человека, который женится на ней только ради интереса. Отказала ему наотрез и со скандалом выгнала его из своего дома. Обиженный этим поступком, Федор Петрович вы-

шел в отставку и уехал в свою деревню. Слабохарактерная, привыкшая к вечной покорности, вдовушка осталась по-прежнему в полной власти матери; но, разумеется, ей было уже не до того, чтобы ходить по гостям: она заперлась у себя дома и только потихоньку плакала по уголкам.

Моя приятельница Дуничка Егорова в это время находилась вся «в амурах и зефирах» с будущим своим мужем, учеником старшего класса Академии художеств, скульптором Теребеневым, тем самым, который после так изукрасил Императорский Эрмитаж своими кариатидами и статуями. Ну, и этой счастливой тогда чете, разумеется, было не до нас.

У Алексея Егоровича около этого же времени прибыл новый очень выгодный заказчик, известный богач генерал Шепелев, который заказал написать с себя портрет Егорову, аккуратно ездил к нему на сеансы, оставался более чем доволен работою профессора, не переставал присылать ему и жене его Вере Ивановне богатые подарки, а дочкам их брал ложи во все театры и присылал за ними свою богатую, нагруженную конфектами, карету. Алексей Егорович был от этого в восхищении и почти всякий вечер отпускал своих барышень, под конвоем ученика своего Миши Скотти, повеселиться на даровщинку в каком-нибудь театре. Говорят, что гувернерство над дочерьми его профессора сильно надоедало Мише и, по словам самих девиц, он во время этих увеселений обращался очень жестоко с двумя меньшими девицами, Верочкой и Соничкой; сидя важно в обитой белым атласом карете, он беспрестанно на них покрикивал:

— Ну, вы, деревенщина, сидите смирно; нечего в окошко выглядывать: чего там не видали? Да не жрите так много конфект, еще у вас животы заболят, а мне придется вас разваживать. Так вы и знайте, что я вас брошу тогда; я срамиться из-за вас не намерен.

И несмотря на все эти дерзости Скотти, бедные девочки с жадностью кидались на все эти новинки; и очень понятно, что им в театрах было веселее, чем у нас, тем более что у нас тогда мало танцевали, а все читали, рассказывали что-нибудь новенькое, интересное, или занимались музыкою.

К нашим воскресным гостям прибавилось еще несколько литераторов и музыкантов. Между литераторами появился у нас тогда уморительный немец, барон Ро-

зен [8], тот самый, который после на своем ломаном русском языке сочинял забавные либретто для русских опер. Помню, что около этого времени появился у нас в первый раз молодой певец Осип Афанасьевич Петров [9] и еще совсем юная певица (почти еще девочка) Анна Яковлевна Воробьева [10], которую тогда мучила и терзала театральная дирекция. Помню, что у бедной девушки тогда умерла мать и, несмотря на это, убитую горем Анну Яковлевну безжалостно заставляли петь в это время на сцене. Помню, как отец мой, маменька и тетки мои старались приголубить ее в это тяжелое для нее время.

Осип Афанасьевич Петров и Анна Яковлевна Воробьева часто пели у нас и приводили всех в восторг своими молодыми чудными голосами. Петров, вероятно, тогда и не предполагал, что эта голосистая маленькая худенькая девушка сделается со временем его женою.

Нестор Васильевич Кукольник точно скоро возвратился из Москвы, и у нас по воскресеньям стали больше всего заниматься музыкой и пением. Тогда же всегдашним нашим воскресным гостем сделался и Михаил Иванович Глинка, который в это время задумывал уже свою оперу «Жизнь за царя», и все, что напишет новенького, играл и пел у нас сам. С Кукольником они были большие друзья, и дружба эта не кончилась до самой смерти Глинки [11].

Я хорошо помню Михаила Ивановича Глинку в это время: он был маленький человечек, с большим хохлом волос на голове; ему, кажется, очень хотелось быть большим: он все привставал на цыпочки и вытягивался, держал голову высоко и правую руку важно закладывал между петлиц своего сюртука. Но все это «великому человеку» росту на взгляд не прибавляло; он все-таки казался «маленьким» человечком. Хорошего большого голоса я что-то у него не помню, и когда он пел и старался выразить что-нибудь с особенною силою, то всегда натуживался.

Но так как мне придется впереди много еще рассказывать про Глинку, эту восходящую звезду первой величины, про дружбу его с Кукольником и впоследствии с мужем моим, Павлом Павловичем Каменским, который много лет сряду был с ними неразлучен,— то, чтобы не повторяться, оставлю покуда Михаила Ивановича и поговорю о том, что случилось раньше.

Вернувшись из Москвы, Кукольник начал себя вести со мною опять так же, как он вел себя до нового года, и никакого больше сближения между нами не произошло. Точно он боялся у нас в доме показать свое доброе чувство ко мне. Я тоже с своей стороны не делала ни одного шага к сближению, и так мы с ним зажили опять, по-видимому, совершенно равнодушные друг к другу. О заветной ночи под новый год и помину больше не было.

В эту же зиму пленились нашими воскресеньями и стали бывать у нас часто Василий Андреевич Каратыгин и жена его Александра Михайловна [12], два знаменитые артиста того времени, которые прежде привозили только в подарок моим родителям билеты на свои бенефисы, а теперь вошли в состав нашего самого интимного общества.

По-моему, чудный актер Василий Андреевич Каратыгин вне сцены представлял из себя мало интересного; для простой комнаты он был как-то слишком громаден, говорил оглушительным голосом и вообще не мог отделаться от привычных ему театральных эффектов, которые на сцене были у места, а в гостиных казались дикими. Глубоко вдумчивый актер, строгий исполнитель всего, что требовало от него лицо, которое он изображал, важный, благородный, картинный во всяком своем движении,— он вне кулис делался необыкновенно тих, молчалив и терял решительно все свои достоинства, кроме телесной своей громадности. Какая разница — жена его, Александра Михайловна, дочь знаменитой танцовщицы Колосовой! Куда ее ни посади, везде была у места; попадет она, бывало, к бомондным людям, и там, бывало, кого угодно своим умом и любезностью «за пояс заткнет», попадет она в круг артистов, людей «погривуазнее», и там найдет и сумеет насмешить и распотешить всех. Короче сказать, как хороша она была на сцене в роли греческой строгой женщины, как она была мила в роли веселенькой жены адвоката, так же отыгрывалась она во всякой домашней обстановке, куда ее нечаянно забрасывала судьба. По своей наружности, по образованию, по чисто французским туалетам, она тоже, если бы захотела, не дала бы ходу ни на волос перед собой ни одной женщине. Я не знаю, как другие, а папенька, кажется, был влюблен в мужа и жену Каратыгиных, а я в одну Александру Михайловну. И все кавалеры были с нею тише воды ниже травы. Особенно побаивался

ее наш молодой поэт Кукольник; у него со знаменитой актрисой на подмостках вышла большая неприятность. Давали в первый раз какую-то драму Нестора Васильевича, если я не ошибаюсь, это была «Елена Глинская». Еще за сценой бунт, народ орет, кричит... Бьют в колокола, хотят убить эту Елену... Ночь, она одна на сцене, мечется, молится, дает обещания делать добрые дела, служить во всех церквах молебны и затем кричит: «Колокола, московские колокола!..» Она кричит, а колокол хоть бы один в это время звякнул; полное молчание!.. Видно, люди, приставленные к колоколам, ушли и забыли о них думать. В партере поднялся хохот. Можно себе представить, что происходило в душе актрисы в это время. Наконец упал занавес. Александра Михайловна только накинула на себя салоп, захватила в руку свой неизбежный лорнет (она была близорука) и полетела в уборную к мужу с жалобой. Василий Андреевич в эту минуту успел спустить с себя последнюю рубашку и совершенно голый, сидя перед автором, обливался одеколоном. Увидав жену, он испугался, вскочил с места и сконфуженно закричал:

— Александра Михайловна, побойтесь Бога, зачем вы вошли? Я в таком виде...

— А черррт тебя возьми (Каратыгина сильно картавила), в каком ты виде! Я не к тебе пришла, а к этому мальчишке! — заорала она громче мужа, указывая лорнетом на Нестора Васильевича, который хотел улизнуть от нее за кулисы; она загородила ему дорогу.

— Врешь, мальчишка, не уйдешь! Я тебя не выпущу!..— начала кричать она, совершенно выйдя из себя, махая перед носом Кукольника своей лорнеткой.— Коли ты, щенок этакой, пишешь дрррамы с колоколами, так ты стой у меня около них и сам звони!..

При этом лорнетка вырвалась у нее из руки, полетела и больно щелкнула в большой нос Нестора Васильевича. С тех пор он, бедный, стал так ее бояться, что всякий раз, как давали эту несчастную «Елену Глинскую», он выскакивал из-за стола и летел звонить в закулисные колокола...

— Пустите меня, пустите! Мне нельзя,— всегда говорил он,— Александра Михайловна барыня властная...

Не могу еще никак воздержаться, чтобы не сказать, как Каратыгина раз уморила отца моего за ужином, рассказывая ему про свою страсть к русской бане.

— Для меня, дорррогой гррраф, русская баня дорррожe всего. Не надо мне ни концеррртов, ни оперрр, а только пустите меня в баню, и я буду на седьмом небе... У меня там есть прррелестная старушка, которая меня моет; она было вообрразила, что я баррыня, и стала меня мыть очень деликатно, но я ее выучила: послушай, милая старрушка, говорррю я ей, я так нежно не люблю; ты мой меня так, как ты моешь свой пол, кррепче, не жалей! И с тех пор это один восторррг, как она меня моет. Один рраз она, видно, желала угодить мне и сделала со мною одну штучку, которую я — умирать буду — не забуду. Вообррразите, граф, что это мое брюхо! — при этом Александра Михайловна своими белыми руками, в бриллиантовых кольцах, разостлала свою салфетку.— Потом вдруг схватила меня пальцами за самую серрредину и начала веррртеть, как бурравом, а потом подняла рруку и прристукнула меня в то же место, что есть силы, кулаком. Я заорала, как белуга, а она говоррит: «Ничего, матушка, это очень здорррово». Какова прелестная старушка, ей кажется, что это очень здорррово, но я ей говорррю: делай со мною все, что хочешь, кррроме этой ш т у ч к и!.. Что бы было, если б эту прелестную старушку пустить в Паррриж с этой ш т у ч к о й? Как вы думаете, гррраф? Ведь что ррусскому здорррово, то немцу смерть, а фррранцузу и подавно!..

Быстро пролетело время от нового года до весны. Я почти все сидела дома с сестрой Лизанькой и с маменькой, которые обе что-то нехорошо себя чувствовали. Бедная Лизанька все страдала глазами; ей открыли фонтанели на руках; нервы ее были сильно расстроены. Но как только ей делалось немного получше, она сейчас принималась за дело: много читала, переводила с английского и работала на бедных. Кроме того, у нее были странности, которые можно было приписать только болезненному состоянию ее здоровья: как только она оставалась одна, ей сейчас же начинало что-нибудь чудиться, и так ясны были видения, что разуверить ее в том, что этого на самом деле нет, было невозможно. То, бывало, поднимется она снизу к теткам наверх и скажет:

— Где у вас тот старичок, что шел передо мной на лестнице?

— Нет, душа моя, у нас нет никакого старичка. Тебе это показалось,— ответят ей, бывало, тетки.

— Вот прекрасно! Да ведь я вам говорю, что я за ним шаг за шагом поднималась по лестнице, и он вошел к вам. Седой такой, в коричневом сюртуке... Еще меня так удивило, что на нем сюртук сшит, как французский кафтан.

То ей виделась девочка в локонах и в розовом кушаке. Один раз она меня на улице страшно испугала. Пошли мы с нею что-то купить в Андреевский рынок; шли, шли мы рядышком, вдруг она от меня отстала; я обернулась, смотрю, а она стоит на тротуаре одна-одинешенька и о чем-то горячо разговаривает, и, представьте себе, на немецком языке, который она ненавидела и всегда заявляла, что не понимает на нем ни слова. Я вернулась и спросила ее:

— Лизанька, что ты это одна тут разговариваешь?

— Молчи, не мешай! — махнула она мне рукой; сказала еще слова три по-немецки, побледнела вся как полотно и вдруг пустилась опрометью бежать назад в Академию.

Я нашла ее уже в комнате теток, всю в слезах. Она рассказывала им, что сейчас встретила немца, и он сказал ей, что маменька наша умрет нынешним летом, или в мае, или в сентябре.

— Лизанька, ты ведь не понимаешь немецкого языка, тебе это все почудилось,— уговаривали ее тетки, стараясь успокоить.

Но утешить ее нельзя было: она верила в страшное предсказание какого-то человека, которого совсем с нею и не было.

В начале мая дедушка Федор Андреевич прислал папеньке сказать, что наша дача на Крестовском острове совсем готова и что мы можем переехать, если хотим. Действительно, мы скоро переехали.

В середине мая маменька вдруг опасно захворала необыкновенною болезнью, которую доктора назвали столбняком. Она сидела на кресле точно как окаменелая, ничего не говорила, не просила, даже кормить ее доктор Шестаков должен был силою, пропуская ей в рот пищу. Все мы были в отчаянии. Лизанька верила в предсказание и всякую минуту ждала смерти бедной матери нашей; но на этот раз нас помиловал Бог. Приглашенный известный доктор вместе с Андреем Егоровичем спасли нашу дорогую... Она скоро поправилась и даже поздоровела к концу лета, так что мы все успокоились.

Я положительно была в восторге от дачи, от массы розанов, в которых она, можно сказать, тонула. Кроме того, я много гуляла и часто ходила в гости к madame Lioseun, которая занимала тогда место воспитательницы при девицах Чертковых [13] и жила на Каменном острове. Уморительный был со мною случай в одно из моих путешествий к Чертковым. От нас к ним надо было пройти недалеко по берегу Невы, между стриженых акаций. Иду я, задумавшись, и вдруг слышу, что на террасе дачи княгини Голицыной какой-то странный охриплый голос кричит: «Княгиня, княгиня! Позовите сюда эту хорошенькую барышню, что мимо идет. Это дочка вашего соседа, графа Толстого, того самого, что зимою, в лентах и орденах, с прачками белье чрез Исаакиевский мост возит».

Я взглянула на террасу и увидела целую публику, которая с любопытством вглядывалась в меня, да еще маленькую старушку в запачканном черном коленкоровом платье и в чепце; она-то и приказывала княгине меня позвать. Я переконфузилась, прибавила шагу и скоро дошла до дачи госпожи Чертковой. У меня все время не выходило из головы: отчего эта старушка узнала меня? И отчего же говорит, что мой отец с прачками белье возит? На другое же утро мне Бог послал всему этому разгадку.

Только успела я войти в наш садик, как ко мне в калитку вошла та же самая женщина в чепце, которую я видела вчера на террасе у княгини Голицыной. Она вошла, очень важно и жеманно присела передо мною и проговорила на французском языке:

— Bonjour, comtesse! Я — Оленька, меня все любят, я у всех бываю и к вам пришла, теперь я голодна и потому я называюсь Оленькой, а когда я поем, я буду Ольга Ивановна! Chère comtesse, donnez moi petit morceau de quel que chose... * мне кушать хочется.

Я сейчас же побежала, принесла ей на тарелке вчерашнее жаркое, хлеб, вилку, ножик и поставила все это перед ней на балконе.

— Нет, перенесите сюда на скамеечку; я под крышкой не вкушаю, я боюсь: она может обрушиться и убить меня, и этого тоже не надо, унесите: я этого тоже боюсь,— и она отодвинула от себя ножик и вилку.

---

* Здравствуйте, графиня... Дорогая графиня, дайте мне кусочек чего-нибудь... (*фр.*)

Я поспешила исполнить ее желание, и она с аппетитом начала есть руками, сидя на скамеечке.

— Вот теперь вы можете меня называть Ольгой Ивановной, потому что я совсем сыта.

Меня сильно разбирало любопытство узнать, что это она говорила про моего отца, что он с прачками белье возит. Я ее спросила:

— Что это, Ольга Ивановна, вы вчера говорили, что мой отец в ленте и орденах с прачками белье возит? Вы разве это видели?

— Видела, ma chère, видела. Граф идет, шуба распахивается, лента и ордена все видны, а он впрягся с бабой в салазки и мокрое белье везет. Как же, разумеется, я это видела! Je ne mens jamais *,— отрапортовала мне Оленька.

После я пристала к папеньке, чтобы он мне сказал, что это все значит, и он мне со смехом ответил:

— Точно, это со мною один раз случилось: шел я в 9 часов утра к государю. На Исаакиевском мосту была гололедица страшная, и какая-то баба никак не могла стащить с места салазки с мокрым бельем; ну, я ей помог, вот и все.

Прелестный человек, как у него это все просто делалось: «Я ей помог», и конец. Скоро эта помешанная Оленька сделалась и нашей постоянной гостьей. После уже дедушкин садовник объяснил мне, кто такая эта странная Оленька. Оленька, или Ольга Ивановна, по словам его, была бедная дворяночка, определенная какими-то благодетелями на мещанскую половину Смольного монастыря. Там все у нее шло благополучно, покуда к несчастной девушке не стал ездить на прием какой-то франтик, который стал за нею сильно ухаживать, влюбил глупую девочку в себя, уговорил ее после выпуска бежать с ним, что она, очертя голову, и сделала. А после оказалось, что этот франтик не что иное, как беглый крепостной лакей какого-то важного барина. И роман этот кончился тем, что лакей женился на монастырочке, спился с круга, в пьяном виде ранил свою жену топором по черепу; и хотя ее тогда вылечили, но разума ей уж не вернули, и она осталась на всю жизнь любимицей знати, «забавной дурочкой Оленькой». От этой злосчастной раны верно и остался у нее навсегда панический страх к ножам и ко всему острому.

---

* милая... Я никогда не лгу (*фр.*).

Ах, я и забыла сказать, что дедушка Федор Андреевич Толстой, уезжая за границу снимать свои катаракты, вместе с дачей наделал отцу моему еще много подарков: во-первых, он купил для него чудную верховую лошадь, жеребца арабской породы, Гектора; потом подарил еще ньюфаундлендскую собаку Зюлему, которая у него всегда жила при этой даче; еще для балкона большой дорогой телескоп и наконец шестивесельный морской катер, чтобы кататься в нем по Неве. Дедушка хорошо знал вкусы своего крестника, а потому и все его подарки пришлись отцу моему по душе. Особенно влюбился папенька в своего красавца Гектора и всякий вечер гарцевал на нем перед публикой. И эта огневая лошадь слушалась его, как маленькая собачка. Очень я любила смотреть, как он удивляет всех своею молодецкою ездой. И ведь какой он был хитрый: как только никто ему не попадается навстречу, Гектор идет себе смирно, не ворохнется. Но только завидит папенька где-нибудь вдали людей, и в особенности дам, так этот страшный конь и взбесится, и пойдет выкидывать разные штуки, и становится на дыбы. Тут-то отец мой и сидит на коне, точно из одного куска с ним вырублен, и покоряет разъяренное животное своей воле. И публика, бывало, дивится, а встречные знакомые даже ему аплодируют. Я этого очень боялась, но тетки мне открыли за тайну, что папенька нарочно потихоньку бесит своего Гектора, а потом усмиряет его, и что это ему ничего не стоит.

Ньюфаундлендку Зюлемку, дочь почтенных, украшенных медалями, родителей, папенька тоже залюбил без памяти и всегда купал ее при дамах сам. Но зато, когда мужчины наши ездили на катере купаться на Лавалев берег, то эту свободную американскую гражданку принуждены были покрепче запирать в сарай, а то она никак не могла привыкнуть к тому, что на Неве ей не надо спасать купающихся людей. И из этого выходили постоянные скандалы: чуть, бывало, недоглядят, Зюлема тут как тут, схватит какого-нибудь несчастного купальщика за волосы и давай его спасать.

Да и последний подарок дедушки, чудный телескоп, у нас на террасе составлял положительное блаженство всех кавалеров. Бывало, у них из-за него дело доходило чуть не до драки: всякому хотелось завладеть им прежде другого и навести его на купальщиц на Лавалевой даче[14]. И как только счастливец наведет его, так ему и кажется, что все эти голые женщины совсем около

него, тут у нас на террасе. Дивный был телескоп. После, когда папенька ставил его на крыше Академии и смотрел на город Кронштадт, то ясно были видны все улицы и люди, которые по ним ходили. Помню, что я, грешница, раз рано утром, когда на террасе у нас никого не было, тоже навела телескоп на Лавалев берег, и представьте себе, как я испугалась, когда совсем около меня очутились Василий Андреевич и Александра Михайловна Каратыгины, которые, пользуясь утречком, изволили купаться на Неве «maritalement» *, вдвоем. Уморительно, как-то особенно нежно, Александра Михайловна поливала своего мастодонта-мужа водою из детской кружечки.

Но сколько я ни тяни рассказ про это для меня сравнительно веселое лето, все-таки мне придется переехать с него на самую ужасную осень в моей жизни. Пятнадцатого августа мы, как всегда, переехали с дачи, а семнадцатого сентября, в день именин тети Нади, в 12 часов утра, сбылось страшное предсказание Лизанькиного немца и маменькино страстное желание умереть так, чтобы она не знала, что расстается с нами. Так и случилось: в 12 часов после завтрака маменька, как всегда, легла немного отдохнуть и не проснулась больше. Совсем никем неожиданный сильный нервный удар унес ее от нас навсегда. Позванные доктора ничем не могли помочь ей; все уже было кончено.

Сестру Лизаньку и меня в каком-то одурении утащили наверх, в комнату теток. Скоро прибежал к нам и папенька и попросил у теток позволения приютиться в комнате покойной бабушки Марии Степановны, чтобы быть ближе к нам. Мы с сестрою сейчас же жалко прижались к нему и не отходили от него все это ужасное время. Странное дело, что слабенькая болезненная Лизанька перенесла этот страшный переворот в жизни нашей гораздо тверже, чем я, полная здоровая девушка. Она могла ходить на панихиды и плакать, и молиться; я же пробыла все три дня, покуда маменька стояла у нас в зале, в каком-то одеревенении, не могла ни жалеть маменьку, ни плакать, ни молиться. И только поутру 21 сентября, в день похорон, когда я увидала тетушку Прасковью Васильевну Толстую и кузин моих, Лизаньку и Сашеньку, из груди моей вырвалось первое страшное рыдание. Помню, что добрейшая тетя Надя, которая очень любила из себя представлять «esprit

---

* «по-супружески» (*фр.*).

fort» *, очень рассердилась на меня за это шумное проявление моих чувств, даже закричала на меня: «Машенька, нельзя ли без этих театральных эффектов! Я этого терпеть не могу!» Я страшно обиделась и сейчас же спряталась от нее под папенькино теплое крыло. И он, и тетушка Прасковья Васильевна сейчас же заступились за меня и уняли порыв благоприличия тети Нади.

21 сентября в этом году было так жарко, что мы все шли за гробом маменьки в одних платьях. Помню, как добрейший профессор Петр Григорьевич Редькин [15], идя с нами, сказал: «Этот тихий теплый день — живое изображение характера покойницы-графини». Народу на похоронах маменьки, особенно бедных, которых она всю жизнь свою не переставала поить-кормить, было столько, что, казалось, некуда было яблоко бросить. И все эти бедные с громкими благословениями провожали благодетельницу свою до Смоленского кладбища.

Есть у нас, у русских, поверье, что «Беда одна не ходит, а беда за собою беду ведет». Так и у нас случилось: не прошло с маменькиной смерти полгода, как наша вечная страдалица сестра Лизанька отправилась вслед за ней, в злейшей скоротечной чахотке. После смерти маменьки Лизанька, полная надежды еще выздороветь, если к ней пригласят доктора Оверлаха, опять пристала к отцу моему с этой просьбой. Он на этот раз нашел, что жестоко будет отказать ей в ее желании, и Оверлах был приглашен. Но тут уже пришел черед исполниться предсказаниям нашего старого друга, Андрея Егоровича Шестакова. Молодой доктор слишком поусердствовал, желая сильными средствами подогнать запоздавшую натуру, и добился этим только того, что подкошенные прежде продолжительными болезнями силы бедной страдалицы не выдержали, и она 10 февраля 1836 года, 24-х лет от роду, в страшных страданиях отдала Богу душу. Все время болезни несчастной сестры моей я была с нею неразлучна, и памятны мне до сих пор все ее муки и ее последняя улыбка, именно переходная улыбка от мира страданий и слез к миру вечного блаженства. Голубушка моя Лизанька в эту минуту, должно быть, увидала что-нибудь очень хорошее, и улыбнулась, и эта неземная улыбка так и застыла на мертвых ее устах.

---

* силу духа (*фр.*).

Похороны Лизаньки вышли очень оригинальны: все академические девицы выпросили у папеньки позволения нести подругу свою на руках от самой квартиры нашей вплоть до Смоленского кладбища, и для этого оделись, как на свадьбу, в белые платья с розовыми кушаками. В церкви вид был удивительный. На Смоленском, в головах могилы нашей незабвенной матери, они опустили свою подругу в особую могилу и закидали ее цветами... После этого я осталась у папеньки одна, по поговорке, как порох в глазу...

В будущем месяце, Бог даст, расскажу про мою новую, мне самой до тех пор еще не известную жизнь, и льщу себя надеждой, что она займет сколько-нибудь моих благосклонных читателей. А покуда попрошу позволения отдохнуть немного и припомнить милую мне старину-матушку, для того, чтобы начать снова нескончаемую мою болтовню.

XII

Перемена в нашем доме после кончины матери.— Встреча с государем и государыней.— Маленький переполох по этому случаю.— Толки о пожаловании меня фрейлиной.— Первый выезд мой в свет.— Покровительство графини А. Ф. Закревской.— Бал у графа Кушелева.— Раут у графини Лаваль.— Игрок генерал Сухозанет.— Бал у князя Юсупова.— Приготовление к нему.— Мой костюм.— Манера танцевать императрицы Александры Феодоровны.— Костюм княгини Юсуповой.— Необычайный костюм Авроры Демидовой.— Группа Кановы.— Роскошь юсуповского дома.— Приключение с каретой.— Кончина А. С. Пушкина.— Лучшая его маска.— Ревность Пушкина к Закревской.— Мое знакомство с Каменским.— Я делаюсь его невестой

После кончины маменьки в нашем доме произошли большие перемены. Во-первых, наша дорогая и многолюбимая Елена Николаевна Геммер принуждена была уйти от нас к брату своему, Константину Николаевичу Геммеру, который овдовел и умолил ее принять на ее добрые руки осиротелый дом и несчастных сирот его. Это уже одна горькая перемена. Потом папенька, вероятно, желая для Лизаньки и меня пополнить чем-нибудь ужасную пустоту нашего дома, пригласил к нам компаньонку, очень умную, средних лет, девицу Иванову, которая, впрочем, не сошлась с Лизанькой и скоро уехала от нас. Тетки мои, Дудины, Бог их ведает отчего, тоже собрались и уехали от нас в Малороссию

к старшей тетке моей, Екатерине Федоровне Любовниковой, которую мне при жизни ее и видеть не довелось, потому что она вышла замуж, когда меня еще на свете не было, и в Петербург больше не приезжала. Меньшая тетка моя Сашенька Дудина вскоре вышла замуж за папенькиного дальнего родственника графа Александра Дмитриевича Толстого. Добрую тетю Машу Дудину я совсем потеряла из виду с тех пор, как она переселилась в Малороссию. Все эти перемены и разлуки дорого обошлись Лизаньке и мне, потому что мы были сильно привязаны к теткам нашим.

После страдальческой кончины сестры Лизаньки из нашего большого семейства осталось всего трое: тетка Надежда Петровна, папенька и я. Как я скучала после этой двойной, близкой сердцу утраты, я и сказать не могу. Я просто не находила себе места, и дорогой отец мой почти не отходил от меня и делал все, что только мог, чтобы развлечь и успокоить меня. Помню, что он всякий день требовал, чтобы я непременно ходила с ним гулять пешком. В первое время траура он водил меня по закоулочкам Васильевского острова, где было мало народу. Потом мы стали ходить с ним вдоль набережной и, наконец, вероятно, желая развлечь меня побольше, он раз перевел меня по льду на Английскую набережную, которая в то время считалась местом модного гулянья; народу на ней всегда была пропасть. Поднявшись по лестнице, мы пошли с ним под ручку к Новой Голландии. Не успели мы сделать несколько шагов по тротуару, как папенька услыхал, что за нами следом кто-то быстро идет. Он обернулся и увидал государя Николая Павловича под руку с императрицей. Отец мой снял шляпу, сейчас же устранился с дороги и меня поставил спиною к гранитному парапету, чтобы освободить их величествам путь. Государь весело кивнул папеньке головой, Александра Феодоровна милостиво нам поклонилась, и они прошли дальше. Мы потихоньку пошли за ними. Помню, что государыня раза два оборачивалась и смотрела на меня. Потом, пройдя несколько сажен вперед, они вдруг круто повернули назад и очутились с нами лицом к лицу. Тогда император остановился и заговорил о чем-то с папенькой. Государыня тоже остановилась и с милою, ласковою улыбкой внимательно разглядывала меня. Потом вдруг спросила у отца моего:

— C'est votre fille, comte? (Это ваша дочь, граф?) — и когда услышала его утвердительный ответ, ласково

взяла в горсточку мой подбородок и, глядя мне в глаза, улыбаясь, сказала: — Comme elle est laide, votre fille, comte! Bon Dieu, qu'elle est laide, cette pauvre fille! (Как она некрасива, ваша дочь, граф! Боже, как она некрасива, эта бедная девушка!)

Папенька весь вспыхнул от удовольствия. Я проворно чмокнула перчатку на руке, которая приласкала меня. Государь, глядя на нас, весело засмеялся и похлопал отца моего по плечу [1].

Все это сделалось в одно мгновение, так что я не успела опомниться, как ее величество села с государем в сани и, весело кивая мне головой, унеслась от нас в морозной пыли к Исаакиевской площади.

Точно мимо меня пролетел какой-то счастливый сон, от которого у меня от радости замерло сердце. Но этот счастливый сон видели не мы одни с папенькой: в эти несколько минут, как государыня и государь остановились с нами, около нас составился полукруг гуляющих, и все любопытными глазами глядели на нас и видели и слышали то же, что и мы с папенькой. Помню, что в первом ряду этих любопытных зрителей мне кинулся в глаза знакомый молодой человек Карбонье; не помню я теперь даже, как его звали, но я видала его часто в доме у тетушки моей Екатерины Васильевны Кротковой, двоюродной сестры моего отца. Из этого произошло то, что не успели еще скрыться из виду государь с государыней, как этот любознательный гулялыщик тоже прыгнул в первые извозчичьи сани и полетел на Шестилавочную к этой самой тетушке с вестями о том, что видел и слышал. А на другое утро ранехонько тетушка Екатерина Васильевна с старшей своей дочерью Варенькой влетела к нам с поздравлениями, и расспросам не было конца.

— Счастливица! — говорила она мне с восторгом.— Понимаешь ли ты, Машенька, какой ты милости удостоилась! Вот вы с твоим папа́ ни об чем не думаете, а вам все само в рот валится. Ведь это будущность, душа моя, это карьера! Не надо же вам теперь упускать случая, нельзя теперь переставать ходить гулять на Английскую набережную. И я нарочно приехала сегодня сказать твоему папа́, что если он занят по службе и ему трудно уделять на прогулки с тобой много времени, то, слава тебе, Господи, мы с Теодором люди свои, пусть он скажет слово, и я готова помочь ему в этом деле. Я буду с Варенькой заезжать за тобой

и вместо него гулять с вами, мои девочки. Ça sera si gentil: deux jeunes filles ensemble! La famille imperiale vous remarguera — Marie par sa beauté et ma Barbe par son talent * (Варенька была замечательная пианистка, одна из первых учениц Гензельта и большая его любимица).

Хотя я о своей красоте очень мало думала, но мне все-таки показалось странно, как это Варенька покажет царям свой талант на граните Английской набережной? Что-то уж очень выходило мудрено. Конечно, для пылкого воображения любящей матери все могло казаться возможным. Но какие бы выгоды не мерещились тетушке от наших общих гуляний с Варенькой, мне-то гулять с ними совсем не хотелось. Я очень любила Вареньку, и мы с нею много лет сряду были очень дружны, но стеснительная, недоверчивая манера тетушки в обращении с дочерью мне совсем не нравилась. Екатерина Васильевна держала Вареньку около себя точно на веревочке, ни на шаг от себя не отпускала, говорить свободно ни с кем не позволяла и целые дни не переставала дрессировать ее на великосветский манер. Оно и понятно, что мне, вольной пташке, которой отец и мать верили безгранично, не хотелось попасть к тетушке в бомондную переделку. Да и просто в то время я и подумать не могла гулять с кем-нибудь, кроме папеньки, а потому и ответила тетушке откровенно, что я буду гулять с отцом моим, так как и ему тоже полезно после его трудов проветриться и развлечься, и что это много времени у него не отнимет. Так я и отлавировала тогда от этих общих выгодных гуляний. Папенька остался очень доволен моим ответом, и мы с ним продолжали гулять по Английской набережной. Нового с нами больше ничего не случилось, и государыня больше не приезжала. Но раз, как это всегда бывает, я попала в моду, то беганье за мною все продолжалось. Уморительный был, право, папенька: иной раз он, видимо, был очень доволен эффектом, который я производила, а в другой раз ему это ухаживанье и заглядыванье под шляпку вдруг покажется неприличным, он сейчас же уведет меня на Васильевский остров и дорогою дает себе честное слово, что нога его больше никогда не будет на Англий-

* Это будет так мило: вместе две юные девушки! Императорская семья вас заметит — Мари с ее красотой и мою Барб с ее талантом (*фр.*).

ской набережной, а на другой день (видно, сердце не каменное) опять захочется голубчику посмотреть, как нравится всем его возлюбленная Машенька, и он опять сведет меня туда же. Правда, что в подобных неудовольствиях папеньки была много виновата тетушка Екатерина Васильевна, которая все еще не отставала от нас и своими новостями и известиями возмущала ему душу. Один раз она влетела к нам очень взволнованная и прямо атаковала меня вопросами:

— Машенька, ты никогда не сидела на натуре?

— Нет, я стояла на натуре, когда папенька писал нашу семейную картину. Это скука страшная! — ответила я ей.

— Нет, не то! А теперь, недавно, ты ни перед кем не позировала? — подозрительно глядя мне в глаза, еще переспросила тетушка.

Я ответила ей, что и не думала.

— Странно, как же это могло случиться, что на фарфоровом заводе пишут теперь твой портрет на вазе? Ты в итальянском костюме с кастаньетами в руках... Говорят, государыня сама заказала эту вазу, чтоб подарить государю!

— Какие бессовестные сплетни! — вдруг вспылил папенька.— Где ты могла слышать такой вздор, Катенька?

— Нет, Теодор, это не вздор, а правда! Сам Карбонье нарочно ездил на фарфоровый завод и своими глазами видел там эту вазу и говорит, что Машенька очень похожа,— рассердившись, заспорила Кроткова.

— А я говорю, что это вздор! Не мешало бы этим твоим попугаям подстричь язычок, чтобы они меньше болтали,— раскричался на свою кузину папенька.

Но это бы все ничего, покричали, поспорили, да об этом и забыли. А то тетушка прилетела к нам с новостью, которая отняла у отца моего весь душевный покой. Она забрала его одного в сторону и тихо и таинственно сообщила ему:

— Теодор, ты еще ничего не знаешь? А я знаю наверное, что Машенька к этой Святой будет сделана фрейлиной императрицы.

— Опять Карбонье говорит? — спросил папенька и побледнел как полотно.

— Совсем не он! Об этом говорят в свете.

— Я думаю, что прежде не мешало бы спросить у отца, у меня, желаю ли я этого,— едва слышно проговорил папенька.

— Разумеется, ты желаешь! Кто же может в этом сомневаться? — с убеждением сказала Катерина Васильевна.

— Это ты так думаешь, но, слава Богу, не все! Знаешь что, Катенька: оставь ты меня в покое и не привози мне никаких вестей, я не хочу ничего знать,— и папенька, не простившись с кузиной, ушел в свой кабинет.

Тетушка рассердилась, собралась домой и на прощанье сказала тете Наде:

— Quel drôle de corps, votre frère, ma cousine! Все хочет оригинальничать! Toujours le même! * Но кто ж ему поверит? Разумеется, никто!

Тогда мне не объяснили, что значили все эти непонятные слова; много позднее я узнала все и оценила вполне отцовскую любовь ко мне и благородство его чувств. После я узнала тоже, что папенька так взволновался тогда вестью тетушки, что не мог успокоиться. Весь Великий пост он не переставал волноваться и даже на всех придворных рассыльных, которых так много ездило по Румянцевской площади, начал смотреть как на личных врагов своих. Ему все чудилось, что кто-нибудь из них везет мне фрейлинский шифр. Говорят, что неизвестность так мучила его тогда, что он даже решился закинуть по этому поводу словечко министру двора.

— Отчего вы меня об этом спрашиваете, граф? — спросил князь Петр Михайлович Волконский.

— Оттого, ваше сиятельство, что я не желаю, чтобы моя дочь...— (и папенька шепнул что-то на ухо князю).

Министр с удивлением взглянул на него и холодно проговорил:

— После того, что вы мне сказали, граф, вы можете быть покойны: дочь ваша фрейлиной не будет [2].

Я одна, виновница всех этих страхов и переговоров, тогда ничего и не подозревала. Праздники прошли для отца моего благополучно; он совсем успокоился. Только никогда мы больше за Неву гулять не ходили, да и гуляльщики все с Английской набережной перекочевали в Летний сад, а это для нас с папенькой было слишком далеко.

14-го мая мы переехали на нашу дачу на Крестовский. С начала лета у меня опять на душе было тайное

---

* Какой чудак ваш брат, кузина!.. Всегда один и тот же! (*фр.*)

горе: Нестор Васильевич Кукольник, который уезжал зачем-то в Москву, вернувшись, приехал к нам на дачу и вел себя со мною во все время визита спокойно и ровно. Ни одного интимного слова между нами больше сказано не было. Он первый сделал шаг назад. Я, по женской гордости, сейчас же отступила от него на десять шагов, и с тех пор между нами установились отношения «хороших старинных знакомых».

Сколько я тайно плакала, бродя между прелестными розами нашего сада, это уж я одна знаю. А потом еще немилосердно злил меня мой дядюшка граф Дмитрий Николаевич Толстой, которому вздумалось в это время за мной сильно приволакиваться. Он то и дело отпускал мне фразы вроде этой:

— Ma cousine, vous êtes impossible! * Не глядите на меня! Неужели вы не видите, что я страдаю, что я люблю вас? Поймите, что не будь я честный человек, который раз сказал себе, что ты беден и потому не имеешь права жениться, что это будет значить разводить нищих на земле,— я страдаю и молчу,— а то бы я давно женился на вас и был бы счастливейшим из смертных.

— Да я за вас и за богатого никогда бы не пошла! А за бедного, которого полюблю, выйду непременно,— со злостью отвечала ему я.

— Ну, уж этому не бывать! Если я не женюсь на вас, то уж и другому бедному не уступлю вас. Как только замечу что-нибудь подобное, сейчас же расстрою вашу свадьбу, одурачу вашего жениха.

— Я за дурака не собираюсь выходить и потому не думаю, чтоб вам удалось одурачить моего будущего мужа.

— Полноте, ma cousine: Наполеон был гений, и того одурачили!

— Может быть, только мне помнится, что Наполеона одурачили не вы.

Так мы с честным дядюшкой моим от великой любви его ко мне не переставали всаживать друг в друга шпильки. И кончилось тем, что он мне сделался просто противен. Потом некоторые слова из его умных речей невольно наводили меня на мысль: уж не он ли расстроил и развел меня с Кукольником? И от этой одной мысли я его возненавидела.

---

* Кузина, вы невозможны! (*фр.*)

Остальное лето я провела довольно весело. Добрейшая Анна Николаевна Рускони, желая доставить мне удовольствие, заезжала за мной всякое воскресенье с другом своим молодой графиней Екатериной Ларионовной * Кушелевой [3] и сестрою ее прелестной княжною Танюшей Васильчиковой, и они катали меня по островам в большой линейке [4] четверкой на вынос, вроде тех, на которых катаются на Петергофских праздниках.

Папенька никогда не держал лошадей; мы или ходили пешком, или пробавлялись извозчиками; понятно, что эта новинка мне доставляла громадное удовольствие.

Вообще подходило то время, когда меня начали похищать из моей милой Академии и понемногу знакомить с большим светом. Девятого августа со смерти бедной сестры Лизаньки прошло полгода. К 15-му августа мы перебрались с дачи. Семнадцатого сентября минул год по маменьке; оба траура кончились. Третьего октября мне стукнуло девятнадцать лет, и не стало у нас с папенькой никаких отговорок, чтобы вывезти меня в свет.

Тетушка Екатерина Васильевна первая выпросила у папеньки себе право вывезти меня и Вареньку в первый раз в дворянское собрание. Отец мой взял на себя все траты по этому выезду; тетка Надя как барыня в душе и женщина со вкусом распоряжалась щедро моим туалетом, сделала мне платье из тюль-иллюзион на белом атласном чехле с букетами бело-розовых яблочных цветов,— просто, молодо и мило. Причесывать нас с Варенькой должен был не кто иной, как m-r Heliot, парикмахер императрицы Александры Феодоровны, излюбленный куафер [5] бомонда. Кажется, все было задумано прекрасно, и, уезжай я из родного дома, верно, я бы блаженствовала вполне. А тут вышло не совсем так: меня взяли к Кротковым с утра, горничная тети Нади приехала только перед обедом с моим туалетом, приехала уже огорченная и, раскладывая мое платье на диван в Варенькиной комнате, уже начала мне причитать: «И охота было вашему папеньке, графу, отпустить вас в первый раз из чужого дома? Истинно, как сиротку повезут! Ни папенька, ни тетенька на вас не полюбуются. Тетушка ваша Екатерина Васильевна, хотя вам и тетка, все ж таки не родная, покойницу графиню и совсем Гос-

* Ошибка М. Ф. Каменской: Екатериной Дмитриевной. (*Примеч. сост.*)

подь не сподобил на вас полюбоваться! То-то бы порадовалась, сердечная, на дочку милую! А теперь лежит, голубушка наша, в сырой земле и ничего не видит».

И Аннушка, говоря все это, обливалась слезами, остерегаясь, чтоб ей как-нибудь не капнуть на мое платье. И я плакала с нею вместе.

А тетушка Екатерина Васильевна мучила нас с Варенькой по-своему.

За завтраком подали чудную кулебяку; я положила себе изрядный кусочек, Варенька только что хотела сделать то же, как тетушка закричала:

— Нет, нет! Этого тебе нельзя, это тяжело! Ça vous gatera le teint! * Тебе дадут яичко и бульону.

Я любила покушать вплотную и за Вареньку очень огорчилась. Чудный домашний квас шипел в хрустальных кувшинах, я запила им кулебяку; бедной Вареньке и его не дали, потому что он к балу мог распучить ей талию.

Сейчас после обеда приехал нас причесывать m-r Heliot. Меня посадили первую; я сидела покорно, смирно и скоро была причесана. Но с Варенькой совсем другое дело: какую куафюру не придумывал ей несчастный француз, тетушка и, главное, гувернантка, m-elle Fleurie, все оставались недовольны и уверяли, что он назло сделал меня хорошенькой, а Вареньку уродом. Слушая эти милые слова, Варенька плакала, француз злился.

После раннего обеда тетушка придумала для дочери новую пытку: подложила ей под спину груды подушек, чтоб кровь оттекала вниз от лица, дала ей в руки французскую книгу и приказала «для прононсу» читать вслух. Отроду меня так не мучили, и я тут же дала себе слово, что в первый и последний раз выезжаю с тетушкой Екатериной Васильевной.

Потом приступили к нашему одеванью. Аннушка, опытная горничная, одела меня скоро, как куколку. И это не понравилось m-elle Fleurie; она несколько раз подбегала меня осматривать, с сердцем ощупывала тюль на лифе и со злостью ворчала: «Cette robe fait des grimaces!» ** Аннушка выходила из себя и тихонько шептала мне: «Скажите, графинюшка, этому французскому черту, чтоб она своими когтями по тюлю не возила... Какая свежесть после этого будет?»

---

* Это испортит тебе цвет лица! (*фр.*)

** Платье морщит! (*фр.*)

Наконец тетушка ушла одеваться и явилась к нам в пунцовом бархатном платье и желтой креповой чалме с золотой бахромой. Это к ней очень шло: она была сильная брюнетка. Насилу-то нас усадили в возок, обитый по окнам медвежьим мехом, и повезли по страшным ухабам. Меня от духоты и качки сейчас же начало тошнить, и мне делалось дурно; еще на Невском, у подъезда собрания, я распахнула шубу на груди, меня обхватило морозом, и я ожила. А потом (сказать ли правду?) меня подбодрило очень еще и то, что, когда мы шли по направлению к главной большой зале, кругом меня ясно слышалось: «Толстая идет, Толстая идет!» Как уж угодно, хотя я не занималась собой, а все-таки эта овация не могла не быть мне приятна. Всю дурноту мою с меня как рукой сняло, и мне стало необыкновенно хорошо и весело.

Войдя в залу, тетушка уселась между мной и Варенькой на красные бархатные скамейки полукруглого амфитеатра и оттуда с вышки начала лорнировать публику. Мне пришлось сидеть около самого конца амфитеатра; оттуда меня сейчас же увидал молодой человек, с которым я познакомилась у дальних родственников наших Шеншиных, конногвардейский офицер Синицын. Он подошел сбоку к амфитеатру и ангажировал меня на контрданс. Я так обрадовалась возможности потанцевать, что сделала непростительную ветреность: не сказав тетушке ни слова, сбежала с лесенки; Синицын подал мне руку, и мы с ним пошли и стали в пары французской кадрили, в которой танцевал кто-то из царской фамилии. Когда Екатерина Васильевна обернулась в мою сторону, мой уже и след простыл. Я отплясала очень весело и благополучно, и Синицын привел меня назад к тетушке.

— Что ты, Машенька, со мною делаешь? Разве это возможно? С кем ты изволила танцевать? — посыпались на меня вопросы.

— С конногвардейцем Синицыным.

— Почем ты его знаешь?

— Я видаю его у Шеншиных.

— Что, он богат?

— Очень, очень богат!

— А сколько у него душ? — спросила у меня тетушка.

Я никогда не имела никакого понятия о том, сколько один человек может иметь душ, и ответила то, что слыхала от Шеншиных:

— У него три тысячи душ.

— Удивительно! Теодор никогда ни о чем не хлопочет, Машенька ни о чем не думает и попадает во французскую кадриль с великими князьями и танцует с человеком, у которого три тысячи душ. Удивительно! Все к ним само так в рот и лезет! C'est une très bonne partie, savez-vous, ce jeune homme! * Будь с ним, пожалуйста, любезна, Машенька,— дала мне полезный совет Екатерина Васильевна, которой всегда и во всем мерещились какие-то будущие блага.

После этого первого моего выезда в свет с Кротковой меня совсем оттягала у нее другая кузина моего отца, графиня Аграфена Федоровна Закревская, дочери которой Лиденьке Закревской минуло в это время всего девять лет и вывезти ее в свет было слишком рано. Поэтому, я думаю, Аграфена Федоровна схватилась за меня и начала таскать по балам с собою; к тому же с тех пор, как мне исполнилось 18 лет, она нашла, что я красавица и две капли воды похожа на нее. И вывозить меня в свет ей стало лестно. Почти совсем слепого отца своего, дедушку Федора Андреевича, она легко уверила в том же. И так как сама она была скуповата, папенька не имел средств делать мне бальные туалеты, то влюбившийся, ничего не видя, со слов дочери, в мою красоту, тщеславный старичок заявил, что красавицу внучку свою, Машеньку Толстую, он будет одевать сам. Тетушка отцовских денег, разумеется, не пожалела, сделала мне прелестные бальные наряды и даже из множества своих галантерейных вещей подобрала подходящие к ним кольца, браслеты и серьги и подарила мне. А от отца моего потребовала тоже жертвы, чтобы он ради меня появлялся на балах, куда ему всегда присылали приглашения, и был бы нашим провожатым.

За первым моим одеванием на бал тетка Аграфена Федоровна следила сама, и все ей казалось для меня недостаточно хорошо, и из-за всего, что ей не понравится, делала целые сцены. Когда я, обуваясь, при ней надела на ногу чулок fil d'ecosse **[6], она тотчас же раскричалась на свою камер-юнгферу англичанку:

— Что это такое, Луиза? Что ты не смотришь, что графиня Марья Федоровна надевает? Разве она горнич-

---

* Этот молодой человек — очень хорошая партия, знай это (*фр.*).
** фильдекос (*фр.*).

ная, чтоб ей носить такую гадость! Подай сюда дюжину чулок из моего приданого.

И тотчас англичанка принесла мне дюжину новых шелковых чулок, перевязанных розовой ленточкой.

Или увидит графиня, что к новому моему бальному платью пришито «modestie» *[7], и опять поднимает крик.

— Маша, что это твоя портниха за полоску пришила к твоему платью? Разве я позволю тебе так выехать? Это обман, ma chère! ** На порядочной женщине должна быть вся рубашка батистовая, а не какой-то обрывочек. Луиза, возьми это долой и дай графине дюжину рубашек из моих сундуков.

И дюжину новых с иголочки батистовых рубашек, вышитых по вороту, рукавам и подолу еще крепостными девушками, мне принесли сейчас же из приданого, припасенного графиней для дочки. Можно себе представить, как я, не привыкшая ни к какой роскоши, радовалась всем этим подаркам и как была за них благодарна. На первый бал я попала к графу Григорию Кушелеву, женатому на Екатерине Илларионовне Васильчиковой, которые жили тогда в великолепном собственном доме, у Симеоновского моста. В этом доме я в первый раз в жизни увидела роскошь и богатство русских бар. Особенно кушелевская столовая поразила меня, потому что у себя дома за столом я, кроме серебряных столовых ложек, никогда никакого серебра не видывала; у нас даже серебряных ножей и вилок в заводе не было, а подавались с деревянными ручками, а тут, вообразите, белая мраморная столовая по голубым бархатным полкам, этажеркам, буфету и столам положительно была заставлена старинною русскою серебряной и золотой посудой и саксонскими и севрскими древними сервизами. Мало того, не знаю зачем, тут же в столовой стояла семейная кушелевская редкость: литая из чистого серебра большая лошадь на таком же массивном серебряном пьедестале; в этом коне верно было что-нибудь особенно замечательное, потому что в продолжение всего бала около него стояли генералы в орденах, какие-то сановники в лентах и звездах и не переставали судить и рядить, сколько в этой лошади может быть весу и сколько она может стоить. А мне

* модести (*фр.*) — скромность.
** моя милая (*фр.*).

это диво совсем даже и не понравилось. Взглянув на нее мимоходом, я сказала папеньке:

— Посмотрите, какой урод! То ли дело красоточки алебастровые лошадки нашего голубчика Клодта!

Вообще эта глыба серебра не остановила меня ни на одну минуту. На серебряную и золотую посуду в столовой я смотрела с любопытством, как на русскую древность, но соображать о ценности этих вещей мне даже и в голову не приходило, и хотя они мне очень нравились, но я, смотря на них, не охала и не ахала, как бомондные дамы, которые тоже их разглядывали; спокойствие мое надо приписать и тому, что папенька терпеть не мог женского писка и визга и с малолетства отучил меня от этого. А тут в кругу знати моею сдержанностью я даже обратила на себя внимание: графиня Екатерина Илларионовна после сказала своему и нашему другу m-me Рускони:

— Какая странная девушка ваша Машенька Толстая, ведь она в первый раз была на таком бале, как у нас. Ведь я знаю, что она нигде не могла видеть ничего подобного, а посмотрели бы вы, ma chère ami *, как она равнодушно прогуливалась. Все приходили в восторг, а она ничего! Точно все эти редкости принадлежат ей, и она к ним давно привыкла!

После бала у Кушелевых мы были на рауте у графини Лаваль, в ее собственном доме, который стоял на Английской набережной, совсем рядом с Сенатом; после он был продан и принадлежал железнодорожному богачу Полякову. А в мое время это был еще чисто барский дом, в котором проживала великая чудиха, безобразная старуха, вдова графиня Лаваль [8], та самая, про которую ходили слухи, что будто бы она вышивала знамя для декабристов, за что, говорят, ее в Третьем отделении не похвалили. На этом рауте мне было скучно. Там не танцевали, а только играли в карты. Там я увидела в первый раз известного игрока того времени, одноногого генерала Сухозанета [9], который целый вечер, не вставая, как приклеенный, просидел за карточным столом и то и дело придвигал к себе по зеленому сукну целые груды червонцев и империалов. Помню, что к концу вечера мужчины, в том числе и отец мой, около этого стола составили сплошной кружок зрителей... Папенька после рассказывал, что игра шла просто бас-

---

* мой дорогой друг (*фр.*).

нословная. Он говорил, что и государь Николай Павлович тоже не раз подходил к этому столу, внимательно следил за игрою Сухозанета, и видно было, что он им не очень-то доволен.

Меня на этом вечере ничто не интересовало, такая тоска была, что хоть заплакать. Спасибо еще, что тетенька Аграфена Федоровна это заметила и свела меня полюбоваться на редкости в знаменитый этрусский кабинет графини Лаваль. Ну, там было на что посмотреть. Такого множества этрусских ваз и вещей, собранных в одну коллекцию, кажется, ни у кого, кроме графини Лаваль, не было. И я, страшная любительница до ваз, до этрусских древностей, весь остальной вечер не выходила из этого кабинета, не переставала их разглядывать и забыла всю мою тоску.

После раута у графини Лаваль нам предстоял знаменитый бал у князя Бориса Юсупова, женатого на красавице Зинаиде Нарышкиной, той самой, что впоследствии, овдовев, вышла за графа Шево-де-ла-Серр. Об этом бале долго не могли забыть современники: до того он был великолепен [10]. Не моему перу описывать подробно всю роскошь, богатство и чудеса изящного искусства, которые заключал в себе тогда и заключает до сих пор всем известный дом Юсупова, стоящий на Мойке, рядом с Комиссариатом (родиной моего отца). В настоящее время этот дом, так как сын князя Бориса Юсупова, Николай, не оставил по себе мужеского потомства, принадлежит единственной дочери его, вышедшей замуж за молодого графа Сумарокова-Эльстона, которая и носит теперь двойную фамилию княгини Юсуповой, графини Сумароковой-Эльстон [11]. Таким образом, дом этот остался до сих пор домом Юсупова и при внуке полон тех же чудес, как был и при деде. Описывать их я не буду, потому что они уже много раз были описаны.

Считаю нужным упомянуть, что балы 1836 года отличались некоторою особенностью. Известно, что императрица Александра Феодоровна любила танцевать. Но в 1836 году доктора нашли (не могу сказать почему), что ее величеству вредно запаздывать на балах, и было предписано медиками, чтобы все балы, которые государыня осчастливит своим присутствием, начинались в шесть часов вечера [12] и кончались не позднее десяти часов. И это предписание врачей исполнялось с величайшей строгостью.

Княгиня Юсупова, большая поклонница таланта моего отца, прислала ему вместе со мною особое приглашение.

Приготовления к этому знаменитому балу у тетушки Аграфены Федоровны начались за год; она взяла своего родителя, а моего дедушку, за бока и вытребовала у него денег на блистательный туалет для меня. Потом начались совещания, как одеть меня, так, чтоб было не заурядно и не так, как у всех.

В этом трудном деле нам помог француз, m-r Lenormand, который разъезжал в те времена по Петербургу со своими товарами. За ним сейчас же послали, и у него тетушка выбрала для меня прелестную материю на бальное платье, и костюм мой вышел точно не заурядный и не такой, как у всех. Платье мне сделали из бледно-голубого серебристого газа, а чехол под него из голубого муаре, так что волны муаре, сквозя из-под газа, изобразили из себя речную воду. Прибавлю к этому, что газ на юбке в нескольких местах подобрали букетами водяных лилий (ненюфаров). Ну, и вышла из меня какая-то ундина. Отец мой как художник одобрил вкус своей кузины, и она от похвалы его пришла в неописанный восторг. Про меня и говорить нечего, я была на седьмом небе.

В назначенный для бала день m-r Heliot должен был, как говорили, начать причесывать дам с девяти часов утра, потому что до пяти часов, когда он должен был причесать государыню, у него не хватило бы времени причесать чуть не четверть Петербурга, которая собралась ехать на бал Юсупова. Графине Закревской и мне он сделал милость причесать нас в 12 часов утра. На моей голове он по простоте прически показал весь свой талант. Громадную пепельную косу мою свернул как-то по античному узлом, запутав в него водяную лилию, передние волосы завил в легкие, как дым, локоны и спустил их мне на шею, что, говорили, очень шло ко мне.

Чтобы поспеть приехать на бал к началу, мы должны были тронуться с места очень рано, и хотя от дома Закревских, против Исаакиевского собора, до дома Юсуповых на Мойке было рукой подать, но мы тащились туда чуть не целую вечность, потому что парадные кареты гостей, запряженные все четверками на вынос, должны были подвигаться в линию шаг за шагом, не опережая друг друга, так что до иллюминованного дома

мы доползли только к шести часам. Войдя в швейцарскую, которая была превращена в какой-то волшебный сад, мы поднялись по обитой красным сукном лестнице, по обеим сторонам которой, на каждой ступеньке, стояло по лакею в каких-то необыкновенно богатых ливреях. Бал уже начался. В бальной зале гремела музыка. Когда мы вошли, ее величество уже танцевала французскую кадриль. Недаром весь Петербург приходил в восторг от ее манеры танцевать и от ее грации.

Императрица Александра Феодоровна танцевала как-то совсем особенно:[13] ни одного pas *, ни одного прыжка или неровного движения у нее нельзя было заметить. Все говорили, что она скользила по паркету, как плавает в небе облачко, гонимое легким ветерком.

Хозяйка дома, красавица Зинаида Ивановна Юсупова совсем не танцевала на своем бале, потому что в начале зимы этого года, катаясь с кем-то с ледяной горы, сильно зашибла себе ногу, прихрамывала и, не опираясь на костыль, даже ходить не могла. Помню, что на бале у нее в руке был костыль какой-то дедовский, старозаветный, черного дерева, до половины палки и по всей рукоятке сплошь усыпанный крупными бриллиантами. В одном уж этом костыле было что-то сказочное, волшебное. Должно быть, к нему же княгиня подобрала и весь свой наряд: платье на ней было не легкое, не бальное, а тяжелого голубого штофа; на голове у нее около лба горела одна только большая бриллиантовая звезда, в заднюю прическу волос были как-то впутаны два газовые шарфа: один голубой с серебряными звездами, а другой белый с золотыми, и оба они упадали до самого пола. Удивительно хороша была она в этом наряде! Не знаю, как другим, а мне она даже совсем не казалась похожа на простую смертную, а скорей на какую-то фею или добрую волшебницу из сказочного мира. Особенно княгиня была эффектна, когда прогуливалась по своим великолепным чертогам под руку с красавцем, русским богатырем, императором Николаем Павловичем.

Надобно сказать правду, что вообще этот бал изобиловал красотою женских лиц и богатством туалетов. Не говорю уже о патентованной красавице графине Завадовской, рожденной Влодек, которая, как всегда, убива-

* па (*фр.*).

ла всех своею царственной, холодной красотою, но и, кроме нее, было много прелестных женщин, и между ними выдавалась миловидностью и красотою жена Анатолия Демидова, графа Сан-Донато, тоже прославленная в Петербурге красавицей, Аврора Демидова, рожденная Шернваль [14]. На этом бале она обратила на себя внимание всех оригинальностью своего наряда: неизвестно почему, вероятно, par esprit de contredictio *, при ее баснословном богатстве, она явилась на этот блистательный бал в самом простеньком белом, креповом платьице, без всяких украшений и только на шею повесила себе на тоненькой черной бархатке (à l'enfant) ** бриллиантовый крест всего из пяти камней. По поводу этого креста тут же на бале ходил анекдот: рассказывали, что государь Николай Павлович, взглянув на ее простенький костюм, со смехом сказал ей:

— Aurore, comme c'est simple, et comme cela coute peu! (Аврора, как это просто и как это стоит дешево!)

Слова государя повторялись во всех углах, и мне очень было жаль, что я не могла рассмотреть поближе этого креста. Спасибо одному балагуру старичку, который пояснил мне смысл слов Николая Павловича:

— Крестик простенький, графинюшка! Всего в пять камушков, солитер посредине, да такие же четыре груши. Только эти камушки такие, что на каждый из них можно купить большущий каменный дом. Ну, сами посудите, барышня,— хихикая, добавил шутник,— пять таких домов, ведь это целый квартал, и висит на шее у одной женщины. Как же не удивиться, хоть бы самому императору!

После папенька сказал мне, что этот крест считается одною из редкостей между демидовскими сокровищами [15].

В начале бала я танцевала мало, потому что мне гораздо интереснее было смотреть на танцы государыни, чем танцевать самой. Время до 10 часов пролетело незаметно. Ровно в 10 часов музыка умолкла и государыня скрылась из бальной залы в уборную, куда проводил ее император и хозяева дома; затем ее величество должна была отбыть в Зимний дворец. Предписание докторов исполнилось в точности: бал для ее вели-

* из чувства противоречия (*фр.*).
** по-детски (*фр.*).

чества кончился. Но государь, остальная царская фамилия и все приглашенные не уехали, а остались. В короткий интервал, пока совершалось в уборной переодевание государыни, музыка молчала, царская фамилия и гости в это время отдыхали, пили чай, гуляли по залам и любовались чудесами юсуповских чертогов. Отец мой и я делали то же. Папенька как художник воспользовался этим временем, чтобы показать мне знаменитую группу Амура и Психеи Кановы, которая была помещена в парадной спальне супругов Юсуповых. Спальня эта, насколько мне помнится, ничем не отличалась от старинных парадных спален во всех дворцах, с тою только особенностью, что над кроватью неизбежного в то время балдахина не было, а только красивая голубая штофная драпировка разделяла спальню пополам. За нею находилась двуспальная кровать и в ногах у нее, как будто среди нечаянно откинутой драпировки, стоял белый мраморный пьедестал с группою Кановы. Необыкновенно красиво и загадочно выглядывали из-под голубой драпировки эти два мраморные влюбленные божества. И как хорош и прозрачен казался мрамор на голубом фоне!

Насмотревшись на мифологических богов, я заглянула по ту сторону драпировки и сразу попала из языческого мира в мир христианский: там красовалось только богатое супружеское ложе, а в головах у него с правой стороны древний киот с фамильными, унизанными драгоценными камнями, старинными образами, освещенный золотою висячей лампадою, огонек которой переливался по образам всеми цветами радуги.

Из спальни отправились было мы полюбоваться на двух голубков древней итальянской мозаики, но я не успела наглядеться на эту прелесть, как, должно быть, императрица отбыла в Зимний дворец и в юсуповской зале опять грянула бальная музыка. Разумеется, все пошли в залу, и начался новый бал, или продолжился старый, как хотите.

На этом втором бале я танцевала много. Кажется, он продолжался до двух часов. Протанцевали мазурку, котильон с разными затейными фигурами, и подошло дело к ужину. Но тут, чтобы поняли Шехерезаду, которая предстала моим глазам, мне прежде всего надо рассказать про устройство бальной залы и столовой. Бальная зала и столовая проходили, кажется, насквозь всего дома, так они были громадны, и, верно, стояли

совсем плотно одна к другой, потому что между ними была устроена эстрада для музыкантов, вся уставленная тропическими растениями и кончающаяся двумя низкими бронзовыми решетками, которые выходили и в залу и в столовую. Но так как зала и столовая были гораздо шире эстрады, то остальное пространство занимали громадные зеркала,— вот теперь будет понятно. Как только кончился котильон, музыка заиграла польский. Княгиня Зинаида Ивановна взяла под руку государя и повела его к одной из боковых зеркальных стен, где не было никакой двери; но зеркало вдруг поехало, исчезло в стене, и за ним открылась цветочная аллея, которая доходила до столовой. Точно так же сделалось и по другой стороне залы, и гости, пройдя парами, под звуки польского, по этой аллее прошли в столовую и уселись за ужин. Помню, что я шла под руку с папенькой и чуть не вскрикнула, когда зеркальная стена, точно по волшебству, исчезла. Я переходила от удивления к удивлению: представьте себе, что сквозь стол росли целые померанцевые деревья в полном цвете. Вдоль всего стола лежало зеркальное, цельное, оправленное в золото плато и тоже обхватывало стволы деревьев. А на плато и саксонские и китайские куколки, и севрские вазы с цветами, и фрукты в блестящем, как бриллианты, хрустале, и конфекты. И уж чего, чего там не было! И про ужин гастрономы говорили, что в нем только птичьего молока недоставало.

После ужина, когда все стали разъезжаться, с тетушкой Аграфеной Федоровной и со мной случилось маленькое несчастие: сошли мы в швейцарскую, а ни лакеев, ни шуб наших нет. Папенька и молодежь, которая нас провожала, искали, звали, никого не нашли. Все приглашенные разъехались, а мы две несчастные стоим в бальных платьях в совсем остывшей швейцарской. Оказалось, что и экипажа нашего у подъезда нет. Что делать? На тетку и на меня какие-то офицеры, чтобы мы не простудились, накинули свои шинели, и кто-то из них предложил свою двухместную карету, чтоб отвезти нас. И мы, точно наряженные, уехали домой. Папенька вспылил, рассердился, выпросил у кого-то из юсуповской челяди себе шинель и на извозчике полетел вперед узнать, в чем дело. Оказалось, что два выездные гайдука, понадеявшись на близость дома Юсупова от дома Закревского, вместо того, чтобы ждать господ, забрали наше теплое платье, уселись в барскую

карету и уехали покуда домой, с тем, чтобы приехать за нами к концу бала. Но дома они поужинали, выпили лишнее и проспали. Когда отец мой донес об этом Аграфене Федоровне, она (баловщица страшная) нисколько не рассердилась, а испугалась за них и сейчас же послала им сказать: «Пусть эти дураки скорей ложатся тихо спать. Только, чтобы граф не узнал, а то беда будет!». А испугалась она потому, что у графа Арсения Андреевича было свое неизменное правило: раз напьется человек — простит, в другой раз напьется — простит, а в третий раз напьется — в солдаты и конец! Тут хоть жена, хоть дочь ползай перед ним на коленях — не простит.

После юсуповского бала ко мне со всех сторон посыпались приглашения, и в этом сезоне мне пришлось побывать на очень многих вечерах.

Вскоре всю Россию постигло великое горе: Александр Сергеевич Пушкин дрался на дуэли с Дантесом и был опасно ранен. Разумеется, все веселости в Петербурге прекратились, все притихло, все примолкло, все с ужасом ждали последствий этой страшной истории.

Не помню, куда мы пошли с папенькой пешком на ту сторону и уже возвращались домой, когда нас догнал на извозчике профессор университета Плетнев [16] (не могу сказать, был ли он тогда ректором или еще нет). Узнав отца моего, он издали начал кричать:

— Граф, граф! Федор Петрович, остановитесь, подождите!

Папенька, увидав Плетнева, тотчас остановился и робко спросил:

— Ну что, что, голубчик?

— Все кончено! Александр Сергеевич приказал вам долго жить! — проговорил он едва слышно, отирая перчаткой слезу.

Мы с папенькой перекрестились, и оба потихоньку заплакали.

— Пожалуйста, граф, поскорее пришлите снять маску! Да приезжайте! — почти закричал Плетнев и, повернув извозчика, куда-то ускакал.

А отец мой со мной перебежал через Неву домой, сейчас же послал за литейщиком Балиным, который жил тогда против ворот Академии по Четвертой линии, и отправил его снимать маску с Пушкина. Балин снял ее удивительно удачно. Недавно она мне у кого-то попалась на глаза — сходство поразительное. И нельзя ска-

зать, чтобы страдания и смерть очень уж исказили лицо Александра Сергеевича. Эта маска была чистая находка для скульпторов. Не помню хорошенько, кто вылепил первый бюст после смерти Пушкина, но, помоему, неоцененный его бюст вылеплен юным скульптором Теребеневым[17], тем самым, который впоследствии изукрасил Эрмитаж своими кариатидами и статуями великих художников. Теребенев как-то особенно поймал в этом бюсте тип и выражение лица Пушкина; он точно такой, каким я его помню в Царском Селе во время нашего с ним первого знакомства.

Всем известно, какое было тогда стечение народу на канаве у Певческого моста перед домом, на котором мраморная дощечка до сей поры гласит, что в нем скончался Пушкин. Весь этот люд днем и ночью рвался поклониться праху незабвенного поэта. Затем тело Александра Сергеевича до дня похорон поставили в склеп Конюшенной церкви, и там поклонения продолжались. А дамы так даже ночевали в склепе, и самой ярой из них оказалась тетушка Аграфена Федоровна Закревская. Мало того что ее сон не брал все время, как тело стояло в склепе, мало того что она, сидя около гроба в мягком кресле, не переставала обливаться горючими слезами,— нет, она еще знакомила ночевавших с нею в склепе барынь с особенными отличительными интимными чертами характера дорогого ей человека. Разумеется, она первым делом с наслаждением поведала барыням, что Пушкин был в нее влюблен без памяти, что он ревновал ее ко всем и каждому. Что еще недавно в гостях у Соловых, он, ревнуя ее за то, что она занималась с кем-то больше, чем с ним, разозлился на нее и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь... И тетка с гордостью показывала любопытным барыням повыше кисти видные еще следы глубоких царапин. А потом она еще рассказывала, что в тот же вечер, прощаясь с нею, Пушкин шепнул ей на ухо:

— Pent-être, vous ne me reverrez jamais! (Может быть, вы никогда меня не увидите!)

И точно, она его живым больше не видала. Тетка Аграфена Федоровна, рассказывая все это во время бессонных ночей в склепе, не сфантазировала ни слова, а говорила только всю правду. Пушкин точно был большой поклонник прекрасного пола, а Закревская была очень хороша собой, что доказывает ее портрет, напи-

санный знаменитым тогдашним портретистом Дау. Этот удивительный портрет принадлежит в настоящее время внучке ее, графине Гори [18]. Тетка моя изображена на нем в голубом бархатном платье Александровского времени с короткой талией и в необыкновенных жемчугах. И глядя на него теперь, всякий скажет, что графиня Закревская смолоду была красавица. Кроме того, она была бесспорно умная, острая женщина (немного легкая на слово), но это не мешало тому, чтоб Пушкин любил болтать с ней, читал ей свои произведения и считал ее другом. А он был так самолюбив, что не мог перенести, чтоб женщина, которую он удостаивает своим вниманием, хотя на минуту увлеклась разговором с кем-нибудь другим.

После отпевания в Конюшенной церкви тело Александра Сергеевича отвезли в село Михайловское и там похоронили в ближайшем монастыре. В Петербурге мало-помалу забылось горе и все пошло по-старому. Тетка моя немного успокоилась и начала меня опять таскать к себе чуть не всякий день.

Не помню, чтобы в начале 1837 года у нас в Академии случилось что-нибудь особенное; но помню очень хорошо, что накануне того, как тронуться ладожскому льду по Неве, у нас в воскресенье вечером явился новый интересный гость, недавно приехавший с Кавказа, молодой литератор Павел Павлович Каменский, которого привели к нам наши старые знакомые Януарий Михайлович Неверов и Дмитрий Васильевич Хвостов; последний сильно ухаживал за мной и, как говорится, на свою шею представил папеньке Каменского.

Умный, милый и, кроме того, красивый собой Каменский очень понравился отцу моему. Я тоже очень заинтересовалась этим юным литератором, который добровольно из Петербургского университета [19] отправился служить юнкером на Кавказ, получил там Георгиевский солдатский крест и сделался закадычным другом Марлинского. Я с наслаждением проболтала с ним весь вечер, и надо правду сказать, что он с первого же вечера задел за живое мое сердечко.

На другой день сплошной ладожский лед валил через Неву, и перевозу не было. Мы с папенькой с любопытством смотрели на него в окно. Представьте же себе наше удивление, когда мы вдруг увидали, что от набережной переходят к Академии Неверов, Каменский и Хвостов. Папенька сейчас же открыл форточку и

зазвал их к нам. Оказалось, что вчера вечером они запоздали у нас, застряли за льдом на Васильевском острове, домой на ту сторону не попали и принуждены были отправиться ночевать к братьям Крашенинниковым. Не могу теперь сказать, сколько времени шел сплошной лед, сообщения с городом все не было; Каменский, Неверов и Хвостов оставались в плену и всякий день бывали у нас. Видно, уж самой судьбе угодно было обвенчать меня с Каменским, потому что за эти дни он сделался у нас своим человеком в доме и еще больше понравился отцу моему. А про меня уж и говорить нечего, он просто завоевал мое сердце. Мы болтали, болтали и договорились до того, что как-то нечаянно сказали, что любим друг друга. Потом пошли вместе с Каменским к папеньке и сказали ему то же самое. Помню, что он выслушал нас очень сердечно, поблагодарил Каменского за честь, которую он мне делает, и сказал, что если я согласна, то и он согласен, что неволить меня в выборе мужа никогда не будет. Но при этом попросил Павла Павловича написать скорее к матушке его Марии Ивановне Каменской и спросить позволения жениться на мне, что без ее согласия он окончательного слова дать не может. Каменский сейчас же написал в Москву, и мы с нетерпением стали ждать ответа от старушки.

Я сама не понимаю, как это все скоро устроилось. Видно, судьба! Дмитрия Николаевича Толстого, чтобы расстроить нашу свадьбу, в Петербурге не было, он служил тогда в Риге при Суворове. Кукольник бывал у нас часто и продолжал обращаться со мной на правах старого знакомого; он был дружен с Каменским, и ревности к нему я никакой не замечала. И хотя я всю жизнь мою сохранила теплое чувство к Нестору Васильевичу, но уже главное место в сердце моем занял Каменский.

В то стародавнее время железных дорог еще в заводе не было, и письмо от мамаши шло долго. Наконец, в один прекрасный день Каменский влетел к нам как помешанный, держа высоко в руке распечатанное письмо, и без всякого позволения, не сказав мне даже ни слова, крепко обнял меня и расцеловал. Это у него значило, что мамаша согласна. После этого я сделалась форменной невестой, и пришло время известить родных и знакомых о нашей семейной радости.

XIII

Согласие матери Каменского на брак со мною.— Графиня Закревская и ее сватовство.— Иван Кудрявый.— Шитье приданого.— Письмо Булгарина к моему отцу.— Открытие Александровской колонны.— Страшная гроза.— Обер-полицеймейстер Кокошкин и его выходка.— Картина Брюллова.— Моя свадьба.— Торжественный ужин и его последствия.— Заключение

Получив от матери желанный ответ, мой жених тотчас показал его папеньке. Письмо старушки Марьи Ивановны Каменской было написано так мило и сердечно, что отец почувствовал к ней искреннее чувство и тоже дал Павлу обещанное согласие на наш брак. Помню, что они долго проговорили в кабинете отца моего с глазу на глаз и вышли оттуда обнявшись, очень довольные друг другом; должно быть, они успели обо всем откровенно переговорить, потому что тут же решили между собой, как делу быть. Живой, умный, красивый жених мой с первых же дней полюбился папеньке и сам привязался к нему как сын родной. После уже тетенька Надежда Петровна рассказывала мне, что отец мой, узнав от Каменского, что он человек не богатый и должен существовать только службой и литературным трудом, предложил своему будущему зятю для облегчения первых лет нашей супружеской жизни не обзаводиться ни особой квартирой, ни хозяйством, а после свадьбы прямо переехать в нашу квартиру в Академии и жить с нами вместе, чем Бог пошлет. Разумеется, тогда это было великое благодеяние, потому что средства к жизни у нас были еще очень жидки... Павел тогда только что поступил на первое свое место чиновника особых поручений и цензора по драматической части в III Отделение Собственной Его Величества канцелярии, при Леонтии Васильевиче Дубельте [1], который тоже очень полюбил своего молодого чиновника, сам вызвался быть его посаженым отцом и всю жизнь не переставал быть его покровителем. Как в то время люди несправедливо смотрели на Дубельта! Кажется, одно название места, которое он занимал, бросало на него какую-то инквизиторскую тень, и все его боялись, тогда как на самом деле он был человек добрейшей души, всегда готовый на помощь ближнему, и настоящий отец вдов и сирот. Даже папенька, который ненавидел все, что пахло тогдашним

III-м Отделением, отдавал Дубельту полную справедливость. В то время отец мой, глубоко тронутый милостивым вниманием начальника к моему жениху, даже близко сошелся с Леонтием Васильевичем [2]. Желая скорей составить наше счастье, папенька назначил нашу свадьбу на июнь месяц. Всем родным и знакомым было объявлено, что я выхожу замуж за молодого литератора Павла Павловича Каменского.

Тетка моя, графиня Аграфена Федоровна Закревская, жила тогда на своей даче, на Аптекарском острове, и я, зная, как она меня любит, пожелала ей первой сообщить нашу семейную радость. Наняли мы с тетей Надей коляску и отправились к ней, но не успели проехать и половины дороги, как повстречались с нею самой. Веселая и радостная, она летела к нам навстречу четверкой на вынос, в своей чудной английской коляске. Увидав нас, она тотчас же остановилась и крикнула нам:

— Вы куда?

— Мы к вам,— ответила я.

— А я еду к Teodor'у, везу ему и тебе, Маня, приятную новость.

— Какую новость, ma cousine? — спросила с любопытством тетя Надя.

— Еду сватать Машу за моего молодого друга, князя Кочубея, который влюблен в нее без памяти и просит у Теодора ее руки. Счастливица! Будешь придворная дама, ведь он любимец государя и далеко пойдет,— с сияющим лицом говорила нам графиня Закревская.

— Ах нет, этого нельзя! — с испугом перебила я тетку.

— Как нельзя! Почему нельзя? Отчего нельзя? — покраснев от злости и забывая, что мы на улице, начала кричать на меня Аграфена Федоровна.

— Да оттого нельзя, что я ехала вам сказать, что выхожу замуж за литератора Павла Павловича Каменского, папенька дал ему слово.

— Il est fou, ton père! * Это еще что за новости? Откуда вы выкопали какого-то Каменского, верно, дрянь какая-нибудь! Надо скорей послать ему отказ!

— Совсем Каменский не дрянь! Он юнкер с Георгиевским крестом, приехал с Кавказа, он литератор, друг Марлинского и очень хорош собой,— обидевшись до слез, принялась я защищать моего жениха.

---

* Он сумасшедший, твой папенька! (*фр.*)

— Vous avez tort, Agrippine, Kamensky est un jeune homme très comme il faut *. За дрянь Theodor нашу Машеньку не отдаст,— обидевшись в свою очередь, строго вставила свое словцо тетка Надежда Петровна.

Аграфена Федоровна не унималась и кричала все громче, так что проезжие на нас оглядывались.

— Дрянь, дрянь! Отсюда вижу, что дрянь! Вы, кажется, все с ума сошли! Как? Я тебе говорю, что князь Кочубей красавец, богач, просит твоей руки, а ты хочешь выходить замуж за какого-то Каменского!

— Да, хочу за Каменского! И не откажу ему только за то, что он не князь и не богат, а Кочубея вашего знать не хочу! — в свою очередь распетушилась я.

На эти слова мои графиня до того вышла из себя, что совершенно забылась, вскочила в экипаже на ноги и с высоты своего величия плюнула прямо в нашу маленькую колясочку, обругала меня дурой, приказала людям везти скорей себя домой и исчезла из наших глаз.

Я страшно испугалась, вообразив себе скандал, который вследствие этой истории произойдет между вспыльчивым отцом моим и сумасшедшей его кузиной Грушей, и умолила тетку Надю не говорить ему об этом ни слова. И очень умно мы тогда это сделали, потому что Закревская скоро положила свой гнев на милость; должно быть, любопытствуя посмотреть на Павла, приехала к нам, была с ним очень мила и любезна, и даже скоро подружилась, причем обещалась непременно приехать на свадьбу «двух дураков», что после и исполнила в точности.

Первым, после того, как свадьба была объявлена, явился с поздравлением Иван Кудрявый, вольноотпущенный покойного графа Александра Петровича Толстого. Кроме сердечных излияний и поздравлений, он пришел еще с покорнейшей просьбой дозволить ему изготовить на мою свадьбу парадный ужин.

— Вы знаете, ваше сиятельство, что я человек русский в душе, а на деле ни одному французу не уступлю.

— Ах, милый Иван,— отвечал ему папенька,— я ни о каких торжествах еще не думал, а без твоего предложения верно бы обошелся с моей русской кухаркой Натальей, которая так хорошо готовит.

— Нет уж, ваше сиятельство, извините вы меня, но вы изволите говорить совсем не подходящие вещи.

* Вы не правы, Агриппина, Каменский очень приличный молодой человек (*фр.*).

Как, вы, вице-президент Академии художеств, изволите выдавать замуж свою единственную дочь, да чтоб у графинюшки не было парадного свадебного ужина! Разве это возможно? Если ваше сиятельство пугает дороговизна, то поручите только мне все для вас устроить и уверяю вас, что мой ужин обойдется вам дешевле всякого кухаркина ужина. Сервировка, вазы, канделябры, серебро — все у меня свое, два мои повара изготовят вам ужин, все будет в самом лучшем виде, и ваше сиятельство будете вполне мною довольны. За все, что принадлежит мне, я не возьму ни копейки, и вам придется заплатить только за провизию для ужина, стало быть, это дорого вашему сиятельству не обойдется.

Папенька долго шутил и смеялся с преданным нашему дому человеком, и они все-таки покончили тем, что парадный ужин и все хлопоты по моей свадьбе были поручены Ивану Кудрявому.

Получив в награду за свои медали Отечественной войны табакерку в 20 000 рублей, папенька тогда же попросил, кого следует, стоимость этой награды превратить в деньги и тотчас же отдал их в ломбард, так что деньги были. Из них прежде всего папенька уплатил все свои долги, взял на свои собственные нужды 2000 рублей, а из остальных денег попросил сестру свою Надежду Петровну сделать все, что будет нужно, для моей свадьбы.

Все старинные барыни были немного помешаны на полотнах и белье, и потому тетка Надя накупила мне всего этого тьму-тьмущую и первым делом с помощью друга своего, Софьи Ивановны Григорович, принялась за кройку и шитье мне великолепного белья. В то время было еще в моде, чтобы подруги невесты сходились к ней на дом работать ей приданое; у нас в зале на этот случай были поставлены столы, покрытые скатертями, и целые дни на них стояли разные лакомства, и целые дни в этой добровольной и доброхотной швальне [3] не умолкал звонкий хохот усердных швеек. Да и скучать им было некогда: целое утро наши знакомые приезжали поздравлять меня, а вечером собирались к нам выпускные ученики Академии, начиналось пение, музыка, и часто даже затевался отчаянный пляс вокруг швальных столов.

У нас всегда по воскресеньям собирались литераторы, а с появлением в нашем доме кавказской новинки, молодого друга Марлинского, их стало собираться еще больше. Отец мой страстно любил литературу, и эти сходбища писателей у него доставляли ему громадное удоволь-

ствие. Особенно теперь папеньке интересно было наблюдать, как примут в свой заповедный кружок его будущего зятя, Павла Каменского, петербургские писатели...

Здесь будет кстати привести письмо Фаддея Булгарина к отцу моему, написанное им через год после моей свадьбы, 1838 года 21-го апреля. Для этого мне придется перепрыгнуть на один год. Я столько раз прыгала в моих воспоминаниях вперед и назад, что лишний раз прыгнуть куда ни шло. Мне было бы жаль не привести этого письма, так польстившего папенькиному самолюбию. Да и само по себе, мне кажется, это письмо, как образчик умения Булгарина хвалить и ругать без меры,— не безынтересно. Вот оно:

«Любезный граф Федор Петрович!

Поздравляю тебя с зятем! Его никто не знал, потому что литературный эгоизм только снисходителен к себе. Я ничего не читал прежде из сочинений твоего Каменского за недосугом и потому, что они печатаются в плохих сборниках и журналах. Наконец, вот я прочел его повести, думая прежде, что только из дружбы к тебе надобно подумать, как бы спустить тихо златую посредственность. Но как же я удивился, когда стал читать! Удивление мое возрастало с каждой страницей, и, прочитав в с е, я решил, что твой зять Каменский — человек с н е о б ы к н о в е н н ы м т а л а н т о м, у м о м, ч у в с т в о м и н а ч и т а н н о с т ь ю и ч т о если он пойдет х о р о ш и м п у т е м, т о с т а н е т в ы с о к о. Ему недостает авторского механизма, художественной штукатурки и пуризма в языке, чтобы шагнуть за один раз на место А. А. Бестужева. Но эти трудности легко победить. Ты тесть его — будь родным отцом и спаси Каменского от потопления! А. А. Бестужев имел советников во мне и в Грече — ни Греч, ни я не отказали бы тебе ни в чем, и Греч охотно продержал бы корректуру повестей Каменского. Мы бескорыстно желаем ему добра. Не желаем от него ни статей, ни того, чтоб он оставил друзей своих (ну уж друзья!) Одоевского-недоумку et consort *. Пусть себе он пишет без них и возится с ними, но пусть послушает совета опытных литераторов, которые желают ему добра только из любви к русской литературе, в которой Каменский должен непременно занять в ы с о к о е м е с т о. Все эти Одоевские с братиею — пигмеи перед твоим Каменским.

* со товарищи (*фр.*).

У него в мизинце больше таланта, чем во всех этих головах. Я первый, я открыл этот алмаз недограненный. Завтра выйдет моя критика повестей Каменского, критика строгая, как того требует сильное дарование, но критика справедливая, которая даст Каменскому другой вес в литературе и поставит его высоко [4].

Я действую по совести. Вели Каменскому показать несколько экземпляров повестей у Смирдина, а после того поцелуй своего зятя и прижми его к сердцу, ибо в его сердце горит небесное пламя истинного, неподдельного дарования. Ах, как жаль, что ни Греч, ни я не видали этих повестей в корректуре! Отныне участь Каменского решена. Он перешел через Рубикон и будет в Капитолии, если пойдет истинным путем. Вот что сказать тебе внушили мне честь и совесть. Спасай его, ибо есть еще время. Ты не поверишь, что я сам рад, как дитя, открыв истинный талант на Русской земле...

Твой верный *Ф. Булгарин*

21 апреля 1838 г.»

Разумеется, письмо такого литератора, как Фаддей Булгарин, очень порадовало папеньку и меня [5].

Не могу теперь сказать, насколько Булгарин и Греч помогли Павлу в механизме литературном, но очень хорошо помню, что мой Павел был долго сотрудником «Северной Пчелы», а в домах Греча и Булгарина всегда был принят как друг и дорогой гость. Мне это очень памятно потому, что я сама с моим мужем бывала у Гречей, у Булгариных, и очень у них веселилась.

Однако ж я болтаю о временах позднейших и совсем забываю, что для меня собственно идет только 1837 год, год моей свадьбы, и что мне гораздо интереснее говорить о милой Академии и о том, что в ней творилось, чем о чем-нибудь другом.

Папенька с тетей Надей в это время принялись улаживать в нашей квартире новенькое, красивое гнездышко для своих будущих молодых. И обо всем подумал мой дорогой отец, чтобы нам было удобно и уютно.

До свадьбы я еще успела побывать на открытии Александровской колонны.

Накануне этого торжества в Петербурге была такая страшная буря, что я ее до сих пор забыть не могу. И, значит, буря была точно страшна и опасна, если в городе и за городом вся полиция была на ногах и не позволяла экипажам иначе ездить, как шагом. Смотрели

мы с папенькой из наших окон на Неву... После во всю жизнь мою ничего подобного мне видеть не привелось. Чистое было светопреставленье. Представьте себе, что небо точно разверзлось, раскаты грома и молнии не прерывались ни на минуту, а свет от молнии был так силен, что вода в Неве, мостовая, дома, прохожие, их одежды и лица оставались постоянно белого, фосфорического цвета. И нигде нельзя было различить ни одного цветного пятнышка — все было убито светом молнии. На меня это обесцветенье всех предметов произвело тогда такое сильное впечатление, что впоследствии, стоя перед очаровательной картиной Карла Павловича Брюллова «Последний день Помпеи», я осмелилась даже найти неверным ее освещение. Мне (помня бурю на Неве) казалось, что свет от кратера и свет от молнии не могли в одно время действовать одинаково; по-моему, свет молнии должен был непременно обесцветить и убить всех действующих лиц с их аксессуарами, так ярко и прелестно написанными волшебной кистью Карла Брюллова, на другой половине картины, освещенной красным огнем Везувия. Эта картина — не великая ли фантазия художника! Ведь Карл Павлович не видал своими глазами разрушения Помпеи, а я бурю на Неве видела и до сих пор остаюсь при убеждении, что на деле, в день разрушения Помпеи, такого освещения, как у него, быть не могло. Впрочем, я не стеснялась высказывать самому Брюллову все, что мне думалось, относительно его картин, и он со мною часто соглашался. Помню, как много лет спустя, глядя с ним вместе на его великолепный образ «Вознесение на небо Божией матери», который в настоящее время стоит за престолом в Казанском соборе, я вдруг ему сказала:

— Карл Павлович, голубчик, у Богородицы шея толста.

Брюллов передернул плечами и смеясь отвечал мне:

— Экая проклятая бабенка! Все смотрели, никто не заметил, а она увидала. Толстá, толстá! Сам знаю, что толстá, а переписывать не буду — лень! И так сойдет с рук!

Но возвращаюсь к открытию Александровской колонны. Ночью буря прошла, и к утру площадь осветилась ярким солнцем. Против Эрмитажа, на площади, на углу, где в настоящее время стоит здание государственного архива, были тогда поставлены высокие мостки, на которых были назначены места для чинов Министерства двора, значит, и для Академии художеств.

Нам надо было пробраться туда ранехонько, потому что после на площадь никого уже не пускали. Благоразумные девицы Академии, боясь проголодаться, захватили с собой корзиночки с завтраком и уселись в первом ряду. Церемония открытия памятника, насколько я помню, не представляла ничего особенного и была очень похожа на обыкновенные майские парады, с прибавлением только духовенства и молебствий. Разглядеть то, что делалось около самой колонны, было довольно трудно, потому что мы все-таки сидели довольно далеко от нее. Нам невольно больше всего бросался в глаза обер-полицеймейстер (если не ошибаюсь, тогда обер-полицеймейстером был Кокошкин), который что-то особенно усердствовал, уморительно кабрируя [6] на своей большой лошади, носился вокруг площади и орал во все горло.

Вот мы смотрели, смотрели, проголодались, распаковали свои коробочки и начали уничтожать взятый с собой провиант. Публика, сидевшая на соседних с нами мостках, тянувшихся вплоть до Министерства иностранных дел, последовала нашему благому примеру, начала тоже развертывать бумажки и жевать что-нибудь. Ретивый обер-полицеймейстер сейчас заметил эти непорядки во время парада, освирепел, подскакал к мосткам и, заставляя своего коня ломаться и вставать на дыбы, начал громовым голосом кричать:

— Бессовестные, бессердечные люди! Как, в тот день, когда водворяется памятник войне 1812 года, когда все благодарные русские сердца собрались сюда молиться, вы, вы, каменные сердца, вместо того, чтобы помянуть святую душу Александра Благословенного, освободителя России от двунадесяти язык, и воссылать к небу горячие молитвы за здравие ныне благополучно царствующего императора Николая I, вы лучше ничего не выдумали, как прийти сюда жрать! Долой все с мостков! В церковь, в Казанский собор, и падите ниц пред престолом Всевышнего!

— Дурак! — крикнул чей-то голос сверху, сзади нас.

— Дурак, дурак, дурак! — подхватили, как эхо, залпом неизвестно чьи голоса, и сконфуженный непрошеный проповедник в бессильной злобе принужден был дать шпоры лошади и под музыку войск и неистовый хохот на мостках будто ни в чем не бывало, красиво изгибаясь, загалопировал куда-то дальше...

Этой уморительной сценой и кончу мой рассказ об открытии памятника, так как ничего интересного те-

перь не припомню, и потому лучше прямо перейду к моей свадьбе.

Не помню, чтобы я когда-нибудь в жизни так плакала, как в этот день, когда причесывал меня m-r Heliot к венцу. И папенька тоже весь в слезах заглядывал на меня, стоя в дверях гостиной.

Свадьба моя состоялась 18-го июля. Венчал меня отец мой не как простую смертную, а как истинную дочь Академии. Представьте себе, что весь нижний коридор от нашей квартиры до парадной лестницы был ярко освещен шкаликами. С парадной лестницы вели меня по освещенным кенкетами картинным галереям вплоть до самой церкви, куда папенька в качестве посаженого отца с графиней Закревской ввели меня.

В церкви, как водится, уже ждал меня жених с своими поезжанами[7] и посаженым отцом, Леонтием Васильевичем Дубельтом.

Не успела я переступить порога церковного, как полный хор больших и маленьких учеников Академии грянул мне навстречу громогласное: «Гряди, голубице!» Добрейший духовник мой, о⟨тец⟩ Василий Виноградов и дьякон Тамаринский вышли из алтаря, и началось торжественное венчание. Милейший скульптор Николенька Рамазанов, славившийся между учениками сильным басом, вызвался читать апостола и невозможно страшным голосом проорал мне: «Да убоится жена своего мужа».

Нечего и говорить, что церковь, кроме наших родных и гостей, была битком набита народом, и что горячим поздравлениям не было конца. Певчим за прекрасное пение папенька послал: старшим шампанского, а средним и маленьким целую платяную корзину конфект. Дома меня с Павлом встретили с хлебом-солью и посадили рядышком на диване в голубой гостиной, где я усердно дергала скатерть за каждую из моих подруг, желая им скорей выйти замуж. Свадебный парадный стол Ивана Кудрявого поразил всех своими богатыми аксессуарами. За ужином Иван выказал свое необыкновенное умение кормить и поить людей на славу. Да, вкусно тогда поели и попили на моей свадьбе гости наши, так что было уже поздно, а попойка все еще продолжалась, и никого из гостей нельзя было выжить; выпроводят в одну дверь, а они войдут в другую.

Значит, день вышел из ряду вон, если даже отец мой, который всегда пил очень мало, на радостях выпил больше обыкновенного и тоже охмелел. Меня в это вре-

мя дамы увели из залы и переодели в кружевной чепчик и капот. После я с бокалом в руке показалась в дверях спальни и прощалась с гостями. Тут папенька вдруг неожиданно кинулся передо мною на колени и начал мне говорить, обливаясь слезами, трогательную речь:

— Маша, ты молода, но ты такая женщина, что все должны уважать тебя. Я — твой отец и глубоко тебя уважаю. Маша, голубушка, не уходи от меня никогда! Я без тебя жить не могу...

Я, рыдая, старалась поднять с колен и успокоить папеньку, но он не слушал меня, вырывался из рук моих и прощался со мною, точно как будто мы с ним расстаемся навеки.

Еще смущал меня тогда Нестор Васильевич Кукольник, который в начале вечера вел себя прилично, а тут вдруг, неизвестно почему и зачем, тихо, горько всхлипывая, начал ползать на коленях рядом с папенькой.

Шафер мой, Дмитрий Николаевич Толстой, помешанный на светских приличиях, крайне возмутился этой комической сценой в доме родственника своего, графа Толстого, и начал действовать деспотически: молодого выслал из залы, а молодую попросил дам тоже увести; мало того, даже людям приказал потушить в зале огни. Гостям поневоле пришлось разойтись. Бедный папенька остался совсем один и долго еще неутешно плакал в темной зале. Добрейший отец, как он любил меня, и как я была счастлива, что и после свадьбы оставалась под его теплым крылышком!

Вот и конец моей девичьей жизни. И приходится, кажется, ею окончить мои воспоминания.

Я хотела написать побольше и округлить мои записки изложением некоторых эпизодов моей замужней жизни, столь богатой событиями и знакомством с замечательными людьми, дружбой которых я имела счастье пользоваться в то блаженное для меня время... Но это желание мне не удалось привести в исполнение. Надежда на здоровье мое обманула меня. За последнее время на меня обрушились все лихие болезни. Силы, память и зрение, кажется, хотят разом оставить меня. А главное, я переутомилась, при моей слабости, от постоянного бесплодного думанья, и писать больше не в силах. Какие же воспоминания вышли бы у меня без памяти! Да и дети мои, которым, разумеется, жизнь моя дороже всего, умоляют меня отложить на время мое писание, отдохнуть и поправиться здоровьем. Слушаюсь их родного совета и кончаю мои воспоминания девичьей жизнью.

ПРИЛОЖЕНИЕ

М. Ф. КАМЕНСКАЯ

ЗНАКОМЫЕ. ВОСПОМИНАНИЯ БЫЛОГО

1. Семейство Головастовых

Хорош был и наш розовый деревянный дом, по третьей улице города Васильева.

До сих пор мне кажется, что я не променяла бы его на каменные палаты.

Увы! теперь таких домов уж нет. Утратилась навеки эта растянутая, не жалеющая земли, удобная для рода человеческого архитектура. В то время столпотворения не любили жители города Васильева, к небу не лезли, а ползли и ширились на земле-матушке, все в один этаж. Много-много что мезонинчик позволят себе на доме поставить; а мало, тесно покажется хозяину,— он и пристроечку затеет. И вырастет у него на любом боку дома, как гриб, спальня или детская, смотря по надобности. И никому эта шишка на доме глаза не колет. Всякий взглянет, да и скажет: «Стало, человеку тесно, коли выстроил». Да так никто и не придирается.

Вот и у нас был такой же дом. Барский, можно сказать! Со двора всего три ступени, прямо в стеклянный коридор, а из коридора и пошли все комнаты да комнатки, комнатки да комнаты. А в средине дома круглая зала с колоннами и стеклянным куполом.

В этой зале, как теперь помню, мой отец фокусы показывал. Чего-чего там у него не было! Посредине, от самого купола висел на зеленом снурке большой стеклянный шар, который по вопросу моего отца говорил, кому который год, называл по имени того, кто подходил к нему.

Помню, что шар этот был большой льстец и говорил всем дамам любезности. Помню, что отец мой называл этот шар la femme invisible, причем мне всегда очень хотелось рассказать всем гостям по секрету, что папенька их обманывает, что это совсем не «femme invisible», а просто папенькин камердинер Андрей, который сидит наверху и смотрит в проделанную из мезонина в зал дырочку.

Были в этой зале разные колпаки, коробочки, под которыми пропадали часы, платки и опять целы и невредимы возвращались к своим владельцам.

Была там и золотая колясочка с колдуном, которая сама ездила по серебряному столу, поворачивалась и останавливалась по приказу моего отца. Да я уже сказала, что чего-чего там не было!

А как хорошо жилось мне в этом розовом доме! Там начала развиваться моя младенческая память. Там началось мое воспитание, которое долго шло чисто на русский лад. До семи лет меня воспитывали только хлебом. Да в прибавку к хлебу воздуху отпускалось сколько душеньке угодно, а моей душеньке воздуху требовалось много.

Целый Божий день была я во дворе.

И двор у нас был славный: большой, длинный, мощенный досками, из-за которых прорывалась зеленая трава. С одной стороны примыкала к забору, тогда мне казалось, большая зеленая гора. На горе рос цикорий, из которого в июне делались славные одуванчики. Когда я выросла, эта большая гора оказалась не что иное, как куча мусора и щебня, поросшая травой.

По другую сторону стояли сараи: в них, за неимением лошадей и экипажа, баловщик-отец устраивал мне качели и иллюминации из моркови и свеклы.

На этом-то прекрасном дворе подвизалось мое богатырское детство.

Во все времена года на нем у меня было хлопот полон рот.

Летом я вставала с курами, выбегала на двор и начиналась возня. Чего не придумывала моя детская фантазия!

Особенное же призвание у меня было к архитектуре. Славно умела я строить дома из старых досок и разбивать сады из песку и цикорию, который так обильно производила моя любимая б о л ь ш а я г о р а.

Тружусь, бывало, в поте лица, сердечная: рою, уколачиваю огромной лопатой, на самом-то солнечном припеке, без шляпы и перчаток, с голою грудью, с голыми руками и ногами, которые у меня осенью становились чернее сапога.

Насилу-насилу, бывало, выпачканную, оборванную, загонят меня домой на час обеда или завтрака. Нянька Аксинья сведет меня прямо к умывальнику, обмоет мою рожицу, руки, наденет чистое платье, и я, вся разгоревшаяся от трудов и солнца, являлась к столу, проворно поглощала обед и опять летела к своим милым постройкам и плантациям.

С любовью, с полным убеждением, что это ребенку здорово, смотрели на мои проделки отец и мать.

Как часто, часов в семь вечера, они находили меня уснувшую в моем новом доме, бережно вытаскивали из него и относили на руках в мою маленькую кроватку.

Изо всего умела я извлекать себе новые потехи.

Приударит, бывало, летний ливень, вот-то блаженство! Выбегу я потихоньку из комнат, да под желоб. Вода хлещет на меня с высокой крыши, а я приплясываю, хлопаю ручонками, покуда не хватятся меня дома, а иногда и такие счастливые дни бывали, что про меня и забудут. Натешусь я вдоволь, пройдет ливень, взойдет солнышко, выжму я свои длинные косы, пущусь бегать по двору и — обдует меня ветерок, и обсушит меня яркое солнышко.

Осенний ветер еще лучше того... Помню я, как он приводил меня в какое-то неистовое блаженство. Только лишь завьется, закрутит ветер по двору, я уж на моей большой горе, на самом-то краю, руки врозь и дышу не надышусь. Рвет ветер мое платье, косы хлыщут по голым плечам, а мне-то и любо! Но вот ветер дунул еще сильнее, платьице мое вздулось парусом, и ноги мои не стоят, меня несет, несет, и я хохочу, хохочу!.. Ах, как было хорошо! А лужи-то, лужи! Ну, не прелесть ли это — возьму, бывало, корзинку и пойду полоскать куклам белье, положу около лужи дощечку, подберу платье и пошла махать куклиной рубашкой — только брызги летят! ну настоящая прачка, такое веселье!

И зима не загоняла меня в теплую детскую. Только, бывало, нанесет снежку, начнет сильно морозить, я надеваю свой китайчатый на зайце тулуп, шапку, рукавицы и отправляюсь звать отца гору строить. Тот-

час же бросит баловщик свою работу, подпояшет халат ремнем, наденет фуражку — и пойдем мы с ним на двор. Закипит у нас работа: отец загребает снег на мою большую гору, а я топчусь около него по снегу ногами или убиваю его рукавицами. Как раз поспеет у нас гора и отец скажет мне: «Погоди, я велю ее облить водой». И помню, как стою я подле горы, полна нетерпения.

Вот вижу, как из кухни повар и солдат несут ушат воды, вода плещет через край, и жаль мне, что она даром льется. И кричу я им: «Тише, тише, голубчики!..» Но вот входят они на гору, ставят ушат, вытаскивают водонос, берутся за ушки ушата, опрокидывают его, и вода каскадом сбегает с горы. Как описать мою радость и муку вместе? Надо ждать, пока мороз не скует снег ледяною корою. Сколько раз снимаю я рукавицы и прикладываю руку к горе. Наконец, рука скользит по льду... «Можно, папочка! можно!» — кричу я отцу — и откуда берется у нас рогожка! и я в первый раз слетаю с горы на коленях отца, после чего она отдается в мое полное владение. И как ни придумываю я кататься с нее: и сидя на дощечке, и стоя, и лежа ничком, и сколько раз колочусь, бывало, об конюшню головой. Но как видно, я в те блаженные годы за тычком не гналась.

Бывали у меня иногда и горькие минуты во дворе розового дома.

По воскресеньям, например, когда мать моя, по доброте сердечной, забирала к себе на праздник сирот-кадет из корпуса и когда этим милым гостям приходило в голову учить меня ружейным приемам и маршированью, больно доставалось мне по голым плечам щепкой, изображавшей шпагу, от мнимого офицера — кадета Жозефа. Больно было, очень больно, но я спартански сносила боль, глотала слезы — и с палкой на плече выступала за ним журавлем. Это бы все — еще ничего, что больно; но зато честь велика!

А вот что было обидно: после обеда маменька выходила на крыльцо и за ней няня Аксинья выносила большой поднос с гостинцами, и начиналась дележка. Маменька поровну клала в руки каждого из нас пастилы, орехов, изюму, черносливу и уходила опять в комнаты. Не успевала она скрыться за дверьми, как кадеты мгновенно поглощали свои порции и начинали поглядывать на меня искоса.

Я жадна не была: раскушу, бывало, миндальный орех, воткну его в изюминку и закричу Жозефу: «Жозя! Жозя! Посмотри, какой я грибок сделала!» Мрачно подойдет ко мне Жозя, поглядит на грибок еще мрачнее и скажет страшным голосом: «Кто даст — тот князь, а кто не даст — тот половину колена в грязь!» Сама не знаю, чего я пугалась, но при этом возгласе изюминка моя с орехом всегда переходила в руку, а из руки в рот Жози; а за ней и все остальные сласти мои уходили тою же дорогою и скрывались во всепоглощающем желудке кадета.

Вот это можно сказать, что была кровная обида! Одно мне непонятно до сих пор: что заставляло меня отдавать добровольно все этому маленькому злодею? ужели гордость? ужели боязнь, что я не буду княгиней, если съем сама свои сласти? Или страх попасть половину колена в грязь? Я думаю, что грязь пугала меня более, потому что об титулах мира сего я не имела никакого понятия. Вот тому пример. У нас был сосед архитектор Момзен, у него были две дочки: Катенька и Лизанька. Часто играли они со мной на дворе. Раз как-то Катенька вдруг спросила меня:

— Кто ваш папенька?

— Мой папенька граф ***,— отвечала я.

— Да что ж это граф? Этого мало! А кто он, какой его чин? — продолжала допрашивать Катенька.

Я молчала и краснела, потому что не знала, что отвечать.

— Ну вот мой папенька архитектор, а ваш кто? — сказала Катенька, важно вздернув свой маленький носик.

Я покраснела еще больше; слезы навернулись на глазах: мне было больно за честь моего отца.

— Ну, кто ж ваш папенька? — повторила опять Катенька.

— Погодите!..— вскрикнула я болезненно и пустилась стрелой к маменьке.

— Кто мой папенька? — спросила я ее, запыхавшись.

— Что ты, с ума сошла? Разве ты не знаешь, кто твой отец? — с изумлением сказала мне мать.

— Я знаю, да кто он?

— Как кто он? Ты знаешь, что он граф ***.

— Да этого мало! Что такое граф?.. Я вас спрашиваю, кто он? Вот у Катеньки папенька архитектор, а мой кто такой?

— А-а...— сказала протяжно маменька,— твой — мастеровой.

— Неправда! Я не хочу! Мой тоже по крайней мере архитектор! — едва проговорила я, и слезы хлынули ручьем.— Я не хочу, чтоб мой отец был хуже отца Момзиных. Скажите, пожалуйста! Катенька ждет меня.

— Поди и скажи ей, что твой отец мастеровой.

— Не пойду! Неправда, мой отец не мастеровой! Мастеровые в халатах ходят. Не хочу! Не хочу! Не скажу!..

— Да разве твой-то не в халате? Поди посмотри на него, и халат-то еще какой рваный! — сказала маменька, заливаясь звонким смехом.— А молотком-то как стучит... слышишь?..

Точно, из кабинета отца долетал стук молотка и визг меди. Горько убедилась я в истине слов матери: мой отец был даже не архитектор, а мастеровой в рваном халате. С страшными слезами бросилась я в детскую, подлезла под кровать няни и вышла на двор тогда только, когда девочек Момзиных там не было.

Сильно скандализировало жителей города Васильева мое ультранатуральное воспитание. Часто, заглядывая на двор наш, многие из них говаривали: «Это ни на что не похоже! Какая дворняжка растет, а еще графская дочь! Страм, просто страм!..»

Одно, что отвлекало меня от этих ультранатуральных забав, была страсть ходить по гостям.

Только, бывало, завижу со двора в окно, что маменька в своей спальне надевает перед зеркалом шляпу, я перед ней тут как тут. Обойму ее, прижмусь к ней головкой и прошу ее взять меня с собою.

— Да помилуй, Маша! Куда я тебя возьму? Я иду навестить больную старушку. Нельзя мне всюду тебя таскать за собой.

— Голубушка-маменька, возьмите! Я шуметь не буду, я буду умница!

— То-то, теперь умница! Учиться не хочешь, по-французски не говоришь. Вот приедет гувернантка, так надо будет за дело взяться. Тебе семь лет скоро минет, стыдно дурочкой быть!

— Мамочка, голубушка, я все буду делать... Право, с нынешнего дня все буду просить по-французски!

Сердце не каменное. Взглянет на меня мать ласково, да и скажет: «Ну поди, проси няню, чтоб она одела тебя».

И пущусь я бегом к няне Аксинье, и скоро возвращусь опять к маменьке; но уж не дворняжкой, а разодетой куколкой.

Повернет меня маменька, бывало, перед собою, проведет рукой по атласным, длинным моим косам, стянет немного набок мою пастушескую шляпку и — улыбнется... да как улыбнется!

И выйдем мы с ней за ворота и пойдем по мосткам.

В то время я всегда старалась занимать маменьку разговорами.

Много лет спустя чудная мать моя мне рассказывала, что в одно из таких путешествий я хотела похвастать перед ней моим знанием грамматики и французского языка.

Шли мы мимо съезжей и наткнулись на козла и свинью.

— Маменька,— сказала я вдруг,— ведь козел он?

— Он, душенька.

— И дедушка он?

— Он, душенька.

— А свинья ведь она, маменька?

— Она, душенька.

— И бабушка она?

— Она, друг мой,— ответила мне мать очень серьезно.

— Это ведь грамматика, маменька?

— Да.

— А я хорошо ее знаю?

— Очень, очень хорошо!

Мы пошли дальше, навстречу нам попался разносчик с цветами. И мне пришла, должно быть, мысль блеснуть перед маменькой тоже и французским языком.

— Мама, купе-муа дю цвете! — отпустила я очень развязно.

Тут мать моя пришла в неописанный восторг и купила мне резеды.

Это так поощрило меня, что я с того дня начала, дурно ли, хорошо ли, постоянно говорить по-французски.

Но я отдалилась от рассказа.

Вот мать ведет меня за руку по мосткам, очень, очень далеко. Наконец домики начинают редеть, тянутся длинные заборы, из-за которых выглядывают яблони и вишни в цвету. Не доходя до большого кладбища, мать моя остановилась у приземистого серого домика в три окна и сказала мне:

— Ты смотри, Маша, будь умна, будь ласкова со старушкой, да не бойся, если услышишь лай собак: они тебя не тронут, они заперты.

После этого предуведомления я с каким-то сжатым сердцем переступила за высокий порог калитки и вошла на маленький двор. Маменька стукнула в дверь дома, и нам навстречу вышла толстая высокая девка.

— Что, старая барыня здорова? — спросила ее маменька.

— Ничего, сидит! — ответила грубо толстая девка.

— А барышня? — прибавила маменька.

— Известно ее здоровье, все колобродит...

— Можно видеть старую барыню?

— Известно можно, ступайте! — проговорила девка и взялась за ручку двери, за которой раздавался злобный лай нескольких собак.

— Нет, Василисушка-голубушка, запри прежде собак: они дитя испугают.

— Ы-ы, черти! Анафемы! Чтоб вам всем переколеть! — проворчала сквозь зубы девка и скрылась за дверями. Раздались шлепки, и лай собак, превратясь в болезненный вой, начал удаляться.

— Ну ступайте, я заперла! — сказала девка, отворяя дверь настежь.

Робко переступила я за матерью в маленький зал, а потом в гостиную еще меньше, где на диване сидела худенькая старушка.

— Здравствуйте, Пульхерия Васильевна. Вы не узнали меня? — сказала мать моя старушке, которая всматривалась в нас в круглые зеленые очки.

— А, графинюшка моя, это ты! Я было и не признала тебя. Садись, садись на диван-то. А это кто с тобой? — прибавила старушка, приложив руку сверх очков и наклонясь ко мне.

— Это моя Маша; вы ее не узнали? Она очень выросла.

— Как не узнала? Узнала! Славная девочка какая... Ну, и ты садись, садись, Машенька. Эй, Василиска! Поди скажи барышне Софье Кириловне, что гости пришли, что кофею надо сварить, сухарей, булочек сладеньких, да сливочек густых снять: слышишь?..

— Слышу,— ответила девка и, хлопнув дверью, исчезла.

— Ну, как вы себя чувствуете? Как ваше здоровье? — начала опять мать моя.

— Я? Я совсем здорова! — сказала, бодро встряхиваясь, лимонная, сморщенная старушка.— Кабы не детки, я бы просто молодец! Они живую меня в гроб кладут... Легко разве сердцу матери пережить, что я пережила, а?.. Скажи, графинюшка?

— Софья Кириловна все не поправляется? — спросила с участием мать моя.

В это время, как бы в ответ на слова матери моей, за противоположными дверями раздался пронзительный крик, и дверь затряслась на петлях. Мать моя невольно вскочила и спрятала меня за себя.

— Да ты не бось, графинюшка, она это так, немножко сердится! Это ничего, она сюда не придет, она гостей не любит. Это ничего, она еще и кофею нам сварит, погоди... Нынче, нечего Бога гневить, она хорошо занимается по хозяйству, все делает, она смирна... Одно только, не можем уломать одеться... Ну, теперь лето, тепло... А зима-то придет, ведь все сердце за нее изноет: кроме одной бумазейной фуфайки коротенькой, ни за что на нее ничего не наденешь. А шутка ли дело, отсюда в самый-то мороз, в самую раннюю обедню, да к реке Чухонке, к этому душегубцу Лазину всякий день с ведром ходить, коридор его мыть. Босая-то, голая-то, в одной-то фуфаечке! А, графинюшка? Слышь, он святой!.. Лазин святой!.. Фармазон эдакой!.. Разбойник!.. Фарисей!.. А она, слышь, графинюшка, грешница, должна прах с сапогов его обмывать. А?.. Генеральская-то дочь!.. А по мне-то она какого рода?.. Ведь ты знаешь, я чистой княжеской крови!.. Помнишь, графинюшка, еще при Пугачеве отца моего повесили на воротах?.. Ведь я помню!.. Про что бишь я говорила?..— спросила вдруг старушка, совершенно спутавшись в мыслях.

— Вы говорили, Пульхерия Васильевна, об здоровье Софьи Кириловны.

— Ну да, да! Она теперь здорова... Только знаешь, что я тебе скажу, одеваться не хочет: боюсь, ей холодно...

В это время Василиса внесла кофе и прервала разговор. Старушка начала потчевать мать и меня.

— Хорош кофей, графинюшка?

— Очень хорош, да неужели это сама Софья Кириловна варила? — спросила маменька у Василисы, которая стояла у дверей с подносом.

— Она варила, разве она кому даст варить! — дерзко ответила девка.

— Она, она варила,— подхватила Пульхерия Васильевна.— Ведь она у меня хозяйка, мастерица... Да ты сливочек-то подлей, у меня коровка-то своя, а Соня снимет, так ложка стоит. А вот Саша мой, так умеет сливки из яйца делать, так что и не узнаешь, что не сливки. Помнишь, графинюшка, как он на корабле был, ведь Нельсон без него жить не мог... Все кричит: где Головастов? Головастов, сделай мне сливки!.. Саша и сделает. Да ты помнишь, графинюшка, это было тогда, как Американец выучил обезьяну Крузенштерну журнал замарать, еще этого Американца на остров высадили... Такой был проказник!... Так сел за стол, да при обезьяне-то и ну бумагу марать у Крузенштерна на столе! Марал, марал, да и ушел, а обезьяна-то на его место, да по журналу-то и ну царапать... Да, да, проказник был...* К чему бишь я эту речь завела?

— Вы говорили, что Александр Кирилыч умеет сливки из яйца делать,— напомнила маменька.

— Да! Да, умеет, так бьет, бьет, да и сделает сливки... А вот пропадает такой человек! Серую куртку надели... А за что, спроси. Что он сделал? Билет какой-то, говорят... Экая важность билет! Уж мой сын и билета не может сделать! Я просьбу подала, все выставила, и кто он, и кто я такая, упомянула... Ведь ты знаешь, графинюшка, я чистой княжеской крови... Так до сих пор ответу нет. Хочу еще написать, да сама-то нынче не могу, память слаба. А Соню просила, так такой вздор пишет, что и не разберешь. Все Лазина в просьбу сует, да какую-то возвышенную душу... И Василиску туда же вписала... Ведь Василиска у нас тоже в святые попала: ни до холодной воды ей Соня дотронуться не даст. Соня сама и корову доит, и полы моет, и за собаками и за кошками подчищает: вишь, Соня грешница, ей трудиться надо в поте лица, а Василиска святая; ручки у этой шельмы целует, ноги ей всякий день обмывает. А Василиска и сидит как писанка, и рада, и плывет, как опара. Видела ты, графинюшка, рожа-то у нее какая стала? Да это бы все ничего, а то поставит эту бестию посредине нашего двора, да и станет около нее, да в ноги ей, в ноги, да и запоет:

Василиса Дмитревна,
Пошла, пришла,
Взяла и победила:
Ура! наша взяла...

---

* известная шалость Американца-Толстого. (*Примеч. автора.*)

Грех, да и только! А все этот душегубец Лазин одурил девку... Вот жизнь-то моя какая!.. Сына взяли, а дочь... что дочь?.. Ни в живых, ни в мертвых... Собаки лают, кошки все цветы мои перегадили... а я точно пень какой сижу. И такое со мной бывает, что я и сказать не могу: вот и знаю, чего мне хочется, а спросить не могу! Вот и вижу, что это хлеб, а назвать его как — не знаю, только пальцами маню... А Василиска разве поймет?.. Да она если и поймет, так не даст, а знай только орет на меня: «Чего вам?..» Чего вам?.. Да кабы я знала, я бы сказала...— и старушка горько заплакала.

Я заплакала тоже... Маменька начала прощаться. Старушка отерла глаза и опять повеселела.

— Куда ты, графинюшка? Погоди, погоди, не пущу: ты еще шляпки моей новой не видала, я показать тебе хочу. Хорошенькая шляпка, Соня мне сшила, к обедне ходить. Только одно мне не нравится, бант она какой-то на маковку посадила, кажется, так не носят... точно ворона какая сидит. Ты ведь, графинюшка, мастерица, у тебя руки золотые, переколи мне его, пожалуйста. Эй, Василиска, шляпку мою подай! — закричала старушка.

Мать моя села опять, а я прижалась к ней и потихоньку дергала ее за платье. Василиса принесла шляпу и сунула ее в руки барыне.

— Вот посмотри, графинюшка: всем бы шляпа как шляпа; а что это за бант? Точно на смех мне Соня делает! — говорила старушка, дергая за ленты.— Да и поля какие страшные... я точно сыч из гнезда выглядываю! — прибавила Пульхерия Васильевна, надев шляпку и глядясь в зеркало.— Уж эта Соня! Всегда так делает все хорошо, хорошо, да вдруг и ввернет штучку. Вот хоть брось вещь!

Старушка начинала сердиться. Шляпка была в самом деле такая уморительная, что маменька невольно улыбнулась, а я громко захохотала.

— Вот даже ребенок смеется, а мне ведь нельзя в такой кибитке ходить: все знают, кто я!.. Вот детки. Саша деньги в печке жег, а у матери шляпы нет! Ну что это, что? — и Пульхерия Васильевна начала трепать шляпку.

— Да вы не беспокойтесь, я вам это все переделаю! Пришлите мне шляпку: я дома вам ее исправлю.

— Ах ты, моя родная, спасибо тебе... Бант-то ты мне сдери долой, я видеть его не могу... Ох, Соня,

Соня!.. Вот что значит, что разум-то у нее не на месте... Все это масонщина проклятая!..

Мать моя распрощалась еще раз и проворно вывела меня из дому. Мы пошли домой. Помню, что маменька шла грустная, слезы дрожали на ее ресницах. Я любопытно заглядывала ей в глаза, припрыгивая около нее по мосткам. Мне хотелось закидать ее вопросами, но я — сама не знаю — почему-то молчала.

— Ну, что ты заглядываешь? — сказала мне маменька и проворно отерла глаза.

Этого было довольно: я рассыпалась в вопросах.

— Что это за смешная старушка, маменька?

— Она не смешная, а несчастная, душа моя. Ее надо жалеть, а не смеяться.

— Она точно княгиня, маменька?

— Нет, это ей только так кажется.

— А кто это, маменька, так страшно в дверь стучал?

— Это тоже больная, дочь ее.

— Маменька, вы больше меня не водите к ним: мне не хочется, я боюсь!

— Несчастных и больных бояться не надо, Маша. Помни мои слова, и когда вырастешь, в мою память навещай больных и несчастных. Слышишь?

— Я буду, маменька,— серьезно сказала я и горячо поцеловала руку матери.

Этот визит, однако ж, и грустные слова матери отбили у меня надолго охоту ходить по гостям.

Сильно запечатлелся в мою детскую память серый дом и все, что я видела в нем и слышала.

Много лет спустя, когда я была уже взрослая девушка, кто-то в разговоре помянул при мне имя Пульхерии Васильевны, и в памяти моей воскрес в один миг серый дом, толстая красная девка, страшный лай собак и сама старушка Пульхерия Васильевна и все, что поразило меня в ее доме.

Желая поверить мою детскую память, я начала расспрашивать мать мою и узнала подробно грустную повесть семейства Головастовых.

Вот она.

Кирил Иваныч Головастов, муж Пульхерии Васильевны, был далеко не генерал, как впоследствии времени величала его полусумасшедшая вдова. Кирил Иваныч был просто инспектор училища рисованья в городе Васильеве, человек очень умный, ученый и приятный.

Пульхерия Васильевна в то время (вопреки поверью, что люди глупые с ума не сходят) была женщина недальняя, добрая, но гордая по природе и занятая собой.

У Кирил Иваныча от Пульхерии Васильевны было двое детей: сын Александр Кирилыч и дочь Софья Кириловна. Оба они удались умом не в мать, а в отца и получили прекрасное образование.

Александр Кирилыч был хорош собой, силач, умница, увлекательный рассказчик, каламбурист, рифмоплет и замечательный рисовальщик легоньких вещей в альбомы. Карикатуры его славились сходством и остротой. Изумительно подражал он гравюре пером. Танцевал неутомимо и выделывал ногами, как коклюшками, всевозможные антраша и ригодон; играл на гитаре и приятным баритоном распевал романсы. Словом, был душа общества.

Софья — сестра его, интересное воздушное сентиментальное созданье, была серьезного ума девушка, много читала, любила вдаваться в споры и прения с людьми учеными. Но несмотря на это, была и кокетка, кружила головы и вербовала полки поклонников. По части искусства Софья не уступала брату: рисовала превосходно, писала стихи, отлично играла на фортепьяно, танцевала как сама грация, а пела, говорят,— так заслушаешься.

Ко всем этим прелестям в семье Головастовых Пульхерия Васильевна с своей стороны обладала в совершенстве кухонным искусством и кормила гостей на убой.

Что ж мудреного, что дом их был набит битком с утра до поздней ночи художниками, певцами, музыкантами и толпой военной и статской молодежи? Где есть хорошенькая дочка, где бренчит фортепьяно и где из заповедного уголка аппетитно веет вкусным обедом, там этого добра не оберешься.

У Софьи, говорят, было много женихов, из которых более всех пылал любовью юный художник Русони из обруселых итальянцев. Замечали, что и Софья отличала его от других обожателей.

Так-то пели, любили, рисовали, любезничали, играли в доме Головастовых, и все шло хорошо.

Но хорошо долго не бывает.

Повадился часто заходить к ним старичок, начальник Кирил Иваныча, известный мистик и масон Лазин.

Только окружит, бывало, Софью молодежь, подсядет к ней Русони, а старикашка уже тут как тут. Как бы ни хохотала, ни дурачилась Софья, только завидит Лазина — и смолкнет, как испуганная пташка, и румянец сбежит, и смех оборвется. Иной раз и не видит его, спиной к дверям сидит, а только переступит он в залу, Софья вздрогнет всем телом, схватит первого кто ей попадется за руку и, не оборачиваясь, прошепчет: «Пришел»,— а у самой-то рука точно лед. Обернутся, посмотрят — Лазин. И добро бы шумел — нет, точно кошка ходил, и сапоги на бархатных подошвах носил.

Спросят, бывало, Софью: «Что с вами?» — «Я сама не знаю!..» — ответит она, отойдет, сядет одна и задумается. Не пройдет минуты, а старик уж за ней сидит и шепчет... А что шепчет, никто не знает. Иной раз Софья точно как бы боролась с Лазиным, слышно было, что она то спорит с ним, то на смех его подымает, да вдруг и не выдержит — в слезы, да и убежит в свою комнату.

Страшно разбирала молодых людей охота послушать тайную беседу Лазина с Софьей. Но как ни ухитрялись, как ни подходили близко — ни одного словечка не поймали: старик или смолкнет совсем, или громко заговорит о вещах самых обыкновенных.

Мало-помалу все знакомые Головастовых начали замечать, что Софья на себя не похожа, какая-то непривычная ей робость овладела ей, к фортепьяно при гостях и не подходит. А зато ночью или рано утром все соседи слышали, как певала она псалмы и молитвы... да как певала! Так, что всю душу надорвет. Старики слушают да плачут, а молодые уши затыкают и говорят: «Что это Софья точно отпевает кого-нибуль, страсть какая!..»

Стали носиться слухи, что к Софье сватался тот-то — отказала, другой — отказала; наконец, будто бы сватался и Русони, и ему тоже отказ. Много толков было в училище рисованья об Софье, но никто понять не мог, что с ней стало. Переродилась девушка совершенно, не хохочет больше, не вьется по-прежнему, не щебечет, все норовит одна сидеть. Забьется в широкую амбразуру окна и все думает... Как ни подойдет к ней Лазин, вздрогнет всякий раз, вспыхнет вся, а потом помертвеет, и руки опустятся, только одни глаза горят да глядят в глаза старика. А он за руку ее возьмет и заговорит шепотом... Все танцуют, вертятся около них,

поют, играют! Смех, говор, шум. А старик все шепчет, а Софья все слушает да слушает... Пристают, бывало, к ней, тащат ее в круг молодежи, она только рукой махнет и скажет как бы в забытьи: «Оставьте меня!» — а сама все глядит на старика. Он ей за это ласково кивнет головой и улыбнется. И Софья улыбнется... только страшно она, говорят, улыбалась.

Пойдет молодежь жаловаться отцу:

— Помилуйте, Кирил Иваныч! Наша царица нас покинула, ее отвоевал ваш противный старикашка Лазин. Явите свой суд, свою управу!..

— Не могу-с, ничего не могу-с... Ваша царица приносит дань уму-с! Прекрасная дань прекрасному победителю-с!.. Ученье свет-с, а неученье тьма-с!.. Ничего не могу-с, ничего...

Побегут, бывало, дамы к Пульхерии Васильевне с той же жалобой.

— Ну что ж, Бог с ней, пусть ее сидит, ведь он генерал: какое место занимает! Почем знать, где девушка судьбу найдет?

— Да ведь Лазин слывет монахом, он езуит, он никогда не женится.

— Ну, уж и монах, и езуит, и не женится!.. Да чем моя Софья ему не пара, я бы хотела знать?.. Ведь мать моего отца по женской линии происходила от старинного боярского рода Морозовых... а прабабка моей матери из Польши взята была, тоже от чистой царской крови исходила... Ну, Кирил Иваныч — предки его все бояре были... Чего же ему больше, Лазину-то? Мы, слава Богу, никому собой стыда не принесем, хоть расперемаргграф будь, а не то что генерал. Что же вы все — не женится да не женится!

Начали говорить в училище, что Софья к Лазину чему-то учиться ходит.

— Что ж, он человек божественный, это хорошо! — толковали старики и старухи.

— Он плут! — говорила молодежь.

Вдруг неожиданно умирает Кирил Иваныч, и двери Головастовых закрылись для гостей.

Через шесть недель остальное семейство переехало к большому кладбищу, в серенький домик, куда впоследствии меня водила мать моя. Многие из училища по старой памяти ходили навещать старушку Пульхерию Васильевну: она была очень грустна и на чем свет стоит бранила Лазина. Софья выходила к гостям очень

редко, а когда и выходила, то ее едва узнавали: так изменилась, исхудала она, и ни в говоре, ни в чем не была похожа на прежнюю Софью. Александр Кирилыч, душа и затейщик веселостей, никогда не был дома и исчезал неизвестно куда. Скука, траур... Скоро всем надоело ездить утешать Пульхерию Васильевну и смотреть на полумертвую Софью, все поотстали от дома Головастовых и даже начали забывать об них. Один только Русони не забывал Софьи, часто заходил к ним, но его никогда не принимали.

Прошло года полтора.

Раз как-то, засидевшись у товарища до заутрени, Русони возвращался домой. Тихо шел он, задумавшись, по коридору училища. Вдруг что-то мелькнуло вдали.

Русони начал вглядываться, было еще темно, и рассмотреть было трудно: что-то странное, не зверь и не человек, ползало и поворачивалось у дверей Лазина. Русони пошел скорее... Вдруг раздался тихий, заунывный напев псалма... Острым ножом кольнуло в сердце молодого человека. Едва держась на ногах, пробираясь по стенке, чтоб не упасть, набрел он на знакомый голос... Ближе, ближе — и рухнул всем телом на окно, закрыл лицо руками и зарыдал: не более как в трех шагах от него ползала Софья и мыла грязные плиты перед дверьми Лазина... Софья! нет, это была только тень Софьи: бледная, полунагая, остриженная клочками, с оловянно-мутными глазами... Только голос был все такой же, только в нем не умерла душа Софьи. Все звонче заливалась она, и громче, громче рыдал Русони...

А Лазин спал... Спал сном праведника...

Скоро по всему городу Васильеву заговорили, что Софью Головастову свел с ума масон Лазин.

Часто видали ее на улице в том же наивном костюме. Сожалели, охали, ахали, но наконец привыкли и замолчали. Власти же города Васильева в прогулки Софьи по улицам в одной коротенькой фуфайке не вмешивались: если ей не холодно, им-то какое дело? Ходи себе сколько душе угодно! Патриархален был тогда город Васильев.

Любопытство опять заманило старых знакомых в дом Головастовых. Но любопытство не удовлетворилось: слышали только за дверями крик, пение, а Софьи никто не видал.

Старушка Пульхерия Васильевна была довольно спокойна. Новое страшное горе не так поразило ее,

как все ожидали. Чувства ее слишком дробились, чтоб действовать сильно, она как-то терялась в них и сама не знала, о чем больше скучать: о муже ли, об дочери ли или сыне.

Александр Кирилыч в это время пропадал, как и прежде, жил на отдельной квартире и почти не являлся на глаза матери. А когда и являлся, то не на утеху: приходил всегда какой-то мрачный, оборванный, проклинал жизнь свою, просил денег и уходил.

Сильно терзало это гордость Пульхерии Васильевны: как, сын ее Саша в оборванном платье, сын ее Саша без денег!

Вдруг старушка вся просияла.

Александр Кирилыч разбогател и покатился на рысаках, в коляске с гербами, по городу Васильеву. Пульхерия Васильевна забыла все горя свои, начала ходить по знакомым и рассказывать, что Саша ее получил наследство, что он женится на бароньше, на самой знатной, из самой-то древней Курляндии; что бароньша приданое себе покупает у настоящих француженок, что Саша ее мебель купил всю с золотом.

И точно, в домике, где жил Головастов, часто видали в окно хорошенькую головку женщины, и в дом носили новую мебель и картоны.

Гордость Пульхерии Васильевны купалась в блаженстве.

— Как? что? откуда? — шептали во всех углах города Васильева. Наконец, зашептали и в полиции, а из полиции весть об неожиданном богатстве бедного чиновника Головастова долетела и повыше, куда следует.

Шу-шу — и начала подниматься туча, и понеслась на разукрашенный домик Александра Кирилыча.

В одно прекрасное утро Александр Кирилыч, не чуя грозы, сладко почивал с баронессой в саду в беседке. Вдруг вбегает к ним хозяйка дома и кричит: «Спасайтесь! Спасайтесь! Сейчас сюда будет полиция, вас взять хотят... Бегите, бегите!»

Мертвая как полотно вскочила баронесса, еще мертвей вскочил Александр Кирилыч. И засовались во все углы, бросились прямо в кабинет, да и ну деньги вытаскивать из стола. И сами не знают, что с ними делать.

— Нате, нате! — кричит баронесса и сует хозяйке целые пачки ассигнаций. Нищие подошли к окну: баронесса и им так в форточку пачки и кидает, а Александр Кирилыч схватил целую охапку, да в печь, и зажег.

Не успел он заслонки захлопнуть, как у подъезда сильно дернули звонок, и мимо окон заходили городовые.

Александр Кирилыч подбежал к столу, сунул себе что-то в карман, подхватил баронессу на руки и унес в беседку.

Между тем полиция нахлынула в дом, обошли по всем комнатам — нет никого. Спрашивают, где чиновник? Хозяйка, онемев от страха, могла только пальцем указать им в окно на беседку.

Полиция туда. Дверь заперта...

— Ломать! — крикнул полицеймейстер. Квартальные уперлись, и дверь слетела с петель. Вслед за этим раздались два выстрела — и густой дым покрыл все.

Все бросились в беседку.

Разлетелся дым. На диване, прижавшись в оба угла, друг против друга сидели Головастов и баронесса с пистолетами в руках.

Оба были живы: пули пролетели мимо.

Громовым ударом поразило Пульхерию Васильевну, когда она узнала, что сына ее взяли под суд, разжаловали, надели серую куртку и приговорили сослать в арестантские роты.

А тому, что Александр Кирилыч разбогател воровством, делая фальшивые ломбардные билеты, и что бароньша была не бароньша, а чухонка, солдатская дочь — этому Пульхерия Васильевна и не поверила.

— Оговорили, подвели невинного человека злые люди! Зависть, зависть, и больше ничего. Да я это, вы думаете, так оставлю? Нет, я это все на чистую воду выведу! Я просьбу напишу, ужо им самим будет!.. Я Сашу оправдаю. Меня все послушают, меня все знают... Я ведь не кто-нибудь такой, я ведь чистой княжеской крови.

Гордость довершила горе: старушка начала заговариваться.

Софью же нисколько не потрясло это обстоятельство. Когда, по просьбе матери, Головастова привели домой проститься, Софья и не узнала его, оттолкнула от себя и просила выгнать солдата.

Долго сумасшедшая Софья жила с полусумасшедшей матерью, и старушке довелось еще похоронить дочь.

Перед смертью Софья пришла в себя, тотчас же потребовала, чтоб ее вымыли, одели; попросила позвать священника, исповедовалась в полной памяти, с верою

и радостью приняла святые тайны и соборовалась. По окончании этого обряда Софья подозвала к себе мать, попросила благословить себя, и когда старушка это исполнила, Софья прошептала ей на ухо последнюю просьбу:

— Маменька! Когда я умру, наденьте на меня ватошный капот.

Бедная! Она помнила, как холодно ей было на земле!..

2. Семейство Шепотковых

Вот и в четвертой улице города Васильева у нас тоже знакомые были: семейство Шепотковых.

Оно состояло из мужа Евсея Евсеича, жены Марфы Ивакиевны и двух еще невзрослых дочерей Агафоклеички и Клёпиньки.

Евсей Евсеич был человек средних лет, среднего роста, довольно плотный, с большой головой, покрытой густыми кудрями с проседью.

Лицо у Евсея Евсеича было полное, дряблое без кровинки; даже и губы-то у него были совсем белые, с кисло-наклоненными книзу углами. Евсей Евсеич брился чисто и оставлял бороду только в самом низу за подбородком, да и ту счесывал и прятал за высокий, крепкий галстух; только к вечеру она, бывало, сердечная, не вытерпит,— выглянет на свет Божий, и то не вся, а кой-где упрямым седым клочком. И беда ей, если Евсей Евсеич заметит это непослушание с ее стороны: сейчас же ее, вольницу, шмыг за галстух и поминай как звали! Нет бороды!..

Говорил Евсей Евсеич все в уменьшительном, нежно, сладко, и при этом улыбался еще слаще.

Одевался он, Бог его знает как, тоже очень нежно. Цвета любил все дамские: галстучек, бывало, лиловенький, панталоны телесные, сертучок гороховый, даже плащ был подбит розовым коленкором... Право, я не лгу! Спросите: я думаю, многие еще до сих пор это помнят в городе Васильеве. Разоденется так Евсей Евсеич, все на нем новое, с иголочки: что же вы думаете, чист он? Нет-с, грязен, точно его из трубы вытащили! Уж Бог его знает, от чего это: и он сам, и все, что он ни наденет, делалось серо.

Марфа Ивакиевна была добрая, тихая, простая женщина. Маленькая, смуглая, с большими черными гла-

зами навыкате. Любила поболтать со знакомыми, но дурно никогда ни об ком не говорила. Боже оборони! По мнению Марфы Ивакиевны, все люди были ангелы. Марфа Ивакиевна была женщина болезненная, сильно страдала головными болями, и потому большую часть жизни своей проводила на кровати. Все лежит, бывало, за ширмами в белой кофточке и в шапочке из смоленого каната. И Марфа Ивакиевна, и все, что на ней надето, и кровать ее, и все, что стоит и лежит вокруг нее, все было серо, как сам Евсей Евсеич. И дочки обе были тоже такие же серенькие. Дети не дети, старушки не старушки, а так уж, и не знаешь как назвать.

Старшая, Агафоклеичка, которой было четырнадцать лет, была одутловата и бледна, как отец, да и всем как-то выдалась в него.

Меньшая, Клёпинька, двенадцати лет, была две капли воды мать: маленькая, смугленькая, с черными глазками, довольно живая девочка. Мать их вечно кутала, лечила: от того, должно быть, они обе были хворые, болезненные, особенно старшая то и дело в постели лежала.

Редко, бывало, Евсей Евсеич входил к кому-нибудь в гости без этих слов:

— А моя Агафоклеичка опять в горизонтальном положении.— Это значило, что Агафоклеичка больна. Знакомые знали, что это значит, и, нисколько не удивляясь, в ответ на эту фразу Евсея Евсеича делали вопрос:

— А Клёпинька?

— В вертикальном,— отвечал Евсей Евсеич, кланяясь как-то набок и морща в комок свое лицо.

Евсей Евсеич не всегда жил в городе Васильеве. Он был человек заезжий. Земное поприще свое начал он в Т...й губернии, в маленькой деревушке Доицы. Там сама природа, должно быть, указала ему его призвание.

Рано, еще мальчиком, Евсей Евсеич почувствовал в себе влечение к рисованью. Кусточек ли, босой ли мальчишка, корова ли — все переходило под его детской рукой живо и точно на бумагу. Таким образом, почти не учась, Евсей Евсеич сделался одним из известных в свое время живописцев. Дивно передавал он нашу серенькую природу с ее сильными, здоровыми типами. Особенностью же кисти Евсея Евсеича было тело, живое, как бы дышащее тело.

— Так ущипнуть и хочется,— говаривали, улыбаясь, старики-художники, стоя против его картин. И любил же это тело Евсей Евсеич: наги, до крайности наги были его картины. В ином пейзаже совсем бы и не след, а у Евсея Евсеича без тельца не обойдется... Как-нибудь, да уж отвернется сарафанчик, рубашечка расстегнется, а тельце и видно...

Несообразности, бывало, Евсея Евсеича не останавливали: да и то сказать, к чему себя сдерживать, когда парит воображение?..

Никогда не забуду я одной картины Евсея Евсеича. Баня русская, деревенская, представлена была как живая. Закоптелый потолок, каменка с раскаленными каменьями, полуразрушенный полок, почерневшие от сырости деревянные шайки, дырявый пол и на нем опаренные веники. Чистая натура! И вдруг, неизвестно почему и отчего, в закоптелой-то бане, академическими складками переброшен из угла в угол пурпуровый бархатный завес с золотой бахромой и кистями. С одной стороны завеса две деревенские бабищи, «en habit de vérité» *, парятся вениками, а с другой стороны Евсей Евсеич, в розовом галстухе, крадется на цыпочках, чтобы окатить их нежданно-негаданно из шайки водой.

Воображение, как видите, художничье и помещичье вместе. Евсей Евсеич был и то и другое. Зато тело-то, тело какое было у двух бабищ! Верно, многих забирала охота ущипнуть...

Когда, глядя на эту картину, спрашивали Евсея Евсеича: «Что это за сюжет?» — он, нежно пришепетывая и сладко улыбаясь, отвечал:

— Это я представил баньку у меня в Хохлушках. Не правда ли, как тепленько вышло? А это ведь портретики-с. Вот эта, вот что спинкой стоит — моя собственная Капитошечка-с. А та, что вполоборотика, тоже моя собственная, Алёночка. Славные натурки — не правда ли-с?

— А зачем же у вас в бане эта занавеска?

— Цветику надо было подвалить, перерезать, знаете ли, пятнышком таким приятным, и складки-то удались такие вкусные... и бархатец-то такой мяконький, приятный вышел, не правда ли-с?

— А это, кажется, ваш портрет?

— Да-с, это я. Признаться сказать, и случай-то

* «в чем мать родила» (*фр.*).

этот в натуре был. Раз, знаете ли, гулял я и вижу, из баньки дымок валит и дверца отворена стоит: подкрался я на цыпочках и вижу, что Алёночка и Капитошечка моются. Я потихоньку взял шаечку с холодной водой, да и окатил их... Так вот, этот самый моментик и схвачен... И в моей-то фигурке, знаете ли, много движеньица есть...

Лет около тридцати Евсей Евсеич влюбился и женился на Марфе Ивакиевне, единственной дочери богатого помещика Хохлушкина. Марфа Ивакиевна принесла Евсею Евсеичу сперва хорошее приданое, а потом, по смерти отца, и богатую усадьбу Хохлушкино, доставшуюся ей же. И что это, по словам Марфы Ивакиевны, за усадьба была! Просто прелесть. На горе, над рекой дом с бельведерами, с колоннами. Сад какой, с вековыми липами и дубами, что еще ее прадеды сажали; умирать не надо, да и только! И ко всему этому еще полтораста незаложенных душ. Точно, кажется, жить бы там да жить, пока живется. Так нет, вкусы у людей не одинаковы. Что нравилось Марфе Ивакиевне, всегда как-то не по душе было Евсею Евсеичу, а что ему не нравится, то у него уж нрав такой — ничего не пожалеет, а сокрушит. Да я вперед забегаю, всему свое место будет.

Я не успела упомянуть, что Евсей Евсеич в доме, как видно, был большой, и хотя всегда очень нежен и ласков с Марфой Ивакиевной, но она видимо его побаивалась. Мягко стлал Евсей Евсеич, да видно спать-то жестко было, хотя Марфа Ивакиевна в этом неохотно сознавалась. Разве уж не под силу придет, так невольно что-нибудь вырвется в разговоре с друзьями. А пройдет сердце, и опять не то заговорит. Начнет, бывало, рассказывать, что Евсей Евсеич до того любил ее, что никогда не будил иначе, как опрокинув на нее корзиночку розанов, покрытых утренней росой.

Конечно, оно холодно, мокро... Ну, а если кто хочет взглянуть на это пробуждение со стороны поэтической — может, оно и приятно.

А на поверку-то эти розовые пробуждения вот как бывали в Хохлушках: прострадает бедная Марфа Ивакиевна в страшном мигрене, не смыкая глаз, всю ночь, и только согревши голову своей смоленой шапочкой сладко прикорнет на заре, как Евсей Евсеич взглянет на нее, видит, что она сладко заснула, и вскочит со своего места, да и шасть в сад; нарвет розанов не кор-

зиночку, а целую платяную корзину, прокрадется с ней в спальню, да и бух все розаны на лицо спящей Марфы Ивакиевны.

Вскочит она, бедная, в испуге, слетит с нее шапочка, по полу покатится; забарахтается Марфа Ивакиевна в розанах, вся переколется, перемочится росой и еле-еле от испуга дух переведет.

Тут бы по-настоящему белье переменить, укрыться потеплее, малинки выпить да отдохнуть. Так нет, Евсей Евсеича, как нарочно, фантазия заберет играть с Марфой Ивакиевной. Она, бедная, вся дрожит от холоду, даже зубы плясать начинают, а он-то в нее мокрыми розанами кидает да ручки целует. И растает Марфа Ивакиевна, видя, что Евсей Евсеич ее так любит; и холод, и головную боль забудет, плачет от умиления, хохочет, дрожит — да и в истерику...

Это бы все ничего, уж куда бы ни шли эти розаны — все цветочки... а то и ягодки бывали.

Раз этак мило играл, играл Евсей Евсеич с Марфой Ивакиевной, да вдруг не говоря дурного слова из розанов-то как вытащит пистолет, приставил к груди Марфы Ивакиевны, да и шепнул ей страшным голосом:

— Подпиши мне Хохлушкино...

Покатилась Марфа Ивакиевна на подушки замертво.

Такие приятные пробуждения с разными варияциями бывали не раз, не два, и кончились тем, что Марфа Ивакиевна как ни крепилась, а в одно прекрасное утро подписала мужу Хохлушкино.

Тут-то разыгралась фантазия Евсея Евсеича. Древний сад начал казаться ему мрачным, группы деревьев не на месте, мало светлых бликов, слишком темные тени. Дом в строгом стиле, не уютен, не игрив. Избы крестьян вытянуты в одну линию, не живописно... И пошел Евсей Евсеич коверкать усадьбу Хохлушкино...

Вдруг у него в голове блеснула светлая мысль перенести хохлушкинский сад к себе в Доицы и разбить его там по своему вкусу. Марфа Ивакиевна, несмотря на свои слезы и просьбы, не могла удержать его.

Закипела работа, заскрипели телеги, повезли вырытые столетние дубы, старые липы сажать на болото в Доицы. Оранжерею тоже живо разобрали по бревнышку. Роют, рубят, ломают, везут и несут все на новое место.

С сокрушенным сердцем сидит бледная как смерть Марфа Ивакиевна у окна в своей смоленой шапочке

с кисточкой, качаясь на стуле, смотрит на разрушение своего родного угла, плачет, руки ломает, спирт нюхает,— а помочь горю не может. И стала Хохлушка хуже выбритого рекрута... Да и Доицы от новых-то украшений не красивее вышли. Торчат в новом саду старые липы и дубы, растопырив свои голые сучья и ветви; кой-где желтый листочек трепещет, а остальные вокруг дерева, как в крутую осень, втоптанные в землю лежат. Оранжереи вполовину собраны, вполовину с побитыми стеклами в груду свалены. Дорогие деревья, что в оранжереях недавно еще красовались посаженные, без призренья, на ветру болтаются как ощипанный голик... Страсть взглянуть, да и только. В Хохлушках один барский дом торчит, как сирота какая. И жарит, и палит его солнышко немилосердно со всех сторон. И выйти-то из дому некуда, перерыто все: где яма, где пень, где бревно — черт ногу сломит.

И в Доицах тоже убежища никакого нет. Господский старый домишко набок совсем нахилился. Подпорки и те не держат, все кривится да кривится. Даже полы все повыперло. Кажется — разлетись пошибче жук да треснись в дом, тут он, голубчик, и сядет. Правда, новый дом в Доицах давно заведен был, да и тот еще в срубе сгнил...

Поглядел, поглядел на все это Евсей Евсеич, самому гадко стало; он и говорит жене:

— Знаешь что, Марфочик: я не хочу жить в деревне; поедем лучше в город Васильев; что мне здесь гнить с моим талантом! Да и детишечки подрастают, надо им образованьице дать. Ведь Агафоклеечке десять лет минуло, а Клёпиньке восемь скоро будет, надо и об них подумать. Продам я Хохлушкино, возьму хорошего управляющего и на эти денежки велю ему отстроить мои Доицы по моему планику. Садок мой примется, обрастет, приютик нам на старость будет. А покуда я еще в силе, надо мне свой талантик показать.

Марфа Ивакиевна не противоречила: она знала, что ее не послушают.

Сказано — сделано. Евсей Евсеич продал изуродованные Хохлушки почти ни за что, забрал жену, детей, картины, множество девок, мальчишек и целым караваном тронулся в город Васильев.

Там он поселился на четвертой улице, в розовом доме.

Евсей Евсеич, по приезде своем в Васильев, тотчас познакомился с некоторыми художниками. Показал им свои картины; они очень понравились.

Тельце деревенских баб поразило всех своею живостью и натурой. Это польстило Евсея Евсеича: он взялся опять за кисть и начал писать, опять-таки тельце, но уже не деревенское, а городское.

Для этого, за неимением собственных натурок, он завел себе две вольные натурки... заперся с ними в мастерской, и что там происходило — одному Богу известно! Марфа Ивакиевна, голубушка, и замочные скважинки даже своею рукою воском залепила...

По приезде в город Васильев Марфа Ивакиевна познакомилась с моей покойницей маменькой. Мы, дети, как это всегда бывает, тотчас же подружились, а через нас и матери наши сошлись тоже.

Тут-то я видела вблизи артистически-помещичью жизнь семейства Шепотковых, и она глубоко врезалась в мою молодую память.

Квартира, которую занимали они, была большая, хорошая. Евсей Евсеич занял залу под мастерскую. В остальных комнатах расположилась Марфа Ивакиевна с двумя дочерьми.

Всякий день обе девочки ходили в пансион m-elle Galette и вечером возвращались домой.

Марфа Ивакиевна тоже по-своему воспользовалась городскою жизнью. Тотчас же накупила себе бездну чепцов в виде шишаков и шлемов, с пунцовыми и желтыми цветами, и разгуливала в них по комнатам, когда умолкшая головная боль дозволяла ей снять смоленую шапочку с кисточкой. Марфа Ивакиевна, впрочем, сейчас по приезде своем в Васильев, начала серьезно лечиться от головной боли.

— Вот спасителя мне Бог наслал,— говорила она, потряхивая чепцом,— боль как рукой снял!.. Вот и чепчик надела, и ничего... Дай ему Бог здоровья, благодетелю.

Этого спасителя в городе Васильеве звали «Тёркой»: другого имени ему я что-то не слыхала. Это был ледащий старичишка, одетый мещанином, в сертуке по пяты, с волосами, остриженными в кружок. Он носил кличку по шерсти...

Тёркой его звали потому, что он лечил трением от всех болезней, начиная от чахотки и врожденной слепоты и глухоты.

Как только, бывало, засверлит у Марфы Ивакиевны головная боль, она и кричит:

— Алёнка! Петька! Капитошка! Ефимка! Тёрку мне скорее, Тёрку! Бегите за ним! Зовите его, батюшку... Скажите, Марфа-де Ивакиевна приказали просить скорей — головная боль-де приступила. Скорее, скорее!

Побегут мальчишки и девки,— одна нога тут, другая там...

И явится Тёрка...

Помолится в правый угол, поклонится Марфе Ивакиевне, да и скажет:

— Извольте, сударыня, спинкой вверх повернуться.

Повернется Марфа Ивакиевна спиной вверх, девка ей спину обнажит, а Тёрка опять помолится образам, засучит рукава, два большие пальца выставит, другие все в кулаки зажмет, да и начнет двумя пальцами вести по обеим сторонам спинного хребта.

Он ведет, и за пальцами, под кожей, выступают две наполненные кровью полосы, в толстый расплющенный палец.

Марфа Ивакиевна не то что кричит, а мычит как-то так страшно, не по-человечески, что все уши затыкают.

Вот как избороздит так Тёрка всю спину Марфы Ивакиевны, точно ее сквозь строй гнали, она и начнет еле слышным голосом молиться за здравие благодетеля Тёрки и благодарить его.

— Дай тебе Бог, отец мой, всех благ земных! Оживил ты меня, несчастную страдалицу...

А сама от этого оживленья — точно по ней карета проехала, пролежит неделю, пошевелиться не может ни рукой, ни ногой, а про спину и говорить нечего: в эту неделю у ней на спине все цвѐта радуги перебывают, просто страсть взглянуть.

— Ах, Марфа Ивакиевна, голубушка, что вы с собой делаете? — скажет, бывало, ей моя покойная мать.— Ведь у вас мигрень одни сутки бывает, а с этим леченьем вы целую неделю так ужасно страдаете. Прогоните вы этого шарлатана, он вас уморит.

— Ах нет, уж не говорите этого! Ведь я чувствую, какую он в меня силу влагает. Какой он шарлатан! Ведь он это все с молитвами лечит. Нет уж, пусть его, мой батюшка, лечит как знает, ведь ему это свыше дано. Видели вы его бороду?.. Что ж, спроста это, вы думаете?.. Я в него верую. Уж вы не смущайте меня, это грех. Вот я бы вам советовала вашу Пашеньку от золо-

тухи полечить: он бы как рукой снял всю боль. Право, попробуйте...

— Что это вы, Марфа Ивакиевна, избави Боже! Да если ваш Тёрка один раз пальцем проведет по моей тщедушной Пашеньке, она на две половины перервется. Бог с вами, у меня от одной мысли мороз по коже.

Покойница мать моя так боялась Тёрку, что, когда он приходил, зажимала уши и убегала опрометью домой.

А мы, дети, нисколько не разделяли этого страха нашей матери. Напротив, мы очень любили, когда к Марфе Ивакиевне приходил Тёрка; вместе с ее детьми смотрели на него как на чудо, всегда ловили его на возвратном пути в передней и в один голос кричали ему:

— Господин Тёрка, сделайте милость, покажите нам вашу бороду...

— Извольте, деточки, поглядите, вот какова у меня бородушка!

При этом Тёрка расстегивал свой длиннополый сюртук, полосатую поперек жилетку, закидывал руки за шею и развязывал тесемки черного коленкорового мешка, в котором была спрятана борода.

Во время этих приготовлений мы все стояли разинув рот, следя за его движениями.

Вдруг Тёрка сдергивал мешок, и черная как смоль борода, развиваясь, падала до полу. При этом мы, обыкновенно, вздрагивали и вскрикивали невольно. Но скоро робость наша проходила, мы начинали щипать диковинную бороду, мерять ее своими маленькими руками и тащить ее каждая в свою сторону.

— Полно, полно, барышни! Не извольте путать... Нехорошо, не балуйте, дайте я спрячу...

— Ах, нет! Дайте еще поглядеть, еще рано... Отчего у вас такая длинная борода? — спрашивали мы.

— Так уж по милости Божией порожден... Читали вы про Самсона?

— Читали... Это этот Самсон, у которого сила была в волосах?

— Он самый и есть-с. А вот у меня сила в бородушке-с.

— Так обстригите ее,— говорила Клёпинька.

— А кто же вашу маменьку лечить будет? Где я тогда силки возьму-с?

— Да ведь маменьке больно...

— Это ничего-с, зато после пользительно будет — я им все нервы в свое присутствие приведу-с.

— В какое присутствие? В уголовную палату, что ли? — подхватила со смехом одна вострушка из нас — и все девочки вторили ей громким хохотом.

Тёрка обижался, проворно начинал свертывать свою бороду, прятал ее в мешок и, ворча себе под нос: «Над Божьим даром смеяться грех, барышни!» — уходил домой.

Вообще семейство Шепотковых жило смирно и тихо. Евсей Евсеич писал свои картины, двери в его мастерскую были на ключе, и в переднюю, и в гостиную. Марфа Ивакиевна все сидела у себя, принимала — если была здорова, и лежала и терлась, если была больна.

По воскресеньям день проходил шумнее обыкновенного. Дети были целый день дома, к ним собирались приятельницы.

Девочки, обыкновенно, делились на партии: на партию скромных и ученых и на партию ленивиц и сорвиголов.

Каюсь,— я по первому и по второму качеству вся как есть принадлежала к последней партии, или лучше сказать к шайке чуть не разбойниц. Резвая Клёпинька была во всем со мной заодно.

Скромная и умная сестра моя Пашенька была главой партии ученых дев. К ней душой и сердцем пристала тихая и болезненная Агофоклеичка.

Партия ученых с утра, обыкновенно, была занята чтением, переводами или сушеньем растений и цветов в одном из толстейших лексиконов.

Мы, то есть сорвиголовы,— pas si bête *, по воскресеньям обходили все мудрости земные сторонкой, чуть не за версту. И в неделю-то они нам довольно солили, чтоб еще трогать их в благословенный, Богом данный нам праздник. Нет, у нас были занятия поувлекательнее лексикона, цветов и травы...

В гостиной стояла деревянная гора, работы деревенских столяров Евсея Евсеича. Много, много повисло на ней, голубушке, полотнищ от наших ситцевых платьиц!

Еще у Евсея Евсеича был ученик, глухонемой немец. Вот уж это не лексикону чета. Рисует он, бедный, бывало, смирнехонько какую-нибудь гипсовую Венеру. А мы все его облепим со всех сторон, отымем

---

* дураков нет (*фр.*).

у него карандаш и напишем ему на Венере: «Спойте нам что-нибудь — вы так прелестно поете».

Заблистают, бывало, глаза у немца, весь он процветет как солнышко, улыбнется, сделает нам ручкой... спрячет свою исписанную Венеру в папку и торжественно пойдет к фортепьяно.

Возьмет он первый попавшийся ему французский кадриль, поставит его перед собой, ударит в клавиши и заревет... Да что я говорю — заревет: зарычит, как лев в пустыне. С первым аккордом и рычанием мы все — где кто стоял, так на пол и попадаем, умирая со смеху. Одна только Клёпинька серьезная стоит и то и дело пишет на нотах карандашом:

— Громче! громче! мы ничего не слышим...

Немой кивает головой в знак согласия, надуется, посинеет и хватит так, что, бывало, в большом каменном доме генерала Матосова, что на берегу Чухонки стоял, слышно было... А нам и любо... Не понимали мы тогда, глупые, жестокие дети, что у бедного немца могла от натуги жила лопнуть. Или еще милое было у нас занятье... Надоест, бывало, гора и глухонемой немец, а Клёпинька ⟨тут⟩ как тут, с предложением:

— Знаете ли что? У меня есть сусальное золото... Вызолотим Машку, дадим ей грош и пошлем ее в лавочку за пряником. Она побежит, а мы посмотрим с балкона. Все на улице будут останавливаться, удивляться... Ах, как это будет мило!.. Хотите?

— Давайте, давайте! — закричим, бывало, все в один голос.

Клёпинька тотчас же слетает в кухню и приведет за руку трехлетнюю толстенькую, хорошенькую Машку, дочь судомойки.

— Машка! Хочешь быть золотой? — спросит Клёпинька.

— Хоцю, балинька! — ответит Машка, глядя исподлобья своими ясными черными глазками.

— Ну, так давай мы тебя вызолотим,— говорит Клёпинька, проворно снимая с девочки сарафанчик и рубашку.

— Хоцю, хоцю, балинька! — шепчет, улыбаясь, Машка.

И начинается золоченье. Боже, сколько хлопот, сколько стараний! Мочат Машку водой,— золото не пристает, мочат Машку квасом — золото все не пристает. Наконец, я подаю голос:

— С черным пивом пристанет! — Является и пиво; дело идет успешно. Со всех сторон, в несколько рук прихлопываем мы на вымазанную пивом Машку хлопчатой бумагой листки сусального золота.

Наконец труд увенчан полным успехом. Машка, золотая с головы до ног и самодовольно хлопая золотыми ручонками по золотому брюху, приговаривает:

— Балинька! Маска золотая?

— Золотая, золотая... На грош, беги в лавочку: тебе дадут пряник, большой, сладкий...— говорит Клёпинька.

— Боссой, слядкий...— повторяет Машка и пускается со всех ног в отворенную ей дверь по парадной лестнице. Мы все с хохотом, толкая друг друга, выбегаем на балкон.

О радость! Машка, шлепая золотыми ножками, бежит по тротуару, держа кверху в ручонке грош. Народ останавливается, дивится... Успех полный. Мы все счастливы донельзя.

Где же все большие? — спросите вы. Всех девочек обыкновенно провожали нянюшки, препоручали их Марфе Ивакиевне и отправлялись домой, а если и оставались, то сидели в девичьей и пили кофе с горничными Марфы Ивакиевны. У нас у всех были, правда, и гувернантки, но для них, как и для нас, воскресенье было день свободный, и они с ранннего утра отправлялись к родным.

А где же Марфа Ивакиевна? — спросите вы.

А она у себя в комнате, разговаривает с кем-нибудь, в полном убеждении, что милые дети играют себе смирнехонько; даже львиная песнь глухонемого ее не тревожила: она знала несчастную его страсть к пению и музыке; и по доброте сердечной не воспрещала ему околачивать чуть не кулаками детское фортепьяно и рычать сколько ему будет угодно. Улыбнется, бывало, только, кивнет своим шишаком по направлению к гостиной и скажет:

— Вот, подите вы, ведь воображает, что поет!.. Такой несчастный немец!

Евсей Евсеич все слышал и даже часто видел собственными глазами вызолоченную Машку; но так как он любил всякого рода шутовство, то от всего этого приходил в неописанный восторг и, сладко улыбаясь, говаривал:

— Невинность, невинность!

Часто, бывало, до того умилялся, что отворял нам

двери в свое святилище и приглашал нас всей гурьбой побегать по большой мастерской. Разумеется, что в это время живые натурки оттуда изгонялись.

Как бешеные врывались мы в залу и начинали трепать его манекены, приспособляя их вместо кукол; рядили их в чепцы Марфы Ивакиевны и ставили в разные отчаянные позы, не обращая никакого внимания на тельце, которым были увешаны все стены мастерской Евсей Евсеича.

Но зато если партия умниц, соблазнясь любезным приглашением Евсея Евсеича, тоже выходила погулять по мастерской — какая разница, Боже мой!

Старшие сестрицы, умницы, ходили по зале, стыдливо потупив глаза, и часто Агафоклеичка со слезами просила отца завесить картины коленкором. На что, обыкновенно, Евсей Евсеич отвечал:

— Агафоклеичка, тут нет ничего дурного; натурка и у тебя есть, и у всех других — стало быть, это ничего...

Вследствие этой логики, натурка оставалась неприкосновенною и висела всем на погляденьице.

Между этим тельцем красовался тоже портрет Марфы Ивакиевны, писанный в Хохлушках самим Евсеем Евсеичем, вероятно, во время прилива нежности его к жене. Господи! Что это был за страшный портрет! Добрая, маленькая, черненькая Марфа Ивакиевна представлена была в виде Марфы Посадницы, в ферязи и в жемчужном новгородском кокошнике. А глазищи-то какие ей, бедной, вырисовал нежный супруг! Что за брови!.. И чуть не косая сажень в плечах... Ну, давайте мне что хотите, а я спать в комнате, где этот портрет висит, и теперь ни за что не лягу. А тогда я его и днем боялась.

Недолго, однако ж, шайка сорвиголов бушевала по воскресеньям. Вдруг, нежданно-негаданно, круг нашей деятельности стеснился и поневоле мы приутихли. Вот как это случилось.

— Марфа Ивакиевна! (В городе Васильеве Евсей Евсеич жену уже не называл Марфочик.)

— Что, мой батюшка?

— Вот что-с: я беру себе гостиную под вторую мастерскую, она мне нужна — мне тесно с моими натурками; им, бедненьким, повернуться негде.

— Да как же это, мой батюшка? Ведь и мне тесно будет с двумя детьми в двух маленьких комнатах! Сам

посуди, как я в одной спальне помещусь? А столовую и считать нечего. Ведь туда девушек спать не положишь на проходе.

— Об этом не беспокойтесь, я уж сделал планик... Мои столярики вам все устроют, вам будет очень хорошо... Вот посмотри сама, как я придумал...— При этом Евсей Евсеич вынул сверток бумаги, разложил его перед Марфой Ивакиевной и начал водить по нем пальцем.

— Вот-с, я разделил вашу спальню на четыре комнаты. Вот-с ваша спаленка... Вот так станет ваша кроватка-с, вот так Агафоклеичкина-с, а вот и Клёпинькина-с... И уютно, и мило-с. А вот это гостиненькая: вот-с ваш диванчик... столик рабочий я вам новенький подарю-с. Васька по моему рисуночку сделает... Вот-с между двух окошечек и зеркальце с подстольничком... А дверцу, что ко мне во вторую мастерскую ведет, я придумал фортепьяниками заставить. А вот этот уголочек будет ваша передниинькая, а вот эта келейка будет кабинетик Агафоклеички и Клёпиньки; тут вот и шкафик их с игрушечками станет. Видите ли, как мило-с?.. А гостиную я беру-с...

Марфа Ивакиевна имела страсть ко всему маленькому, микроскопическому. Взглянув на планик Евсей Евсеича, она пленилась и утешилась. Да другого и делать-то было нечего: Евсей Евсеич от своих желаний никогда не отступал, а она прав своих отстаивать не умела.

Но, Боже мой, что вышло из хорошенького планика Евсея Евсеича на деле! Спальня Марфы Ивакиевны была квадратная, шагов в девять. Эти девять шагов разбили на четыре квадрата, отделенные между собой березовыми, грубой работы жердочками — в виде домашних кухонных курятников, с тою только разницею, что жердочки были под желтым лаком да на малиновом коленкоре. Теснота, давка — повернуться негде. Да прибавьте еще к этому домашней работы стол, подарок Евсея Евсеича. Что было в середке гостиной места, и то он загромоздил. Никогда я не забуду этого стола. Мне сдается, что его Евсей Евсеич сделал назло Марфе Ивакиевне, которая любила все миниатюрное...

Видали ли вы когда-нибудь на верфи остов корабля, при начале его постройки? Видали, верно? Так подбейте в своем воображении ребра корабля розовым коленкором да прикройте этот остов страшной крыши-

щей не в подъем. Вот у вас и выйдет, как две капли воды, столик Марфы Ивакиевны.

Как ни билась, бедная, а ни разу в жизни рабочего столика своего открыть не могла без пособия Алёнки и Капитошки.

Сами посудите, где в таких комнатах и с таким рабочим столом было нам, бедным, развозиться. Вот мы и примолкли. Да и жизнь бедной Марфы Ивакиевны становилась день ото дня горьче и тяжелее.

Живые натурки сильно начали прибывать у Евсея Евсейча. Редкий день не ловил он где-нибудь на улице натурку; приводил ее к себе, тотчас же давал ей жалованье, и натурка селилась вместе с другими натурками на постоянное житье в мастерских Евсея Евсеича. Таким образом у него в короткое время составился преизрядный гарем, разумеется, не по качеству, а по количеству.

На Святой Руси натурщицу найти трудно. У нас не Италия, не найдешь герцогини, чуда красоты, которая бы стала на натуру из любви к искусству. И потому натуру, доступную для русского художника, приходится сильно дополнять воображением, а она скорее сбивает художника, чем помогает ему воспроизвести что-нибудь хорошее.

Свежую, хорошо сложенную женщину, даже из простого звания, идти на натуру не уломаешь, а если и удастся, то она не долго послужит искусству; и мигнуть не успеешь, как у тебя из глаз сманит ее приятель-художник, и как раз из натурщицы сделается чем-нибудь гораздо повыше, и покроет навек свою натуру непроницаемым шелковым хвостом и турецкою шалью...

После этого вы можете себе представить, каковы были натурки, завербованные Евсеем Евсеичем вечерком на улицах города Васильева.

Евсей Евсеич эгоистом не был: ему мало было, что он сам мог с утра до вечера любоваться своими милыми натурками; нет, он любил делиться приятными впечатлениями. Как только, бывало, поймает какую-нибудь ночную птичку, так тотчас же и дает знать своим собратьям: приходите, дескать, посмотреть диво дивное, чудо чудное.

Вот в один такой счастливый день для Евсея Евсеича собралось у него несколько художников полюбоваться делом. Между ними случился барон Юргенс, молодой шалун.

Первый приступил он к разоблачению новой жрицы искусства и довольно невежливо начал тащить с нее ревнивые одежды.

— Что это такое, барон? Вы привыкли так обращаться с лошадьми... верно думаете, что и я лошадь? — сказала топорная нимфа, представ в полной натуре перед естествоиспытателями-художниками.

— Нет, матушка, я не ошибся: я вижу, что ты корова, а не лошадь! — ответил барон, грубо поворачивая натурщицу во все стороны.

Несмотря на все это, Евсей Евсеич не упадал духом и пил полную чашу наслаждений в своем гареме.

Но зато Марфа Ивакиевна не пила, не ела с двумя дочерьми, сидя в своем курятнике. Совсем забыл о ней Евсей Евсеич.

За дверями у мужа, бывало, хохот, грохот, хлопанье пробок в потолок, а у Марфы Ивакиевны и огня на кухне не разводили. Посылает, посылает девок к Евсею Евсеичу, просит денег на обед, а от него ответ один:

— Какие у меня деньги? Нет у меня денег!

И принуждена бедная Марфа Ивакиевна занять у кого-нибудь синенькую, и только к вечеру, бывало, с детьми пообедает.

А сколько Марфа Ивакиевна унижений, обид выносила,— просто жалость на нее смотреть бывало.

Сидит она в своей клетке с кем-нибудь из знакомых, горько плачет и говорит:

— Вот, матушка, ведь вы мне не поверите, как я вам порасскажу, что он со мной творить изволит со своими натурщицами. Вот и вчера до вечера сидела голодная с детьми, и кабы не вы выручили меня, горькую, дай вам Бог здоровья, так бы и спать голодные легли. И добро бы не было!.. На нет и суда нет. А то ведь пир какой вчера был, всю голову мне прокричали, вот я уж и опять в смоленой шапке сижу по его милости... Ел бы, пил бы там со своими срамницами, а то еще их дразнить меня посылает. Я это сижу с детьми голодная, а они мне, вот через эту перегородку, колбасы да шампанское кажут... Вот перед Богом, не лгу.

Скажет, бывало, Марфа Ивакиевна и голову опустит, а слезы так из глаз ей на руки и капают.

И точно, одна дама, которая никогда не лгала в жизни, видела своими глазами, как две натурщицы дразни-

ли Марфу Ивакиевну. Одна показывала через перегородку голову сахару, а другая — новые полусапожки.

— Вот, извольте сами видеть, матушка,— шепотом сказала Марфа Ивакиевна.— Вот моя жизнь-то какова... Знают эти бестьи, что у меня кусочка сахара нет!.. А башмаки-то вон какие...— и Марфа Ивакиевна показала свой дырявый башмак.— Вот и дразнят!.. Пошли ты мне, Господи, терпенья, грешной рабе твоей, вразуми ты его, Матерь Божья!.. Сжалься ты над детьми моими...

И услышал Бог молитву Марфы Ивакиевны. Страшная холера 1830 года разогнала содомлянок из мастерской Евсея Евсеича, а вместе с тем и положила конец страданьям Марфы Ивакиевны.

При первом извещении об этой новой эпидемии Марфа Ивакиевна ужасно испугалась. Не хотелось умереть ей, бедной; страшно ей было покинуть дочерей на белом свете на одного Евсея Евсеича.

Чего не делала Марфа Ивакиевна, чтоб не допустить до себя холеры! Тотчас же приказала она заколотить все окна на улицу досками, окна на двор запереть и щели заклеить бумагой. Во всех углах комнаты поставлены были горшки с дегтем, по всем стенам висели пучки чесноку, на стульях и перегородках развешаны были намоченные хлоровой водой полотенца. Сверх всех этих предосторожностей, всякие полчаса Алёнка или Капитошка прогуливались с курильницами, и не на живот, а на смерть закуривали клетку Марфы Ивакиевны.

Евсей Евсеич не падал духом, не запирался и ел что ни попало; зато и схватил в короткое время две сильные холеры, но по распорядительности своей выздоровел оба раза так скоро, что это осталось тайной даже для Марфы Ивакиевны. Раз, после здоровой порции ботвиньи с лососиной, с Евсей Евсеичем приключилась рвота и корча. Он, не теряя ни минуты, созвал к себе всех своих крепостных мальчишек, разделся, лег на пол и приказал им выдрать барина как можно больнее розгами.

Мальчишки, вероятно помня, как любил Евсей Евсеич их отечески наказывать, задали ему, при сем удобном случае, такую усердную дерку, что холера испугалась и оставила Евсея Евсеича в покое. Другой раз, после ягодок со сливками, опять не на шутку прихватила Евсея Евсеича холера. Тут испробовал он новое средство: позвал к себе Алёнку и Капитошку, приказал

им завалить себя дровами и велел этим двум толстым натуркам плясать на этих дровах. Вероятно, Алёнка и Капитошка тоже поусердствовали, потому что в Евсее Евсеиче сделалась реакция и он снова выздоровел.

Но не так были удачны бедные средства бедной Марфы Ивакиевны. Сидя в своей тюрьме, чуть не умирая от диеты, задыхаясь от духоты, Марфа Ивакиевна, вся укутанная во фланель и вату, с жадностью читала бюллетени о холере и глотала и заставляла детей глотать все предохранительные средства от холеры.

— Помилуйте, Марфа Ивакиевна, что вы это делаете? Можно ли так закупориться? И душно, и темно, ведь это без смерти смерть!..— говорили Марфе Ивакиевне знакомые, которых она допускала к себе.

— Ах, уж я не могу, пусть уж так будет... По крайней мере, я не вижу, что на улице делается. Мне кажется, если б я хоть один гроб увидала, так и сама бы была готова...— отвечала Марфа Ивакиевна тоскливо, качаясь на диване.

Предчувствие не обмануло Марфу Ивакиевну. Раз, встав поутру, она подошла к единственному незаколоченному окну, что было на двор,— посмотреть, какова погода, и наместо погоды увидала... дубовый гроб, который выносили из нижнего этажа...

Марфа Ивакиевна в одну минуту как сварилась. Ноги подкосились, лицо осунулось; всю покрытую холодным потом оттащили ее от окна и положили на постель. Через два часа, в страшных судорогах, она окончила жизнь. В ту же ночь тело бедной Марфы Ивакиевны отвезли на холерное кладбище.

Оставленные дома, из опасения заразы, дочери Марфы Ивакиевны сидели рядышком, опустя головы, без слез, отуманенные неожиданным горем, в опустелой квартире. Долго не говорили они ни слова и не глядели друг на друга.

Потом как-то вдруг взглянулись, вскочили с мест своих, крепко обнялись и зарыдали.

Слезы немного облегчили их.

Клёпинька заговорила первая.

— Агафоклеичка, хотите вы жить? — спросила она у сестры, задыхаясь от слез.

— Нет, Клёпинька, не хочу: что за жизнь без маменьки!..

— Так умремте, Агафоклеичка!

— Как же умереть, Клёпинька? Хорошо, коли холера

к нам пристанет от маменьки... Только нет, я что-то ничего не чувствую.

— Да вы только скажите мне, что вы хотите умереть...— приставала к сестре Клёпинька.

— Я уж тебе говорила, что жить не хочу...

— Ну, так вот вам!..— сказала проворно Клёпинька и, вытащив что-то из кармана, подала сестре.

— Что это, Клёпинька?

— Это чулки, которые сняли с покойницы маменьки... Я их убрала, когда маменьку раздевали, чтоб обмывать... Наденьте вы один, а я надену другой, тогда холера непременно пристанет.

Обе девочки молча начали обувать себе каждая одну ногу чулком покойницы матери.

— Благодарствуй, Клёпинька,— сказала Акафоклеичка, крепко пожав руку сестры. И обе опять сели рядом на диван, торжественно ждать неизбежной смерти. Но смерть не пришла.

Время прогнало горе, и из детей преобразило Агафоклеичку и Клёпиньку в сентиментальных взрослых барышень. Отец восторгался ими, видел в них существ неземных, и этим восторгом еще больше поощрял их сентиментальность и странности.

Вот, например, одна из них.

Обе сестры задумали отучиться есть, и так как это оказалось невозможно, то они съедали в день одну картофелину и пили чашечку чаю с одним сухариком. Евсей Евсеич очень забавно пояснял причину, побудившую его дочерей морить себя с голоду:

— Они у меня, знаете ли-с, созданьица-с такие воздушные... Так им земное-то все противно. Они у меня даже кушать не хотят... потому, знаете ли-с, что это ведет ко всему такому материальному, а им это неприятно: так они этого хотят избегнуть. Им бы воздух, воздух и воздух...

Вскоре я рассталась навсегда с семейством Шепотковых. Они уехали на постоянное житье в деревню. Недавно только я узнала, что и Евсей Евсеич приказал долго жить — и каким странным случаем.

Евсей Евсеич преспокойно жил в своих Доицах. Дочери хозяйничали, он рисовал. Только вот в одну ночь Евсей Евсеич видит во сне, что к нему приходит старик и подает ему образ Божьей Матери. Евсей Евсеич глядит на образ и думает во сне: «Боже мой, что же это за образ? Много мне доводилось на моем веку писать

образов Божьей Матери, а такого я никогда не видывал».

— А это вот какой образ,— отвечает ему старик,— когда ты его в первый раз увидишь наяву, ты в тот день умрешь!

Сказав это, старик с образом исчез.

Евсей Евсеич проснулся. Крепко врезался ему в память сон и образ Божьей Матери. Он позвал к себе дочерей и рассказал им свой сон.

— Что это, папенька, как не стыдно вам, с вашим умом, верить снам? — сказали ему дочери.

— Этот сон сбудется, дети. Я должен приготовиться к смерти. Я чувствую, что я скоро увижу этот образ.

Это было на первой неделе Великого поста. Евсей Евсеич говел и приобщался Святых тайн.

— Ну, дети, я теперь спокоен. Съезжу только к князю Ронскому, у меня до него дело есть. А там... да будет все в воле Божьей.

Евсей Евсеич сел в кибитку и уехал.

Князь Ронский, страстный охотник до картин, встретил Евсея Евсеича, неся в руках образ Божьей Матери.

— Здравствуй, батюшка! Умница, что приехал! А я уж нарочно за тобой хотел посылать. Посмотри-ка, мой батюшка, какое сокровище мне Бог послал. А? Каково написано?

Евсей Евсеич побледнел как полотно, но превозмог себя, перекрестился и набожно приложился к образу.

— Это вы мне смерть мою вынесли, князь... Прощайте. Теперь земные дела надо оставить... Надо благословить деток...— проговорил Евсей Евсеич и, не слушая увещаний князя, выбежал в переднюю, надел шубу и уехал.

На возвратном пути от князя, летя во весь опор по степной дороге, Евсей Евсеич вдруг выглянул из кибитки — и голова его была расплющена между навесом кибитки и верстой...

Надобно же было Евсею Евсеичу именно там выглянуть, где в степи стояла верста. Вот подите после этого, не верьте снам!

22 мая 1861 года

Ф. П. ТОЛСТОЙ

ИЗ «ЗАПИСОК»

1825 года, 14 декабря, собраны были в академической церкви правление Академии, совет и все профессора, академики, ученики, чиновники конторы и все, служившие при Академии, для принесения присяги восшедшему на всероссийский престол императору Николаю Павловичу; по окончании присяги разнесся слух, что перед Сенатом на Исаакиевской площади стоит батальон Московского полка, требуют Константина Павловича и кричат о конституции. Гул этого крика был слышен и у нас. Любопытствуя узнать, в чем состоит это явное возмущение, поспешил я на Исаакиевскую площадь (тогда я носил еще военный мундир); самым скорым шагом перешел я Неву, на которой стояло любопытствующих, наверное, до тысячи разного звания мужчин и женщин. Я вошел на Исаакиевскую площадь у Сената. Гауптвахта стояла во фронте с ружьями на плече; между ними и монументом Петра Великого стояли солдаты Московского полка, не более батальона, составя правильное каре, внутри которого я видел несколько фигур, которых рассмотреть не мог, проходя очень скоро по левой стороне этого каре, кричавших в один голос — кто имя Константина Павловича, кто конституцию и еще какие-то слова, которых в этой массе слившихся голосов расслышать было невозможно. За монументом, проходя к забору строившейся Исаакиевской церкви, где было меньше народа, я увидел стоящего на Адмиралтейском бульваре, лицом к Сенату, молодого, только что вступившего на трон императора, окруженного главным штабом, генерал- и флигель-адъютантами, а возле него Карамзина. Государь был очень бледен.

Дошед до забора, я избрал себе место, откуда мог видеть и государя и каре солдат. Влево от Сената, у манежа, виден был эскадрон или взвод конной гвардии.

«Неужели это в самом деле бунт,— думал я,— возмущение против царя и правительства? Зачем пришла эта крошечная горсточка войска к Сенату, построилась в каре и, стоя сложа руки, забавляется оглушающими криками, требуя того, о чем сама, наверное, не имеет никакого понятия? Неужели зачинщики этого явного восстания могли думать об успехе, не будучи уверены, что имеют на своей стороне при подобном предприятии главную силу: массу простого народа и сочувствие большей части всех других сословий?»

Но этого, по-видимому, не было, судя по собравшейся огромной толпе народа всех сословий, спокойно стоявшей и, как видно, привлеченной туда без всякой особой цели, а просто из любопытства, чтобы узнать, для чего собравшиеся у Сената солдаты так ужасно орут; ясно было, что народ собрался без всякой цели, а как всегда собирается при всяком необыкновенном действии. Этим криком, в котором ничего нельзя было разобрать, одного батальона Московского полка, собравшегося перед Сенатом, они хотели привлечь на сторону своего предприятия толпу любопытствующих, большею частию и не подозревающих, что это возмущение против правительства,— последствие гораздо прежде затеянного заговора, о существовании которого не было никаких положительных слухов.

С того места, где я стоял, я видел, что какая-то фигура, которую по дальности расстояния я рассмотреть не мог, отделясь от каре, как мне казалось, подходила к государю и через несколько минут возвратилась к солдатам; что это значит, я не знал и думал, что, вероятно, вскоре все объяснится.

Мимо меня проскакала конная батарея — я не мог заметить, из скольких пушек состоявшая,— и пронеслась к Сенату; это дало мне понять, что участь несчастного батальона решена; ясно было, что без стрельбы не обойдется и, разумеется, солдаты разбегутся, большая часть побежит через Неву на Остров... Так как в то время я жил в низком, одноэтажном доме Академии по Третьей линии, то, опасаясь, чтобы беглецы с отчаяния не наделали каких-нибудь проказ и не перепугали моих домашних, я поспешил к себе. От дома

Лаваля скоро перебежал Неву, прямо к зданию Академии, и, пришед домой, приказал запирать ставни. Никто из сторожей не решался идти запирать их, и я сам был принужден это сделать, после чего тотчас раздалось несколько выстрелов из пушек. Две картечи попали к нам в ворота и забор. Дома я нашел всех спокойными и рассказал обо всем, что видел, слышал, и о событии перед Сенатом. Едва мы сели обедать, как меня вызвали в кухню, куда два солдата привели третьего, как бы раненого, и просили меня оставить их у себя. Когда по осмотре оказалось, что никто из них не ранен, то я и отправил их за ворота. Тотчас после обеда, как стало уже смеркаться, пришли в сени нашей кухни два унтер-офицера, один еще молодой, приведший другого, уже в летах, с тремя нашивками на рукаве, раненного картечью в ляжку, облитого кровью; я велел отвести его в смежную с кухней комнату, где мы, положив на стулья доски с постланным на них тюфяком, положили раненого. Я послал за нашим академическим лекарем, которого не нашли; тогда я послал к частному приставу, чтобы он немедленно прислал к нам частного лекаря, а между тем велел раздеть больного, чтобы осмотреть рану; частный лекарь скоро пришел, но до того пьяный, что я принужден был его прогнать и велел к ране несчастного прикладывать мокрые салфеточные компрессы. На предложение мое раненому и его товарищу — не хотят ли они закусить или выпить горячего чаю, они отказались. Весьма печальную картину представляли эти два существа — одно пожилое, с полупоседевшей головою на службе отечеству, страждущее от тяжелой раны; другой — здоровый, сильный и в лучших годах, чтобы жить для пользы отечества. Он стоял неподвижно, как статуя, у изголовья больного товарища, облокотясь на свое ружье, погруженный, углубленный в думу об ожидающей их горестной участи. Когда я сидел у больного, он со слезами на глазах сказал мне:

— В пятнадцати сражениях был я против неприятелей, в разных войнах, нигде не был ранен, а теперь, может, от картечи своих придется умереть. Бог судья офицерам, которые нас до этого довели.

Часу в шестом пришли мне сказать, что граф Бенкендорф [1] с частью войска и пушками расположился на Румянцевской площади, между памятником и кадетским корпусом; я тотчас написал ему, что у меня на-

ходится тяжелораненый унтер-офицер Московского полка. Не более как через полчаса приехал ко мне адъютант Бенкендорфа. Он осмотрел больного и сказал, что сейчас пришлют сани, чтобы отвезти его в лазарет Финляндского полка. К чаю пришел к нам брат моей жены, офицер волонтерного корпуса, и рассказал, что из стоявших на Неве против Исаакиевской площади разного звания и возраста людей, привлеченных любопытством, которых было, как полагали, не менее семисот, очень много убитых и раненых.

Сухозанет, начальник гвардейской артиллерии, отдал приказ пустить из орудий картечью по Неве, по нескольким десяткам возмутившихся солдат, бросившихся бежать прямо на Васильевский остров, и пустить рикошетом ядро в длину Галерной улицы, наполненной не одною сотней разного звания и пола зрителей, между тем как преступников побежало туда не более десятка, и пущенное Сухозанетом ядро, не задев ни одного из преступных, было виною смерти не одного невинного, и многие пострадали от ран.

Часу в восьмом пришли мне сказать, что у нас на дворе собралось около четырнадцати человек солдат; мы с братом моей жены пошли к ним, чтобы принудить их оставить наш двор. Когда мы пришли к ним, они стали просить меня оставить их у себя, что они ничего не сделают, а если выйдут отсюда, то на улице их всех перебьют; говоря это, они отдавали мне свои ружья и сумки с патронами; я их не взял, а сказал, что так как я живу в казенном доме, то и не могу их оставить, а ежели они не уйдут сейчас же, то принужден буду дать знать графу Бенкендорфу, который стоит с своим отрядом на Румянцевской площади, и их придут немедленно взять; этот довод подействовал, и они решились оставить наш двор. Из предосторожности мы с Дудиным вывинтили кремни из всех их ружей. Я советовал им идти прямо к графу Бенкендорфу: может быть, это послужит к облегчению их наказания. Мы пропускали каждого через калитку, в которую они поочередно, крестясь, проходили, но ни один не пошел направо, к площади, а все поворотили налево. Приказав запереть калитку запором, я вернулся в комнату, а Дудин отправился к себе.

Часу в одиннадцатом утра за нашим раненым страдальцем и его спутником пришел офицер с несколькими солдатами и ломовым извозчиком с его санями, без вся-

кой постилки, как они возят дрова и всякую тяжесть; даже клочка сена на них не было; господин офицер распоряжался положить раненого на эти голые сани и так везти его, почти с версту, до лазарета. За кого такие начальники принимают своих солдат? Если бы это было в какой-нибудь глуши, после сражения, могло бы быть допущено по невозможности добыть удобнейшего экипажа, но в столице, среди города, прислать за раненым человеком дровни без всего, на которых возят только кули с мукой, бочки, дрова и подобные тяжести! Я приказал своим людям положить на эти голые дровни два тюфяка, один на другой, и подушку, чему г-н офицер не препятствовал. Как этот несчастный ни просил меня с горькими слезами оставить его у себя и как ни жалко было мне этого заслуженного унтер-офицера, положив его на тюфяки, окутав тулупом и одеялом и от души пожелав ему выздоровления, я с ним простился, и его увезли.

На другой день в городе все было тихо, спокойно; на улицах все шло своим обычным чередом, как будто ничего и не случилось, а в отдаленных местах от Исаакиевской и Дворцовой площади большая часть жителей вовсе и не знали о случившемся 14 декабря. В центральных же частях города только и речей было, что об этом событии, хотя никто ничего основательно знать не мог. Я был ужасно поражен, когда узнал, что в числе главных вождей этого заговора были молодые люди, с которыми я был очень коротко знаком и уважал их за прекрасную нравственность, благородные чувства, ум и блестящее образование, как-то: обоих братьев, Александра и Никиту Муравьевых, Сергея Муравьева-Апостола, Долгорукова и многих других молодых людей.

«Какая жестокая участь ждет теперь их,— думал я,— особенно ежели это правда, что они посягали на жизнь государя! без этого несчастного заговора они могли бы заменить собою многих бесполезных людей, как самыми дельными, просвещенными сынами отечества».

Недели две с половиною или более после последнего события перед Сенатом, не помню числа, я был в одно утро предуведомлен Ф. Н. Глинкою [2], что в тот же день вечером приедут за мной из крепости. В первом часу ночи приехал к нам военный полковник, вероятно, плац-майор крепости, с бумагой, в которой повелевалось мне явиться в комиссию суда. (Когда докладывали государю от комиссии о необходимости сделать мне допрос,

государь разрешил пригласить меня к допросу, сделав собственною рукою следующую приписку: «Как можно осторожнее, чтобы не огорчить его».) Надев вицмундир, я немедленно отправился с плац-майором в его карете в крепость [3]. Остановясь у комендантского дома, плац-майор ввел меня в пустую комнату, предложил сесть и дожидаться, пока меня позовут, а сам ушел, затворив за собою дверь. Оставшись один, так как я не был замешан ни в каком возмутительном обществе, то был совершенно спокоен и не тревожился никакими мыслями; одно любопытство занимало меня: какие это вопросы мне будет делать комиссия? Прождал я более получаса, наконец повели меня в комнату присутствия членов суда, идучи в которую я видел только одного человека — то был флигель-адъютант граф В. Ф. Адлерберг [4]. Впустив меня в присутствие, дверь за мною затворили, и я увидел себя в большой, обитой черной материей комнате, в которой посредине стоял стол, покрытый темным сукном. За этим столом на первом месте сидел против двери, в которую я вошел, председатель комиссии суда, почтенный воин 1812, 1813 и 1814 годов, военный министр Татищев, полевее его — князь А. Н. Голицын, министр народного просвещения, за ним генерал Чернышев, налево возле него генерал Левашов, а по правую сторону председателя суда сидел его высочество Михаил Павлович, с лицом совершенно закрытым листом бумаги, которую он держал перед собою все время. Возле его высочества сидел И. И. Дибич, за ним следовал генерал-адъютант П. В. Голенищев-Кутузов, путешествовавший с великим князем Николаем Павловичем в чужих краях, а за Дибичем стояли пустые кресла, вероятно, генерал-адъютанта графа Бенкендорфа, которого тут не было, хотя он и состоял членом этой комиссии.

Из членов, составлявших комиссию, мне хорошо был известен князь А. Н. Голицын по дому графа П. А. Толстого, где я жил, когда он был еще обер-прокурором св. Синода, а потом, когда был сделан министром народного образования и, как известно, одним из самых плохих, за.о отчаянным поборником и покровителем мистицизма. Я, будучи председателем утвержденного государем Александром Павловичем общества распространения ланкастерских школ в России [5], имел частые сношения с Голицыным по устроенной нашим обществом в Петербурге большой ланкастерской школе, выпускавшей ежегодно хорошо обученных русской грамоте, четы-

рем правилам арифметики и катехизису до пятидесяти мальчиков совершенно бедных родителей из крестьян и других низших сословий. С Дибичем я был хорошо знаком, когда он был еще прапорщиком Семеновского полка в роте моего старшего брата; Кутузов знал меня по дому дяди, графа Петра Александровича. Вошед в залу, я подошел к столу и остановился против почтенного председателя, весьма известного по своим заслугам отечеству, которого я видел в первый раз, тогда как других всех я хорошо знал и в лицо и их качества, по общему мнению публики об их достоинствах и свойствах. После нескольких секунд глубокого молчания генерал Чернышев, принявши, как видно, приятную для него обязанность допрашивать, обратился ко мне и грозно начал говорить:

— Как могли вы быть так дерзки, чтоб бунтовать против царя?

Удивленный, а не испуганный, как того, по-видимому, хотелось Чернышеву этим прямым обвинением в ужасном преступлении, без всякого предварительного со мною объяснения, я преравнодушно отвечал ему, что справедливость требует прежде доказать вину человека, а там уж обвинять; а я никогда не только не был бунтовщиком, но никогда ничего подобного не приходило мне на мысли.

— Но вы были членом тайного общества «Зеленой книги» [6].

— Да, но оно не было возмутительным актом против правительства, а еще менее против государя.

Тут стали меня спрашивать, кто были членами этого общества,— и я назвал, которых знал, а именно: князя Долгорукого, офицера главного штаба полковника Пестеля [7], Александра и Никиту братьев Муравьевых — офицеров тоже главного штаба, поручика или капитана Семеновского полка Сергея Муравьева-Апостола, гвардии офицера князя Трубецкого, полковника Глинку и двух братьев, офицеров Измайловского полка, которых фамилии никак не мог вспомнить. Тогда великий князь Михаил Павлович, положив бумагу, которую держал перед своим лицом, обернулся ко мне и сказал:

— Граф, это два брата Кавелины [8].

Такое внимание его высочества меня чрезвычайно тронуло, и я поблагодарил его самым сердечным поклоном. Тогда потребовали от меня, чтобы я назвал имена других членов этого общества; я отвечал, что, кроме тех,

кого я назвал, я не знаю никого. Тут князь Голицын придрался ко мне и возразил:

— Быть не может, чтобы вы, принадлежа к какому бы то ни было обществу, не знали всех его членов!

— Ваше сиятельство,— отвечал я,— вы сами принадлежали к некоторым мистическим обществам, а еще менее меня знаете членов этих обществ.

Князь замолчал, а Чернышев начал с слишком неделикатною манерою делать свои допросы о названных мною членах, о моих с ними сношениях, и как и когда я с ними познакомился, и с кем был в более близких сношениях; я отвечал, что с Ф. Н. Глинкою, с которым познакомился тотчас по выпуске из корпуса, по литературе, что с тех пор мы самые короткие приятели и редкий день не видимся. Из других короче всего я был знаком с Муравьевыми, которых всегда уважал за их нравственность, ум и отличную образованность, и с князем Трубецким; с другими был знаком только по обществу «Зеленой книги», а Пестеля только видал, нисколько не симпатизировал ему и ни разу с ним не говорил.

Так как я ничего не знал, даже никогда и не слыхал о существовании заговора против царя, открывшегося 14 декабря, то на этом только и кончились все допросы. Если Чернышев таким образом делал допрос человеку, о невинности которого он не мог не знать, то как же он допрашивал тех, которых вина ему была известна; говорят, он готов бы был употреблять пытку, если бы был властен, неужели это правда?

Наконец председатель комиссии сказал мне:

— Допрос ваш кончен, и вы можете отправиться к себе, только должны наперед, здесь же, дать письменные ответы на письменные вопросы, которые будут вам предложены.

Поклонясь председателю и его высочеству в. к. Михаилу Павловичу, я пошел к двери, в которую провел меня флигель-адъютант граф Адлерберг; пришед во вторую комнату, он передал меня какому-то чиновнику, который вручил мне письменные вопросы, посадил за письменный стол, снабженный всем необходимым, чтоб отвечать, и ушел из комнаты, затворив за собою дверь. Вопросы эти были повторение того, о чем меня допрашивали в комиссии.

Минут через сорок пять я был готов, подписал свое имя и фамилию; тут пришел чиновник, вручивший мне вопросы, взял их обратно с моими ответами; меня вы-

вели из комнаты и вместе с плац-майором проводили до кареты, посадили в нее и преучтиво со мною распростились.

Я приехал домой в исходе третьего часа; жена не ложилась спать и дожидалась меня; я рассказал ей все, что видел и слышал, о чем меня спрашивали и что я отвечал, несмотря на то что советом комиссии чрезвычайно строго запрещалось говорить не только что о том, что я видел и слышал, но даже и о том, что я был призван к допросу. Но, возвратясь домой, я нашел жену так сильно расстроенною, что должен был рассказать все, чтобы успокоить ее. Разумеется, мы с нею не стали никому ничего рассказывать, хотя в моем допросе ничего тайного не было.

На другой день приехал к нам Ф. Н. Глинка и сказал, что вчера же после меня допрашивали и его. Впоследствии я не только что не был тревожим, но мало и слышал о суде до его окончания, совершавшегося спустя долгое время после моего допроса.

Боже мой, сколько молодых людей, начиная с знатных фамилий, среднего дворянства и других сословий, умных, даровитых, превосходно образованных, истинно любивших свое отечество, готовых для него жертвовать жизнью, которые могли бы впоследствии по своим благородным качествам души и сердца, по уму и образованности быть усердными деятелями на пользу родного края, поборниками правды и защитниками угнетенных,— несчастным, необдуманным, несбыточным заговором и явным восстанием погубили навсегда себя и лишили отечество полезных ему слуг!

Е. П. ШТЕЙНГЕЛЬ

ВОСПОМИНАНИЕ О ДЕДЕ МОЕМ ФЕДОРЕ ПЕТРОВИЧЕ ТОЛСТОМ И МАТЕРИ МОЕЙ МАРИИ ФЕДОРОВНЕ КАМЕНСКОЙ

Деда моего, Федора Петровича Толстого, я начинаю помнить уже стариком, ему тогда было, верно, под семьдесят лет. Но он был бодрый, живой, высокого роста, очень приятного лица с остатками былой красоты.

Он приезжал к нам со своими двумя дочерьми от второго брака: Катей и Ольгой [1], уже большими девочками. Наша семья: мать, отец и мы, дети, кроме двоих старших, брата Феди и сестры Нюты, бывших уже — он в училище правоведения, а она в Екатерининском институте, жили в Петрограде на Бассейной, в одноэтажном доме с большим садом. Вот в этом-то саду я помню деда и его дочерей, сидящих на длинной доске-качалке, окруженных нами, детьми, и мамой. Они ласкали нас, но держали себя как-то принужденно, и мы их дичились. Потом помню, как мама возила нас, меня и сестру Маню, красавицу девушку, похожую на дедушку, к нему в Академию художеств, поздравлять его с именинами 17 февраля и с праздниками Рождества и Пасхи. Мне всегда казалось странным, что нас проводили в кабинет деда, а не в общие комнаты. И только потом, когда я подросла, я узнала, что моя мать была не в ладах со своей мачехой, и они не видались.

Первое время после своего замужества мама продолжала жить у отца в Академии и первые трое ее детей родились там. Дед очень любил мою мать, восхищался ее красотой; любил ходить с нею гулять по Английской набережной (это тогда было излюбленное место для гулянья); любил сам расчесывать ее чудные пепельные волосы и любовался ими. Когда родилась ее старшая дочь

Машенька, дедушка очень возился с нею: помогал маме ее купать, носил на руках и показывал всем, какая у него прелестная внучка. Когда эта Машенька умерла двух лет, он очень горевал. В это время у мамы уже была вторая дочь — Нюточка.

Вскоре после ее рождения дедушка вошел как-то к маме и вдруг стал перед нею на колена. Мама испугалась, тоже опустилась перед ним на колена и сказала: «Что вы, папенька, что случилось?» Он начал целовать ей руки и сказал: «Машенька, ты теперь замужем, у тебя семья. Я отошел на второй план, а я уже не молод, мне нужна нянька. (Ему тогда было под 60 лет.) Разреши мне жениться, Машенька! Я нашел девушку, которая хотя и много моложе меня, но согласна посвятить мне жизнь». Мама расплакалась, тоже целовала ему руки и сказала: «Да разве я могу становиться вам на дороге, мой дорогой? Разве я могу разрешать или запрещать вам? Дай Бог вам счастья». Так они и расстались. Он ушел, а мама и бабушка Надежда Петровна * еще долго плакали, не ожидая ничего хорошего от этого брака.

Вскоре дедушка ввел в дом вторую жену — Анастасию Ивановну Иванову [2]. Первая жена его, Анна Федоровна Дудина, мамина мать, была красавица с античной фигурой, настоящая Психея. Вторая жена, лет тридцати, красотой не блистала: маленького роста, с длинной талией и короткими ногами. Единственным ее украшением были прекрасные белокурые волосы.

Были ли на дедушкиной свадьбе мама и бабушка Надежда Петровна, я не знаю, думаю, что нет. Новая графиня сразу невзлюбила мою маму, и мама платила ей тем же. Между ними пошли нелады, окончившиеся тем, что мама с семьей переехала на отдельную квартиру.

Дед подпал под влияние жены, и хотя при свиданиях был всегда очень нежен, но свидания эти были нечасты. Мама продолжала по-прежнему любить дедушку и горевала от его к ней охлаждения. Бабушка Надежда Петровна тоже переехала на отдельную квартиру неподалеку от нас, и с ней мы часто виделись. У дедушки родилась двойня, два сына, которые сейчас же умерли, а впоследствии были две дочери — Екатерина и Ольга. Вскоре после ее рождения дедушка с женой уехали за границу, оставив дочерей на попечение сестры Анастасии Иванов-

* Его сестра, заменявшая маме мать. (*Примеч. автора.*)

ны, «тети Кати», как ее все звали. Она была старая дева, прекрасный человек и обожала своих племянниц.

Анастасия Ивановна была женщина умная, она воспользовалась своим, если я не ошибаюсь, трехлетним заграничным пребыванием для пополнения своего образования и, когда вернулась в Россию, говорила на французском и английском языках и могла с честью поддерживать свое новое положение. Дед видел все ее глазами. Мы редко его видели. Старшая сестра моя Нюточка, по окончании ею института, бывала у дедушки на вечерах. Она была почти ровесница Кати, его старшей дочери от второго брака.

Дедушка тогда вел открытый образ жизни. Сама я этого всего помнить не могу, потому что мне было только шесть лет. Гораздо лучше я помню дедушку Константина Петровича, отца поэта Толстого Алексея, и бабушку Надежду Петровну. Они у нас часто бывали, обедали, проводили вечера и очень ласкали нас, детей. Я часто засыпала на коленях у дедушки Кости, и он тоже часто засыпал. В таком виде мы с ним изображены в мамином карикатурном альбоме. В именины кого-нибудь из нас он всегда являлся с маленькой хорошенькой коробочкой, в которой лежали тридцать новеньких, блестящих, серебряных пятачков, и торжественно подносил их виновнику или виновнице торжества. Я помню, как я чувствовала себя настоящим Крезом, получив этот подарок.

Нас, детей, у мамы было десять человек, четверо умерли в младенчестве, а три сына и три дочери выросли. Из дочерей я была меньшая. Моложе меня были два брата, Гавриил и Павел [3]. Эти оба унаследовали от деда талант к скульптуре и живописи. Оба были художники, Ганя пейзажист, а Паша скульптор. Оба потом служили в дирекции театров, Ганя был декоратором, Паша заведовал бутафорской частью.

Отец мой, Павел Павлович Каменский, обучался сначала в Москве в пансионе Майера, затем окончил университет и отправился юнкером на Кавказ. Тогда было такое веяние. Там он был в нескольких походах пешком, имел солдатского Георгия, но до офицера не дослужился и юнкером в отставке приехал в Петербург, где занялся литературой, попал в вышедшую тогда книгу: «Сто русских литераторов». В ней был помещен его портрет и две повести: «Яков Моле» и «Танец смерти». Писал фельетоны в газете «Северная пчела» и впоследствии был театральным цензором. С мамой встретился слу-

чайно: его привел к деду его приятель Хвостов, а в это время тронулся лед на Неве, мосты были разведены, и товарищи застряли на Васильевском острове. Они несколько дней подряд заходили к дедушке, который был очень гостеприимен и любил молодежь. Мама и отец сразу полюбили друг друга. Отец не решался некоторое время делать предложения, но это как-то скоро сладилось. Дедушка был человек либеральный, не захотел препятствовать чувству своей дочери и дал согласие. Многие его родные возмущались этим и находили, что это «mesalliance» *. Одна мамина тетушка даже плюнула, когда ей сказали, что Машенька выходит замуж за литератора и сказала: «Верно, дрянь какая-нибудь!» Она в это время сватала маму за какого-то очень богатого и очень уродливого князя, с вечно холодными и мокрыми, как лягушки, руками. Венчались отец с мамой в академической церкви. Дедушка не захотел разлучаться со своей Машенькой и устроил молодых в своей квартире, благо она была большая. Мой отец был очень умен и красив собой, брюнет с чудными глазами (его мать была армянка), а мама блондинка. Их была очень красивая пара. У меня сохранился его портрет, снятый с литографии, помещенной в книге «Сто русских литераторов». Маминого молодого портрета, к сожалению, не сохранилось. Хотя художники несколько раз начинали ее портреты, но когда дедушка видел «подмалевок», он говорил: «Да разве это Машенька? Это коза». Художник обижался и не продолжал портрета.

Была одна акварель работы Брюллова у сестры Нюточки в Новороссийске на даче, но она погибла во время переворота.

Писал отец витиевато, длинными сложными предложениями на манер Марлинского, которым он увлекался. Всего этого я не помню, но слышала от мамы. Вот что я сама помню, так это его необыкновенную осведомленность в различных науках. Он массу читал, вечно рылся в разных диксионерах, и к нему можно было обращаться, как к живой энциклопедии.

Поженились мои родители в 1837 году; из Академии выехали в 40-м или 41-м. Жили очень счастливо и очень любили друг друга. Отцу очень хотелось побывать за границей. У него был брат в Лондоне на русской службе, кажется, в министерстве финансов. Тогда на

---

* мезальянс (*фр.*).

поездки за границу смотрели неодобрительно, но отец все-таки достал паспорт, отпуск и уехал в Лондон. Побыв у брата, он соблазнился, уехал в Америку и просрочил отпуск и паспорт, за что лишился места. Частных мест тогда почти не было. Бездеятельность томила его, и он стал выпивать. Мама очень этим огорчалась, и из-за этого у них бывали ссоры. Я родилась через год после его возвращения из Америки, в 1850 году. Отец называл меня американкой и Катушкой и очень любил. Пробовал он пристраиваться, но долго нигде не удерживался. Давал уроки взрослым молодым людям. Приготовлял их в университет и другие высшие учебные заведения и читал, читал без конца.

Мама начала писать и печататься уже в конце сороковых годов, когда ей было 30 лет. Кажется, первым ее произведением были повести и рассказы из жизни профессоров и служащих Академии художеств, под названием «Воспоминания города Васильева». Было много стихотворений на разные случаи, но они, сколько мне помнится, напечатаны не были. Две сказки в стихах, посвященные дедушке: «Сказка о дёдушке Январе и о бедной сиротинушке» и другая: «О мудром царе, трех царевичах и шести диковинках». Стихотворение «Мирской хлеб». Романы «Пятьдесят лет назад», где ярко и живо обрисована жизнь в доме дедушки Федора Петровича при его первой жене, когда он был молод, полон энергии и сил. Роман «Своя рубашка ближе к телу». Роман «Бабушкин внук» (был напечатан в «Ниве») [4]. Драма «Лиза Фомина» [5]. Шла на Александринской сцене в бенефис Василия Васильевича Самойлова. Имела успех, но на втором представлении Самойлов в очень драматичной финальной сцене сломал ногу, и пьеса была снята с репертуара. Драма из купеческого быта [6]. Островский, бывший на первом представлении, сказал: «С чего эта Каменская суется в мое царство?» Последним маминым произведением были ее записки, напечатанные в «Историческом вестнике». Но, к сожалению, она слишком поздно за них взялась и доведены они только до ее замужества. Ей было уже 78 лет. Она стала забывать и путать факты. Брат мой, Гавриил Павлович Каменский, у которого она жила, просил ее прекратить записки, и она согласилась, потому что писание это ее волновало и ей это было вредно. Матерьялов у нее было собрано много. Был у нее высокий узкий комодик со многими ящичками, и все они были полны разных писем, тетрадей, которыми

она руководствовалась. Этот комодик сгорел вместе с домом в маленьком имении «Медном» брата моего Гани, близ станции Чудово Новгородской губернии. Там же сгорел действительно драгоценный альбом моей матери, собранный ею, когда она жила у дедушки в Академии. В нем было несколько акварельных работ деда и других художников. Были шесть маленьких рисунков императрицы Елизаветы, жены Александра I, подаренных ею маминой сестре Лизе, когда та была в Елизаветинском институте, основанном в это время императрицей, и где она чуть не каждый ⟨день⟩ бывала. А тетка моя Лиза была вечно в лазарете и очень болела, а императрица, чтобы утешить ее, дарила ей картинки своего рисования. Из дедушкиных работ были его знаменитая смородинка, кактус, ваза синяя с медальоном посредине, в котором миниатюром нарисованы цветы и в ней букет роз. Все это так натурально нарисовано, что смородинку хотелось съесть, а розы понюхать. Были два рисунка пером скульптора Рамазанова: первый — иллюстрация к прологу «Руслана и Людмилы» Пушкина, «У лукоморья дуб зеленый»; второй — группа деревьев днем и что, вместо нее, может показаться под пьяную руку ночью. Была пастель какого-то итальянского художника «Молящаяся девушка». Портрет карандашом с мертвой маленькой маминой старшей дочери Машеньки Брюллова. Его, тоже карандашом, портрет с мертвой маминой старшей сестры Лизы, и еще много других рисунков, авторов которых я не знаю. У дедушки тогда по вечерам часто собирались художники и все рисовали за круглым столом и оставляли маме свои рисунки, а она собирала этот альбом. Всеволожский, бывший директор театров, видел его у брата Гани и пришел от него в восторг, а когда услыхал, что альбом сгорел, схватился за голову и назвал Ганю вандалом за то, что он такую драгоценность держал в таком ненадежном месте. Там же сгорели и американские записки моего отца. Он все собирался привести их в порядок, да так и не собрался. Но все это было много позже. Вернусь к моей дорогой мамочке.

Удивительная женщина была моя мать! Вечно занятая, необыкновенно талантливая, добрая, отзывчивая на всякое чужое горе, неутомимая. Она вечно за кого-нибудь хлопотала, кого-нибудь подбадривала и утешала. Всегда жила для других, и для своих близких и даже для совсем посторонних. Отец часто говорил, обращаясь к нам: «Де-

ти, вы еще не можете понимать, что за человек ваша мама, она святая!» Отец ни во что не вмешивался, читал или писал в своем уголке, когда был не совсем трезв, декламировал Шиллера, Гете, Шекспира и Пушкина. Но всегда был кроток и боготворил мать. Иногда он переставал пить на несколько месяцев, даже лет, старался пристроиться куда-нибудь, чтобы зарабатывать, но потом не выдерживал и начиналось старое. Мама упрекала его, плакала, он кротко переносил ее упреки, чувствовал свою вину, но, видимо, не был в состоянии перестать. Мне всегда было его жалко в такие времена.

Дедушка Федор Петрович не любил отца, но маме помогал, когда ей круто приходилось. За медаль на освобождение крестьян дедушка получил премию и целиком подарил ее маме. Тогда были уплачены долги, куплены разные необходимые вещи, одежда, и на некоторое время водворилось в доме благосостояние и довольство. Но вообще мы жили очень скромно и временами нуждались. Мама умела все делать: от детской обуви до шляп. Прекрасно готовила. Любила угостить друзей. Особенно ей удавались разные пироги и суп из раков. В торжественные дни, когда собирались близкие, она всегда сама готовила обед. Мама была удивительно изобретательна: из разной дряни, обрывков, лоскутков она делала прелестные вещицы. Дедушкин талант перешел к ней. К сожалению, тогда считали лишним серьезно учить женщин. Была у мамы гувернантка, очень образованная и серьезная девушка, приходил учитель французского языка Lioseun. Было так называемое домашнее воспитание. Когда ребенком мама обращалась к дедушке с просьбой показать, как рисовать, он отвечал: «Доходи сама». Вот она и доходила: сходство схватывала удивительно, а перспективы не знала. А сестер ее от второго брака, хотя у них и сотой доли не было маминых способностей, уже учили лучшие художники. Но у мамы и без учения сидел в руках дедушкин талант. Она из тряпок, ваты, драпу, меха и проволоки делала таких зверей, что они были как живые. Теперь везде продаются разные звери из драпа и плюша, но тогда этого еще и в помине не было, а мамины звери: кролики, зайцы, утки, обезьяны и свинки, производили фурор и восторг детей друзей и знакомых. Раз она сделала собачью кадриль: левретка, мопс, пудель и болонка, наряженные в пестрые платья, с шляпами на головах,

танцевали vis-à-vis * на задних лапках. Сделаны были удивительно натурально из драпа и барашка на проволочной основе. Они были выставлены в витрине на Невском, и перед ними несколько дней стояла толпа.

Но зверями мама не ограничивалась, она делала еще кукол. Да еще каких! Первая ее работа в этом роде была нянька-негритянка, больше аршина ростом, с белым ребенком на руках. Голова и руки из чего-то вылеплены и обтянуты черной лайкой. Негритянский тип вполне выдержан: яркие крупные губы, прекрасные вставленные черные глаза, волосы из черного барашка, даже ресницы были очень натурально сделаны. Одета как во Франции ходят кормилицы «нуну». На голове большой эльзасский бант [7]. Каждый палец и сами руки можно было сгибать. И так натурально она держала белого ребенка в длинном белом платье и чепчике. И можно было разжать ей руки и взять у нее ребенка. Это была уже не игрушка, а произведение искусства. Еще раз, не помню, какая фирма заказала маме для Парижской выставки двух кукол, боярина и боярыню. Матерьял весь был дан фирмой, мамина была только работа. Это был ее chef-d'oeuvre **. В пол человеческого роста, не могу сказать, из чего куклы были сделаны вчерне, вероятно из ваты и тряпок на проволоке, с париками из настоящих волос. Выкрашены были масляной матовой краской. Веки, ресницы,— все было сделано очень натурально. Даже ногти на руках были нарисованы. У боярина русые усы и бородка. Одеты в настоящие выдержанные русские боярские костюмы из парчи, бархата и атласа, где нужно — отороченные соболем. На боярыне весь вышитый бусами и каменьями с подвесками кокошник. На боярине красные вышитые сафьянные сапожки, а на голове меховая с вышитым верхом шапка. Эти куклы на выставке получили похвальный лист.

Повторяю, художник сидел в маме, и, если бы ее вовремя учили скульптуре и живописи, она наверно была бы знаменитостью! А как она вышивала, это было загляденье. Раз она вышила дедушке Константину Петровичу подушку: на небесно-голубом фоне две большие ветки сирени, белой и лиловой; на одной из них гнездышко и две колибри. Не знаю, как она умудрялась это делать, но птички ее отливали и красным, и синим,

---

* визави: друг против друга (*фр.*).

** шедевр (*фр.*).

и зеленым. И все это из головы, свое, без всякого подражания! Чайные полотенца ее работы были восхитительны. Мне она раз прислала, когда я была уже замужем на Кавказе, полотенце: на одном конце на желтом песке с травкой рылись два ярких петуха, над ними сияло яркое солнце, и была тоже вышита вязью надпись: «Куку! Реку! Пора вставать и чай попивать!» А на другом конце: на небе луна с синими лучами, два темных петуха и надпись: «Куку! Реку! Попили чайку, спите на боку!»

Когда сестра Нюта окончила институт, мама начала ее вывозить в театр и собрания. Нюта не была красавица, но очень мила, весела, грациозна и остроумна. Не долго она побыла дома, в первую же после выпуска зиму вышла замуж за артиллерийского офицера Николая Николаевича Карлинского [8]. На свадьбе были оба дедушки: и Федор, и Константин Петровичи. Я в этот день была больна, лежала в жару. Оба деда танцевали кадриль vis-à-vis и в пятой фигуре в solo выделывали фигурные па. Мне это потом рассказывали. Дедушка Константин Петрович заходил ко мне, принес большую нарядную шоколадную конфетку, положил мне под подушку и сказал: «Теперь не ешь, а когда можно будет». Мама и Нюта приходили мне показаться уже совсем одетые. Их обеих причесывал парикмахер-француз и при этом сказал: «A la place du promis j'aurais préféré la mère!» *. И действительно, мама была удивительно хороша: высокая, стройная, в бледно-лиловом шелковом платье, с косынкой Marie-Antoinette (как тогда носили) на плечах и темно-красных гранатовых цветах в прическе. Нюта, вся воздушная, тоненькая, грациозная, в вуали с флёр-д'оранжем, промелькнула передо мною как белое облачко, а мое новое белое платье так и осталось висеть на вешалке.

Вскоре после этого был юбилей дедушки Федора Петровича, и в Академии художеств ему устраивали разные овации и спектакль. Мама с утра послала ему письмо и стихотворение в роде оды. Жаль, я его забыла. Помню только, что оно так заканчивалось: «И вот уж седины блистают над светлым гения челом, а музы все его венчают век зеленеющим венком!» Еще мама, по

---

* На месте жениха я предпочел бы мать! (*фр.*)

просьбе скульптора Рамазанова, написала песню на русский лад. Эту песню я тоже не всю помню. Начиналась она так.

Я не слажу лиры строя,
Балалайку я настрою,
Русскую спою! Русскую спою!
Есть там за морем
Скульпторы, живописцы и граверы,
А Толстой наш все! А Толстой наш все!
Как за глину он возьмется,
Нимфа, барыня сомнется.
Глина, а жива! Глина, а жива!..

Дальше забыла! Там прославлялись дедушкина разносторонность и неутомимость. Сестра Нюта была на этом вечере и потом рассказывала: когда Рамазанов, одетый в русскую красную рубашку, вышел, аккомпанируя себе на балалайке, и звучно и весело пропел эту песню, раздались аплодисменты и вызовы. Аплодировала и графиня Анастасия Ивановна, но когда разнесся слух, что это исходит от мамы, она нашла, что этот номер бы неподходящий.

Все исходящее от моей матери было всегда неподходящим для ее мачехи. Как я уже говорила, дед на все глядел ее глазами и редко бывал у нас. Мы ездили к нему изредка с короткими визитами в торжественные дни, и у мамы всегда стояли слезы в глазах, когда мы от него уходили. Его дочь Екатерина Федоровна вышла замуж за профессора-окулиста Эдуарда Андреевича Юнге [9], а я около этого времени поступила в Елизаветинский институт и надолго оторвалась ото всего домашнего. Дед ни разу не был у меня в институте, а мама посещала каждую неделю.

Деда я увидела уже много лет спустя в Финляндии, где у него была дача около Выборга. Рядом с дедушкиной дачей профессор Эдуард Андреевич Юнге, его зять, выстроил себе дачу и проводил там лето. Знакомство Юнге с мамой случилось очень оригинальным образом. При женитьбе он не был представлен маме, и она не знала его. Раз она была в гостях у кого-то из своих друзей-докторов. Она была в ударе и много рассказывала об старине. Вокруг нее образовался кружок (она была прекрасная рассказчица). Вдруг к ней подошел высокий брюнет в очках и сказал: «Позвольте вам представиться, Мария Федоровна. Я до сих пор не имел этой чести, хотя несколько лет уже женат на вашей

сестре Екатерине Федоровне. Очень рад, что случай доставил мне удовольствие встретиться с вами. Надеюсь, что мы будем друзьями». И действительно, с этих пор супруги Юнге были в очень хороших родственных отношениях с мамой. Мы часто у них бывали и одно лето провели у них в Финляндии. Эдуард Андреевич был не в ладах со своей тещей. Она постоянно вмешивалась в его жизнь и старалась их с женой ссорить. Вскоре Юнге совсем перестал с ней видеться и даже заложил калитку, соединявшую их сады. Я навещала дедушку, а мама там не бывала. Посетив деда первый раз после института, я нашла в нем большую перемену. Это было в 1871 году. Он одряхлел, плохо видел, носил зеленый зонтик для защиты глаз от солнца. Заставала я его большею частью в саду. Он сидел в кресле, около кресла стоял столик и была садовая скамейка. При нем состояла чтица, молодая девушка, постоянно читавшая ему переводные романы. Он часто засыпал, но стоило прекратить чтение, сейчас просыпался. Иногда приходила графиня и давала ему какое-то лекарство. Со мной она была всегда как-то иронически-ласкова. Когда я к нему подходила и говорила: «Здравствуйте, дедушка»,— он присматривался и отвечал: «Здравствуй, милая, ты кто?» — «Я ваша внучка Катенька, дочь вашей дочери Марии Федоровны». Он ласково повторял: «Здравствуй, милая». Но видно было, что он меня не помнит и ему до меня все равно. Чтение возобновлялось, и я уходила. Сад у них был прекрасный: масса роз. Грустное впечатление я выносила из этих посещений: прежнего ласкового, отзывчивого дедушки уже не было, хотя лицо по-прежнему было ласковое и доброе. Ему тогда было за 80 лет [10].

В последний раз я его видела в 1873 году в феврале месяце, когда ездила представить ему моего жениха Леонарда Васильевича Штейнгель. Когда мы вошли, дедушка сидел в кресле, в том же зеленом зонтике, и перебирал пальцы рук. Графиня сидела в другом кресле. Я поздоровалась, поцеловала ему руку и сказала: «Дедушка, позвольте вам представить моего жениха». Он сказал: «А ты кто?» Графиня вмешалась в разговор: «Как, Теодор, разве ты не помнишь, это твоя внучка Катенька, дочь Марии Федоровны».— «Здравствуй, милая, а кто же твой жених?» — «Барон Леонард Штейнгель, дедушка». Он оживился: «Штейнгель, хорошая фамилия. Я знавал одного Штейнгеля, Владимира, декабриста» [11].— «Это мой дядя, граф»,— сказал Леонард.— «Очень рад,

поздравляю, желаю счастья». Графиня тоже поздравила. Мы поблагодарили и, посидев 1/4 часа, уехали. Больше я уже дедушки не видала. В апреле он скончался.

Моя свадьба была назначена на 15-е апреля в воскресенье. Съехались родные Леонарда, все было готово, а дедушка скончался ночью с пятницы на субботу. Я виновата перед ним: венчалась, когда он был в гробу. Очень мне было и стыдно, и неловко, и грустно. Я плакала, но свадьбу нельзя было отложить. В тот же день мы после венчания уехали. Мама разливалась в слезах и об дедушке и от разлуки со мною. С тех пор я уже не жила в Петербурге.

Муж мой служил на постройке Севастопольской железной дороги. Так что сначала мы попали в Крым. А по окончании Севастопольской переехали на Кавказ на постройку Владикавказской и ее ветвей, Екатеринодарской и Новороссийской. В Петербург я ездила гостить к маме часто, и она ко мне тоже. Но долго я не могла у нее гостить: у меня была большая семья и очень занятой муж, который не любил, чтобы я бросала семью.

Переписка между мною и мамой была деятельная, нежная. Мама так умела приласкать и ободрить письмом.

Мамочка скончалась в 1897 году восьмидесяти лет. За год до ее смерти я была у нее. Жила она в Петербурге на Петербургской стороне с братом Ганей и его женой Верой, которая любила маму как родную мать. Мама очень обрадовалась моему приезду и хотела, чтобы я спала в ее комнате, а ночью она закурила папироску (она курила с молодых лет) и, затянувшись, положила горящую папиросу на ватное одеяло. Я встала убрать папиросу, а мама испугалась меня и закричала: «Кто ты? Кто ты?» Насилу я ее успокоила. Она уже забыла о моем приезде и была ко всему равнодушна, как дедушка в Финляндии. Я проплакала всю ночь! Не было моей прежней дорогой мамочки! Куда ушли ее любовь, ласка, энергия, отзывчивость? Все унесла ужасная, злая, неумолимая старость.

Через год ее не стало!

Я не была при ее смерти и не попала даже на похороны: была жара и не могли дожидаться моего приезда с Кавказа.

Похоронена она на Смоленском кладбище, рядом со своей матерью и сестрой. Но мне писали, что там памятники разбиты и опрокинуты!

Н. О. ЛЕРНЕР

ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМУ ИЗДАНИЮ 1930 г. «ВОСПОМИНАНИЙ» М. Ф. КАМЕНСКОЙ

Марья Федоровна Каменская вышла из талантливого рода Толстых, давшего России ряд выдающихся деятелей, в особенности на литературном поприще. Дочь знаменитого скульптора, медальера и живописца, она приходилась троюродной сестрой Льву Толстому и двоюродной Алексею (автору трилогии). Сама она тоже была писательница, но все ее произведения забыты и не заслуживают воскрешения, все, кроме воспоминаний. У нас мало описаний литературного быта и еще меньше описаний быта художественного, и в числе последних видное место занимают воспоминания Каменской.

Мемуарный жанр был истинным ее призванием. Кое-что рассказанное здесь она гораздо раньше рассказала в романе «Пятьдесят лет назад» (Отеч. Записки, 1860 г.) и в двух беллетристических очерках «Знакомые. Воспоминания былого» (Время, 1861 г.), и это бесспорно самые лучшие ее работы. В романе Д. В. Григорович * признал лучшим описание быта художников, группировавшихся около Академии художеств в первых четырех десятилетиях прошлого века. Сестра мемуаристки, Е. Ф. Юнге, также оставившая очень интересные записки, говорит, что Каменская прекрасно изобразила в своих воспоминаниях их отца, графа Федора Петровича Толстого: «...в них отец наш описан так художественно, что, читая, я вижу его как живого перед собою» **. На них не совсем благоприятно отразился возраст мемуаристки, которая писала их, когда ей было гораздо за семь-

---

* «Литературные воспоминания» (Соч. изд. А. Ф. Маркса, XII, 241).

** Воспоминания Е. Ф. Юнге. М., 1914. С. 117.

десят. Ей не удалось написать столько, сколько хотелось, не удалось избежать и ошибок (нами в разных местах замеченных и исправленных). Но и в глубокой старости она сохранила живую впечатлительность, как сохранила отчетливый, ядреный язык. Она собиралась вести свои мемуары дальше, но едва ли у нее хватило бы душевных сил, чтобы исполнить это намерение. Ей сладко было рассказывать о своем детстве и девичестве, о счастливой поре своей жизни. Но за порогом брака ее жизнь почти тотчас стала сплошным горем, и, сравнивая печальную середину и конец своего жизненного пути с его безоблачным началом, она, естественно, впадала в идиллический тон и притом, как говорит ее сестра, «припоминала только то, что ей самой было более по душе» *, и старалась не приподнимать завесы, скрывавшей все тяжелое и неприглядное. Воспитанная в тепличной домашней обстановке, дочь художника, не очень чутко относившегося к социальным вопросам, рано отошедшего от общественных интересов и замкнувшегося в сфере прекраснодушного эстетизма и неопределенного гуманизма, она вступила в жизнь, многого в ней не понимая, и, сохраняя эту наивность, так и не научилась многому такому, что в следующих поколениях стало понятно всем и каждому. Женское равноправие ей и не снилось, и не мудрено, что при первом же столкновении с мужским эгоизмом она оказалась пригодной лишь на роль страдалицы: ни к чему иному ее не подготовило воспитание. Она питала внушенное ей отцом и всем ее кругом почтение к декабристам, но и царя с царицей она почитала. Благоговела перед Пушкиным, но уважала и Булгарина. Знала Венецианова, но, как большинство его современников, не могла понять, какую благотворную роль в русском искусстве играл этот забавный чудак. Она не понимала, как обидно должно было быть для ее отца покровительство царей, принижавшее большого художника до положения забавника, который за золотые табакерки и бриллиантовые перстни развлекает державных меценатов, рисуя им бабочек и цветочки. Драмы Кукольника ей казались несомненно выше драм Пушкина, и кавказские рассказы ее мужа, Каменского, наверное больше нравились ей, чем «Герой нашего времени». Словом, она была рядовой человек своей эпохи. Но это вовсе не уменьшает значения ее воспоминаний,—

---

* Воспоминания Е. Ф. Юнге. М., 1914. С. 117.

напротив, именно это придает им особенную ценность. Истории ведь важно знать, как чувствовали, чем жили не только великие деятели, торившие пути будущему, но и маленькие, простые люди, не возвышавшиеся над своей эпохой и пребывавшие всецело в ней. Голос среднего человека тоже имеет право на внимание. Каменской нельзя отказать в наблюдательности, в умении вкусно рассказать, и в досужую минуту приятно человеку иных времен послушать ее бабушкины рассказы о «милой старине», о «хорошем прошлом». К тому же она встречалась с такими интересными людьми. По страницам ее воспоминаний проходят Крылов и Гнедич, Пушкин и Булгарин, Федор Толстой и Брюллов, Клодт и Чернецовы, Осип Петров и супруги Каратыгины, мелькает, «как беззаконная комета», ее тетушка Аграфена Закревская, дразнившая своим кокетством величайшего русского поэта. Главное же — на этих страницах закреплена артистическая атмосфера, и в мелочах и анекдотах своеобразно отражается некая, вовсе не самая бесплодная, пора русского искусства.

Не все будет понятно современному читателю воспоминаний Каменской без кое-каких пояснений. К тому же она остановила рассказ на своем вступлении в брак, а ведь ей пришлось прожить после того еще долгие годы, и конечно, читатель пожелает узнать об ее дальнейшей судьбе. Постараемся удовлетворить его любопытство, насколько это позволяют находящиеся в нашем распоряжении документальные данные, к сожалению, случайные и небогатые.

«Не величавый кирасир, красавиц города кумир, не в ярком ментике повеса пленил простодушный взор» еще не испытавшей любви Машеньки Толстой. Она могла бы стать фрейлиной, но отец не допустил ее до этой чести. Понятно, что́ именно шепнул он на ухо министру двора, когда завел с ним речь о фрейлинском шифре, предназначавшемся молоденькой графине. При своей верноподданнической лояльности Толстой был верен правилам чести. Внимание, которое оказали красоте его дочери Николай I и его державная Сарра, охотно мирившаяся с разными Агарями [1], долговременными и эфемерными, и таким путем сохранявшая долю власти над супругом, испугало Федора Петровича. Его отцовское сердце тревожно забилось. Он не мог согласиться, чтобы его дочь постигла участь княжны С. А. Урусовой (княгини Радзивилл) или В. А. Нелидовой, которые именно через

фрейлинство стали царскими наложницами. И вообще близкая связь с двором вне сферы искусства и связанных с ним официальных заказов вовсе не улыбалась старому либералу. Надо отдать справедливость и самой Машеньке. Недаром она была дочь художника-демократа, насколько мог быть демократом граф и вице-президент Академии художеств, дочь академического «мастерового». Как и всякая молоденькая девушка, она, конечно, мечтала о «герое», но этот герой воплощался для нее не в образе флигель-адъютанта или камергера. И первую любовь свою она отдала писателю. Это был Нестор Кукольник, о своих отношениях к которому она сама так откровенно и трогательно рассказала.

В литературных ходячих представлениях Кукольник живет таким, каким он сделался несколько позднее, когда успел, по злому, но меткому замечанию Щербины *, «из романтического трубадура превратиться в чересчур классического чиновника и запивоху», но Машенька Толстая видела его именно в облике «романтического трубадура». Таким представил его Карл Брюллов в знаменитом портрете, где мало и внешней, и внутренней правды, но зато много увлечения и подлинно вдохновенного жара. Таким видели Кукольника почти все, кроме разве нескольких тонких, трезвых судей вроде Белинского, Пушкина, Полевого, Гоголя. Товарищ последнего по Нежинской гимназии высших наук, Кукольник появился в 1831 году в Петербурге. Некоторую известность дала ему драма «Торквато Тассо», поставленная осенью 1833 года, а через четыре месяца его сделала настоящею знаменитостью его новая драма «Рука всевышнего отечество спасла», чрезвычайно угодившая тогдашней «первенствующей» столичной публике с самим царем во главе. Николаевские «патриоты» сразу признали в Кукольнике своего поэта; первый спектакль 15 января 1834 года прошел не только под нескончаемые аплодисменты, но и под крики «ура», царь благодарил и обласкал автора **. В глазах грамотной

* «Сонник современной русской литературы».

** Рассказ Каменской о записке, будто бы присланной Кукольнику «Николаем Романовым», назначившим поэту прием, не заслуживает доверия. Такие фамильярности были вовсе не в духе Николая Павловича. Приглашение Кукольник получил на словах, через дежурного флигель-адъютанта, а на другой день, представляясь царю, дрожал от подобострастия, благоговейно выслушал высочайшие замечания и со слезами целовал царскую руку («Из воспоминаний Теобальда».— Русский архив, 1889, III, 509—511).

черни, столичных чиновников, лакействующих журналистов Кукольник затмил Пушкина. За неодобрение пьесы Кукольника было приказано закрыть самый передовой тогдашний журнал — «Московский телеграф» Н. А. Полевого. «Общественное мнение» отозвалось на это слабой эпиграммой:

Рука всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого задушила.

Поэт со своей стороны не дал остыть горячему железу и год спустя поставил новую драму «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1835 г.). В ней грохотал и рычал Василий Каратыгин (в роли Ляпунова), звучали патриотические тирады, гремели колокола, хлопали выстрелы. Лживое, официозно-льстивое «александринское» направление русской сцены и драматургии, с которым потом пришлось немало бороться Белинскому, упрочилось надолго.

Репутация Кукольника сделалась не только громкой, но прямо легендарной. «Трудно,— свидетельствует современник *,— представить для поэта и вообще для литератора славу блестящее той, какою в то время пользовался Кукольник. О личности его ходили самые разнообразные слухи, и всегда с примесью чего-нибудь поэтического. Говорили, что он красавец собою, что многие женщины и девы влюблялись в него и что он был героем самых романтических приключений». В романе А. Ф. Вельтмана «Саломея» карточный шулер надувает целый кружок любителей литературы, выдавая себя за Кукольника. Нравиться Кукольник умел. «Когда, бывало, он по нескольким часам импровизировал на фортепиано с чувством и увлечением, то нельзя было не убедиться, что в нем самом было много поэзии» **. Пушкин сразу разобрался в нем и сказал, что «в нем жар не поэзии, а лихорадки» ***, но не всякий же был так проницателен, как Пушкин.

У наивной девочки закружилась голова, и она беззаветно полюбила Кукольника. Но он не увлекся ею, да

---

* Записки В. А. Инсарского (Русская старина, 1894, февр. С. 13).

** Записки неизвестной (Е. А. Драшусовой) (Русск. вестник, 1881, сент. С. 152).

*** Там же.

едва ли мог он, холодный и рассудочный, искренно увлечься кем бы то ни было. До нас дошел мадригал, написанный им ей.

Машеньке Толстой

Не христианин я давно!
Уж мне не в праздник воскресенье,
Другое мне присуждено
Богоотступное моленье:
Не лик божественный Христа,
Не Богоматери икону,—
Иную чествует мадонну
Богоотступная мечта.
Когда ж последний день приидет,
Твой грешный раб не задрожит:
Сам Саваоф тебя увидит,
Сам Саваоф меня простит *.

О сколько-нибудь серьезном, глубоком чувстве эти посредственные стишки никак не свидетельствуют. Бедной Машеньке Толстой пришлось заковаться в броню гордости и затаить свою печаль.

Рана, нанесенная ее сердцу неудачным романом с Кукольником, успела зарубцеваться, когда на ее горизонте показался новый герой, молодой писатель, столь же скороспело знаменитый, как и Кукольник, той же напыщенно-романтической школы,— Павел Павлович Каменский, «интересный молодой человек,— рассказывает современник **,— явившийся с Кавказа с повестями à la Марлинский и с солдатским Георгием в петлице ***. Кавказский герой одержал две победы в Петербурге: одну над издававшим «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду» Краевским, который, пораженный его талантом, заплатил ему 500 рублей ассигнациями за его первую повесть; другую — над дочерью Ф. П. Толстого». Каменский родился в 1814 г. По рассказу его товарища Я. И. Костенецкого ****, «он учился в каком-то московском пансионе, где содержал его родной дядя, бывший в Москве частным приставом. По характеру был спесив и высокомерен, много о себе думал и ставил себя выше всех. Столичное поверхностное воспитание и

---

* «Щукинский сборник», вып. VII, М., 1907. С. 270.

** Панаев И. И. Литературные воспоминания. Изд. Academia, Л., 1928. С. 80.

*** Портрет его помещен во II т. сборника «Сто русских литераторов». СПб, 1841.

**** Русский архив, 1887, I. С. 109—110, 337, 338, 340.

баловство развили в нем страсть к жуированию, к общественным развлечениям, к кутежу и мотовству, что впоследствии и погубило его. Он бесспорно имел много способностей, но в университете занимался слабо, хотя и считал себя более всех знающим». Состоя студентом этико-политического (юридического) факультета Московского университета, Каменский в 1831 г. был одним из главных участников известного скандала, устроенного профессору Малову [2], но отделался сравнительно легким наказанием. Университетского курса он, однако, не окончил и, по словам Костенецкого, «за какие-то свободные разговоры был удален из университета и послан в военную службу на Кавказ». По семейному же преданию *, на Кавказ он поехал по собственному желанию «вследствие неудачного сватовства в семье Горожанских». «Это был,— характеризует его Костенецкий,— в полном смысле добрый малый, но страшный гуляка. Вся его кавказская жизнь была разгулом, но разгулом не каким-нибудь низким и грязным, а изящным. Он имел удивительную способность увлекать каждого и всех к веселому препровождению времени и, будучи сам беден, очень искусно умел выманивать и тратить чужие деньги. Где он только был, везде умел подвинуть общество к балам и обедам, к попойкам, на которых он отлично танцевал, пел, пил, ораторствовал, любезничал с дамами, одним словом, был душой общества и, будучи собой красавец, восхищал и пленял собою всех дам. Но всегда выходило так, что сначала все его полюбят, носят его на руках; но когда он всех разорит и наделает интриг, то его потом отовсюду гонят. На Кавказе он прослужил юнкером года три, получил серебряный Георгиевский крест и вышел в отставку четырнадцатым классом. После этого он жил в Петербурге, занимался литературой, писал повести в духе Марлинского...» В это-то первое время своей петербургской жизни интересный юноша с Георгием в петлице, герой кавказской войны и не нынче завтра герой литературного поприща, пленил Машеньку Толстую.

Все сулило безмятежное счастье молодым супругам. Один современник передает, что «удивлялся редкому соединению красоты в этой паре; тогда я не знал еще, что этот господин вместе с блестящей наружностью

* Записка о П. П. Каменском, составленная в 1925 г. В. К. Каменской, рожд. Юнкер. (Пушкинский дом, рукопись.)

наделен был самыми низкими свойствами» *. В литературе еще на первом месте считался Марлинский, подражателей у него было много, и Каменский был одним из самых ловких **. Его «Повести и рассказы», вышедшие в двух частях в 1838 г., упрочили его литературную репутацию среди наивной публики, у которой сходили за романистов и новеллистов с талантом и Булгарин, и Греч, и Ушаков, и Погодин. Плетнев благодушно расхвалил Каменского в «Современнике» и лишь Белинский посмеялся над его марлинизмом, над которым и впоследствии смеялся не раз ***. В 1839 г. появился роман «Искатель сильных ощущений», самое крупное произведение Каменского. Это опять-таки усердное подражание Марлинскому и в стиле, и в характерах, переполненное восклицаниями, растрепанными наигранно-лирическими отступлениями, литературными именами, и не лишенное автобиографических черт. В своем скучном, растянутом романе Каменский, впрочем, невольно, бессознательно нащупал нечто такое, что год спустя ярко определил Лермонтов в «Герое нашего времени». Белинский в «Отеч. записках» посвятил роману едкую, насмешливую статью; нашлись ограниченные люди, которые приняли ее за хвалебную ****, и в числе этих читателей был, по-видимому, и сам издатель журнала, Краевский, который старался ладить с Каменским***** и которого таким образом «подвел» Белинский.

Долго жили молодые в доме Федора Петровича, тогда вдового. Панаев ****** иронически и не без «расцветки» изображает, как устроился Каменский. У него был «очень эффектный кабинет с ярко-пунцовыми занавесами и портьерами и с ярко-пунцовою мебелью. Он писал в красных широких шальварах и в красных

* Записки В. А. Инсарского (Русск. стар., 1884, февр. С. 13).

** Сам Марлинский успел прочитать в «Библиотеке для чтения» одну его вещь и с интересом расспрашивал о нем Костенецкого (Русск. стар., 1900, ноябрь. С. 448).

*** «Пародист Марлинского Каменский,— писал Белинский в 1845 г.,— оказал русской литературе одну услугу: он своими повестями совершенно доканал славу своего образца, показав, как легко упражняться в этом роде литературы, даже не имея таланта, и, особенно, как смешон этот род».

**** Отеч. записки, 1839, кн. 12, с. 15—23; письма Белинского, под ред. Е. А. Ляцкого, т. II, с. 27.

***** При основании «Отеч. записок» Каменскому был поручен отдел художеств (Панаев, 208).

****** Стр. 162—167.

туфлях, на розовой бумаге, свои «Иаковы Моле», «Концы мира», «Фультонов», «Танцы смерти» и замышлял «Игнатия Лойолу». Приятель Брюллова и Кукольника, Каменский также бредил колоссами и с ироническою улыбкою поглядывал на тех, которые брали предметом для своих рассказов современную и обыденную жизнь...». В доме Ф. П. Толстого царила идиллия. «Направо — изящный кабинет зятя, молодого литератора, беспрестанно переходившего от чудного мира своей фантазии, от своих колоссальных героев к очаровательной действительности, к своей молодой и прелестной жене, которая, наклонившись к его плечу, улыбалась ему с бесконечной любовью; налево — кабинет тестя, отрывавшегося от своего резца и карандаша только для того, чтобы любоваться счастьем своей дочери, не уступавшей в красоте лучшим античным произведениям... В кабинете у Каменского шли горячие толки о литературе и вообще об изящных искусствах. Он передавал планы замышляемых им творений или рассказывал о том, что создает Кукольник, что замышляет Брюллов, какую они выпивку задали накануне и прочее. Марья Федоровна Каменская была одушевительницею и царицею этих вечеров... Никаких претензий, никакого стеснения, совершенное равенство, полная свобода для всех, которые переступали через этот счастливый порог, почти патриархальная простота, искренность и радушие хозяев дома... Какая заманчивая картина! Кто бы из посещавших тогда дом графа Ф. П. Толстого мог подумать, что этот прелестный артистический колорит дома и это семейное счастье — только один мираж?»

На первых порах о счастливом союзе молодой красавицы с героем-писателем «ходило много поэтических рассказов» *. Но скоро дала себя знать легкомысленная натура Каменского. По протекции тестя он устроился на службе у Дубельта, в III Отделении собственной е.и.в. канцелярии **, но прослужил недолго. Мот, кутила, лихой танцор ***, участник развеселых

* Записки Инсарского (там же).

** «Пошел в шпионы», резко выразился по этому поводу А. И. Герцен, его университетский товарищ (Соч. Герцена, ред. М. К. Лемке, II, с. 433; ср. VII, с. 293).

*** Он отлично плясал лезгинку и так увлек ею однажды Глинку и балетмейстера Титюса, что они решили вставить ее в «Руслана и Людмилу» (Записки Глинки. СПб., 1887, с. 168).

компаний, «Пашка» * Каменский стал тяготиться домашней обстановкой, стал пропадать из дому, а в конце 40-х годов и совсем пропал. «Долго,— передает Костенецкий,— не знали, куда он девался, и только года через полтора узнали, что он находится в Северной Америке, откуда наконец, промотав все деньги, он возвратился в Петербург, где только из соболезнования к его жене и тестю оставили этот его противозаконный поступок без всяких особо неприятных для него последствий». До того он еще служил, числясь переводчиком при петербургской конторе императорских театров, но «за неявку из отпуска» был уволен **. Красные деньки его в литературе также миновали. С Марлинским и марлинщиной давно было покончено, с Кукольником тоже; мелодраматические страсти, бурно-пламенные тирады, небывалые, необыкновенные пластические греки и кондитерски-сладкие итальянцы и испанцы вызывали уже не прежние восторги, а безжалостный смех; кумовские похвалы приятелей замолкли. Писатель Каменский пережил себя. Теперь он,— рассказывает Костенецкий,— «нигде не служил, жил на счет своего тестя, изредка занимался литературой и все же не оставлял давнишней своей страсти у каждого занимать денег *** и веселиться, когда хоть что-нибудь заведется в кармане. Через десять лет после этого еще раз видел я его в Петербурге, но в каком положении! Он шлялся по гостиницам и трактирам, оборванный, пьяный, и протягивал руку, прося подаяния!..» Несколько раз еще пытался он устроиться, но нигде не мог ужиться. Служил одно время в Риге по особым поручениям при генерал-губернаторе, князе А. А. Суворове, потом, во время крестьянской реформы, был мировым посредником в Литве. Умер он 13 июля 1871 г. в Спасском уезде Рязанской губернии, в семье Стерлиговых, у которых был тогда домашним учителем.

Лишь первые несколько лет прожила с ним более или

* Сообщение П. В. Шумахера («Щукинский сборник», VII, с. 270).

** Высочайшим приказом 3 февр. 1849 г.

*** Об его искусстве занимать деньги забавные анекдоты передает Д. В. Григорович в своих «Литературных воспоминаниях» (Собр. соч., изд. А. Ф. Маркса, XII, с. 259—261) и в своей записной книжке (Нива, 1901, прилож., ноябрь, с. 397—398). Щербина в «Соннике современной литературы» объяснял, что «Каменского, Павла, видеть во сне предвещает угораздиться надуть мазурика или, что называется по-московски, жулика».

менее спокойно бедная Мария Федоровна. Потом их семейная жизнь состояла из беспрестанных схождений и расхождений. Рождались дети, но Каменский не очень о них заботился. Марии Федоровне помогал старик-отец, но его помощь была недостаточна, тем более что он женился во второй раз и обзавелся новой семьей. С молодой мачехой у Марии Федоровны установились недобрые отношения. По свидетельству ее единокровной сестры, Екатерины Федоровны *, она к отцу вынуждена была «пробираться задним ходом. Я не знала причины ссоры, знала только, что моя мамаша не любит Марью Федоровну, но моя детская душа чувствовала несправедливость, ненормальность в том, что дочь тайком видается с отцом своим... И какая красавица, какая веселая, умная! Как интересно рассказывает, как крепко целует! Я любила ее всей силой души моей, а между тем что-то сковывало меня в ее присутствии; мне было чего-то стыдно, я как будто чувствовала себя из противного лагеря, я как будто изменяла кому-то, находясь с ней. Это было инстинктивное ощущение какой-то вины нашей перед ними, Каменскими. То же ощущение являлось у меня потом в отношении детей Марии Федоровны». Их было у нее шесть человек, три сына и три дочери. Старшая, Анна (1839—1893), в первом браке Карлинская, во втором Барыкова, выдвинулась как переводчица и поэтесса, интересовавшаяся исключительно социальными темами (ей принадлежит сатира «Как царь Охреян ходил богу жаловаться») [3]. Из сыновей ее немного выдвинулись Гавриил (1853—1912), пейзажист, долго прослуживший декоратором в императорских театрах и постоянно выставлявший свои работы на выставках общества русских акварелистов, и Павел (1858—1922), скульптор, учившийся в Академии художеств, в 1885 г. получивший звание классного художника и пятнадцать лет заведовавший бутафорской мастерской при императорских театрах **. Вырастить детей и вывести их в люди пришлось Марье Федоровне одной. Костенецкий, посетивший Каменского в 1850 г. и заставший его с семьей

---

* В замужестве Юнге; см. ее «Воспоминания», изд. «Сфинкс». М., 1914. С. 37—38.

** Остальные дети Каменских: Федор (1841—1891), юрист; Мария (1847—1886), в первом браке Соколова, во втором Коптева, и Екатерина (род. 1850), бывшая замужем за бар. Штейнгелем (Записка В. К. Каменской).

в нужде, «был в восторге от его милой и умной жены, которая с таким геройством переносила всевозможные лишения». Бывшей баловнице далеко не бедных родителей, «красавице, на которую нельзя было довольно налюбоваться» *, теперь приходилось добывать хлеб для своей семьи тяжелым и неверным трудом. Немало поработала она в литературе, где, впрочем, не заняла никакого положения. Не будем перечислять всех ее произведений, даже изданных отдельно: они, как мы уже сказали, справедливо забыты. Над ее стихами для детей посмеялся как-то Добролюбов **. Упомянем лишь об ее лучшем романе — «Своя рубашка ближе к телу» («Живописное обозрение», 1880 г.). Писала она и для сцены. В 1864 г. ей удалось поставить на Александринском театре драму «Лиза Фомина», но лишь выдающийся талант дебютировавшей в ней молодой актрисы А. К. Брошель спас от провала пьесу, которая так и не удержалась в репертуаре. К перу Каменскую гнала нужда, иногда заставлявшая ее браться и за рукодельные работы, которые она одно время сбывала через магазин, устроенный в пользу бедных какими-то благотворителями ***. В начале 80-х годов она была чем-то вроде няньки при детях великого князя Владимира Александровича. Но она не роптала, хранила о своем муже добрую память, какой во всяком случае не стоил этот беспутный человек ****, и тихо приближалась к кончине, последовавшей 22 июля 1898 г. Незадолго до смерти ее несколько освежило появление в печати двух крупных ее произведений — романа «Бабушкин внук», помещенного в «Ниве» 1894 г., и воспоминаний, напечатанных в том же году в «Историческом вестнике» и нами здесь воспроизводимых.

---

* Записки Инсарского (там же).

** Соч. Н. А. Добролюбова, ред. М. К. Лемке, т. III, СПб., 1912. С. 874.

*** Записки Инсарского (там же).

**** Некоторые черты П. П. Каменского она придала главному герою своего романа «Бабушкин внук», барону Аполлону Павловичу Дельгарду.

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГРМ — Государственный Русский музей
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
ИВ — Исторический вестник
Касьянов — Касьянов К. Наши чудодеи. СПб, 1875
ЛН — Литературное наследство
Пушкин в письмах — Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.— Л., 1960
РА — Русский архив
РС — Русская старина
Соллогуб — Соллогуб В. А. Повести. Воспоминания. Л., 1988
ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства
I — Толстой Ф. П. Записки графа Ф. П. Толстого, товарища президента Императорской Академии художеств./ /*РС*, 1873, № 1
II — То же./ /*РС*, 1873, № 2

ВОСПОМИНАНИЯ

(Стр. 18)

«Воспоминания» М. Ф. Каменской были в первый и единственный раз опубликованы в журнале *ИВ*, 1894 (№ 1—10, 12). Попытка их переиздания, предпринятая Н. О. Лернером в 1930 г., не осуществилась. Фрагмент гл. V «Воспоминаний», посвященный И. А. Крылову, был напечатан в кн.: И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 167—168.

Печатается по тексту первой публикации.

Редакция выражает благодарность Л. А. Глезеру за помощь в подготовке настоящего издания.

В комментариях и указателе частично использованы материалы Н. О. Лернера из неосуществленного издания 1930 г.

I

[1] *Толстой* Петр Андреевич (1645—1729) — родоначальник графов Толстых. Сенатор. Дипломат. Президент коммерц-коллегии. С 1724 г. граф. При Екатерине I член Верховного тайного совета. В 1727 г. был арестован, лишен титула и сослан в Соловецкий монастырь, где и умер. Титул возвращен его потомкам в 1760 г.

[2] То есть начальник службы снабжения. Кригс-комиссариат занимался обеспечением армии амуницией, обмундированием, медикаментами и пр.

[3] После смерти Екатерины I в 1727 г. А. Д. Меншиков предполагал выдать свою дочь Марию замуж за внука Петра I — Петра Алексеевича (Петра II).

[4] Часть сохранившихся рисунков Ф. П. Толстого, выполненных им в детстве, начиная с четырехлетнего возраста, находится в настоящее время в коллекции *ГТГ*.

[5] То есть в ученики к сапожнику.

[6] Ошибка мемуаристки: Толстой учился в Морском корпусе в 1800—1802 гг.

[7] Толстой вышел в отставку в 1804 г. в чине лейтенанта.

[8] Е. П. Янькова вспоминала о Толстом в это время: «Он был... очень моложав, не особенно красив, однако и недурен собой, но дик и застенчив, как девочка: говорил очень немного и в разговоре беспрестанно краснел... Где он служил сперва, я не знаю; но в то время он был, кажется, в отставке и все что-то такое рисовал и лепил. Мы считали его за пустого человека, который бьет баклуши; состояние имел самое маленькое, и, когда через Жукова он выведывал, отдадим ли мы за него нашу старшую дочь, которая ему нравилась, мы отклонили его предложение и не дали хода этому делу. И кто же был потом этот по-видимому пустой человек? Один из самых известных людей, с большими дарованиями, который сделал себе очень громкое имя как замечательный художник; он был потом вице-президентом Академии художеств и тайным советником» (Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. Л., 1989. С. 190).

[9] *Коммерции советник* — почетный чин, дававшийся купцам и приравненный по Табели о рангах к 8 классу.

[10] В 1820—1830-х гг. Толстой сделал 64 рисунка-иллюстрации к «Душеньке» И. Ф. Богдановича (1743—1803).

[11] Статуя, сделанная Толстым для Петергофского фонтана в 1852 г. (не сохранилась).

[12] Имеются в виду строки из 4-й главы «Евгения Онегина»:

Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого кистью чудотворной
Иль Баратынского пером,
Пускай сожжет вас божий гром!

[13] Речь идет о восковом барельефе, выполненном Ф. П. Толстым в 1812 г. «Автопортрет с семьей» (хранится в *ГТГ*).

[14] Чухонцами (чухной) называли финнов, живущих в Петербурге и его окрестностях.

II

[1] Рыболовное заведение, рыболовня.

[2] *Брыжи* — крахмальный складчатый воротник; здесь, видимо, пышное жабо.

[3] Наградное оружие ордена Анны III степени (с 1815 г. Анны IV степени).

[4] *Симпатические средства* — нетрадиционные средства лечения.

[5] *«Шпанский ветер»* — десерт со взбитыми сливками.

III

[1] *Шишков Александр Семенович* (1754—1841) — адмирал. Министр народного просвещения (1824—1828). Президент Российской академии (1813—1841). Писатель, один из основателей «Беседы любителей русского слова». Был автором ряда теоретических работ по лексикографии, причем пытался доказать общность происхождения разнокоренных слов, возвести их к некоему «праязыку».

[2] *Ромодановский* Федор Юрьевич (ум. 1717) — «князь-кесарь». Государственный деятель начала XVIII в., сподвижник Петра I. Ведал Преображенским приказом.

[3] То есть до глубокой старости. *Мафусаил* — библейский персонаж, проживший 969 лет.

[4] В спиритизме *медиум* — лицо, обладающее способностью служить посредником между миром живых людей и миром духов.

[5] Речь идет о Петре Александровиче Толстом (1769—1844) — генерале от инфантерии, члене Государственного со-

вета, дальнем родственнике Ф. П. и Н. П. Толстых. Его жена Мария Алексеевна (урожд. княжна Голицына; 1770—1826), как полагали современники, явилась прототипом княгини Марьи Алексеевны в комедии Грибоедова «Горе от ума». За Сен-При была замужем сестра М. А. Толстой — Софья Алексеевна, а значительную роль при Александре II играл сын П. А. и М. А. Толстых — Александр Петрович (1801—1873) — обер-прокурор Синода в 1856—1862 гг., близкий друг Н. В. Гоголя.

[6] То есть не на почтовых, а на собственных лошадях, которых не меняли на почтовых станциях. Долгие остановки для отдыха лошадей и дали название способу езды.

[7] О гибели брата Петра в 1809 г. при крушении фрегата «Поллукс» Ф. П. Толстой писал: «Капитан, бывший в каюте, не успел из нее выскочить и погиб первый, а брат, бывший наверху с командою, когда транспорт пошел ко дну, успел взлесть на гафель; команда также спаслась на торчащих из воды мачтах. Брат, стоя на гафеле, по пояс в воде, посадил часть команды на гребные суда, бывшие на бикштове, отправил ее на берег под начальством младшего офицера, который тоже спасся на мачте, и, приказав ему приехать за остальными, сам остался, исполняя морской устав, по которому командир, в случае погибели судна, спасается последним; а брат, после утонувшего капитана, был старшим на транспорте. Когда мичман в последний раз прибыл к месту крушения за остальной командой, брата моего уже не нашли: надо полагать, что у него от холода окостенели руки и что он, не в состоянии будучи удержаться, упал в воду. Его искали, но никак не могли найти» (*1*. С. 47).

IV

[1] *Главачевский* (Головачевский) Кирилл Иванович (1755—1823) — не генерал, а инспектор и член совета Академии художеств. История его семьи описана М. Ф. Каменской в очерке «Знакомые» («Семейство Головастовых»; см. наст. изд., с. 270). Головачевский был художником-портретистом, учеником И. П. Аргунова, другом Сумарокова, Ломоносова, Хераскова, Княжнина. Был женат на Федосье Прохоровне Гневушевой, крестнице имп. Елизаветы Петровны.

[2] *Лабзин* Александр Федорович (1766—1825) — конференц-секретарь Академии художеств. Видный масон. Издатель журнала «Сионский вестник».

[3] *Бомонд* (от фр. beau monde) — высший свет.

[4] Над серией медальонов, посвященных Отечественной войне 1812 г., Толстой работал в 1813—1836 гг. Всего им был сделан 21 медальон.

[5] *Елисавета Алексеевна* (1779—1826) — императрица, жена Александра I. Некоторые из членов Союза Благоденствия, в том числе Ф. Н. Глинка, Ф. П. Толстой и др., отводили им-

ператрице роль главы будущей конституционно-монархической России. Ф. П. Толстой вспоминал о своем первом представлении Елисавете Алексеевне в 1820 г.: «Введенный Николаем Михайловичем Лонгиновым в кабинет государыни (где уже находилась ее величество), я был поражен как простотой ее туалета, так и обстановкою кабинета. На Елисавете Алексеевне было простенькое без всякого украшения платье обыкновенной летней материи, с накинутою на шею и плечи белою батистовою косынкою, заколотою на груди простою булавкою. Кабинет императрицы был без всяких излишних украшений и роскоши, устроенный не для показа, а для настоящих занятий. Когда я подошел к императрице, чтобы поцеловать ее руку, она приняла меня с таким простосердечием и ласкою, что я не мог удержать слез от умиления. Императрица долго говорила со мною, расспрашивала о моих родителях, о моем детстве и очень подробно о том, как я сделался художником. В то самое лето я имел счастие довольно часто бывать у ее величества, так как ей угодно было знать обо всем, что я буду производить по художеству» (*II*. С. 143).

[6] Два рисунка с изображением смородины (1818—1829 гг.) хранятся в настоящее время в *ГТГ* и *ГРМ*.

[7] *Юнге* (урожд. Толстая) *Екатерина Федоровна* (1843—1913) — сестра М. Ф. Каменской, дочь Ф. П. Толстого от его второго брака с Анастасией Ивановной Ивановой (1817—1889). Оставила воспоминания (Юнге Е. Ф. Воспоминания. М., 1914).

V

[1] *Греч Николай Иванович* (1787—1867) — журналист и писатель. Вместе с Ф. П. Толстым возглавлял в 1820-е гг. «Вольное общество учреждения училищ по методе взаимного обучения» (ланкастерские школы). По оценке Толстого, Греч был «умный молодой человек, но большой болтун» (*II*. С. 134).

[2] У Н. И. Греча были сыновья: Алексей (1814—1850) и Николай (1818—1837).

[3] *Лобанов Михаил Астафьевич* (Евстафьевич) (1787—1846) — драматург, переводчик.

[4] *Булгарин Фаддей Венедиктович* (1789—1859) — писатель, журналист, издатель газеты «Северная пчела». *Гнедич Николай Иванович* (1784—1833) — поэт. Автор перевода «Илиады» Гомера, высоко оцененного современниками, и в их числе А. С. Пушкиным.

[5] *Ритурнель* (и т.) — припев (наигрыш), повторяющийся в аккомпанементе перед каждой строфой вокальной пьесы.

[6] *Тур-де-форсы* (фр.) — подвиги; здесь в значении: фокусы.

[7] «*A la aile de pigeon*» — мужская прическа последней трети XVIII в.: сильно напудренные волосы с рядами попереч-

ных локонов, закрученных над ушами. Сзади волосы стягивались лентой.

[8] В. А. Соллогуб так описывал роговую музыку: «оркестр звучности очаровательной, но мыслимый только при крепостном праве. Он состоял из сорока медных инструментов разных объемов. Каждый инструмент издавал только один звук. Сорок звуков разнородных по трехоктавной лестнице, с полутонами, как фортепианные клавиши, допускали модуляции во всех тонах и духовые, как бы воздушные гармонии. Такая живая шарманка с ее эоловыми дуновениями внушала восторг. Но какова же была участь музыканта, умевшего по расчету свистеть в неизменную дырку неизменную нотку» (*Соллогуб.* С. 371).

[9] Офицеры Кавалергардского полка, наиболее привилегированного в русской гвардии.

[10] *Яковлев Савва* Алексеевич (1811—1847) — штабс-ротмистр Кавалергардского полка. Правнук миллионера Саввы Яковлева-Собакина (1712—1784), владевшего множеством уральских заводов (Невьянским, Шуралинским, Верхне-Тагильским и др.), полотняной фабрикой в Ярославле, золотыми приисками и др. Один из богатейших людей России, С. А. Яковлев был знаменит чудачествами, дикими выходками и оргиями, которые устраивал, в частности, на своей даче на Черной речке. Одно из подобных чудачеств (ритуал, которым заканчивались попойки) стало причиной его смерти. Биограф Яковлева рассказывает: «Саввушка, ощущая порыв ко сну, хрипел: «Гроб!» В это мгновение трое слуг подходили и, взяв Яковлева вместе с креслом, на котором он сидел, относили его к дверям залы; трое других вносили ящики с шампанским, один... нес на позолоченном подносе серебряный гроб, вмещавший в себя ровно бутылку шампанского, другой на подносе же вносил пистолет, порох, пули и пистоны. Яковлев начинал заряжать пистолет... Один из лакеев откупоривал бутылку и выливал ее в гроб. Гость под поднятым над ним пистолетом выпивал гроб до дна и, поцеловав Яковлева, выходил из залы. Если же гость, будучи чересчур нагружен, осушив гроб, падал, то Яковлев, хохоча во все горло, приказывал «подобрать убитого». Это значило, что свалившегося с ног гостя лакеи укладывали в одной из спален, назначенных для гостей».

В последний раз, «как обыкновенно, слуги внесли ящики с шампанским; одновременно с знаменитым «гробом» явились еще два подноса, один с бутылкою шампанского, другой с пистолетом... Яковлев зарядил пистолет пулей и... осушил «гроб»... Затем сказал, обращаясь к своему камердинеру: «Если Угрюмов или Вадковский придут и не захотят «грроба», то я их застрелю вот так!» Потом он быстро повернул дуло пистолета к своему рту, раздался выстрел, и Савва, смертельно раненный, весь в крови, свесился с кресла, успев, однако ж, проговорить то приказание, какое он всегда отдавал: «Подобрать убитого». (Упоми-

наемый здесь Угрюмов был кузен Яковлева, доведенный последним до самоубийства; Вадковский был соперником Яковлева в любви к циркачке Людовике Слапачинской.)

Внешний облик Яковлева был мало привлекательным: «...глаза у него были темно-серые, впрочем, совершенно тусклые, прикрытые очками в довольно толстой черепаховой оправе; волосы Яковлев имел темно-каштановые, которые он то стриг под гребенку, то отпускал, не стриг волос по месяцам... Страшное, непомерное употребление вина сделало то, что Яковлев, будучи еще молодым человеком, из худощавого и довольно тоненького превратился в обрюзгшего и не то чтобы разжирел, а сделался каким-то опухлым, раздутым» (*Касьянов*. С. 221—240).

11 Описываемая гуашь «У окна в лунную ночь» (1822) хранится в *ГТГ*.

12 *Рекреация* — перемена.

13 Бюст бога Морфея был выполнен из терракоты в 1822 г. Хранится в *ГРМ* и повторен в мраморе в 1852 г. (*ГТГ*).

14 Обстановка спальни в доме Толстых послужила натурой для иллюстраций к поэме И. Ф. Богдановича «Душенька» (см. примеч. 10, гл. I).

15 *Бестужев* (Марлинский) Александр Александрович (1797—1837) — писатель, декабрист. *Рылеев* Кондратий Федорович (1795—1826) — поэт, декабрист, один из лидеров Северного общества; казнен. *Верстовский* Алексей Николаевич (1799—1862) — композитор. *Лонгинов* Николай Михайлович (1775—1853) — секретарь императрицы Елизаветы Алексеевны. *Одоевский* Александр Иванович (1802—1839) — поэт, декабрист. *Ростовцев* Яков Иванович (1803—1860) — офицер, литератор. Член Северного общества, 12 декабря 1825 г. донес в письме Николаю I о готовящемся восстании. Впоследствии видный деятель по подготовке Крестьянской реформы 1861 г., с 1858 по 1861 г.— председатель Главного комитета по крестьянскому вопросу.

16 *Закревская Аграфена Федоровна* (урожд. Толстая; 1799—1879) — двоюродная сестра Ф. П. Толстого. Предмет увлечения и адресат лирики Баратынского, Вяземского, Пушкина.

17 О своем дяде и крестном Ф. А. Толстом (1758—1849) Ф. П. Толстой вспоминал: он «...был чрезвычайно скуп всегда, где дело шло о том, чтобы пособить бедному и избавить его в крайности от совершенной погибели. Для себя, на свои сообразные с его умом прихоти, он был вовсе не скуп. Дом он имел чрезвычайно богато убранный, наполненный мрамором, бронзою и фарфором. Но между этим богатством еще заметнее бросались в глаза вздорные безделушки и вещицы, втертые ему в руки под видом древности плутами и иностранными аферистами, для которых подобные господа сущий клад... Из тщеславия граф Федор Андреевич Толстой не жалел ничего на обеды и балы, которые действительно были лучшими в

Москве, чему не препятствовала и жена. Зато за вседневным ее обедом совершенно нечего было есть. У ней я в первый раз увидел, как за обедом, вместо жаркого, подавали жаренные в масле соленые огурцы» (*I*. С. 48—49). Ф. А. Толстой был женат на Степаниде Алексеевне Дурасовой (ум. 1821), внучке И. Мясникова, сильно разбогатевшего при Петре I горнозаводчика из крестьян. Ф. П. Толстой писал о ней: «...это была женщина невероятно грязная и скупая, не знающая ни читать, ни писать — в полном смысле безграмотная, впрочем, от природы неглупая» (*I*. С. 48).

[18] Масляные лампы.

[19] Бальный танец шотландского происхождения, при котором пары непрерывно менялись местами, образуя сложные фигуры.

[20] Французский матросский танец, близкий к английской жиге. Основан на движениях, изображающих работу на корабле.

[21] *Арендт* Николай Федорович (1785—1859) — врач-хирург, лейб-медик. Руководил лечением Пушкина после дуэли с Дантесом. *Газинг* (Гассинг) Александр Иванович (1778—1844) — доктор медицины, генерал-штаб-доктор флота. Известен и как коллекционер.

[22] Знаменитое наводнение 1824 г., описанное в «Медном всаднике» Пушкина.

VI

[1] *Нанка* — грубая бумажная ткань из толстой пряжи, как правило, желтого цвета.

[2] По Табели о рангах чин 7-го класса. Ф. П. Толстой по чину лейтенанта в отставке находился в 10-м классе.

[3] *Клейнмихель* Петр Андреевич (1793—1869) — генерал-адъютант. В 1819—1826 гг. начальник штаба управления военными коллегиями. В 1832—1835 гг. дежурный генерал Главного штаба. С 1842 по 1855 г.— главноуправляющий путями сообщения. Титул графа получил лишь в 1856 г.

[4] Гуашь «Ветка крыжовника» датируется 1821 г. и хранится в *ГТГ*.

[5] Так называется не одно растение, а целое семейство пассифлоровых или кавалерниковых растений с вьющимися стеблями, распространенных главным образом в тропической Африке. Мемуаристка, возможно, имеет в виду гуашь «Цветок «Кавалерская звезда» (1828; *ГТГ*).

[6] *Мещанская*, иначе Александровская, *половина* — одно из двух учебных заведений, составлявших Смольный институт. Туда принимались дети нечиновных дворян, священников, протестантских пасторов и чиновников, получивших дворянство через выслугу.

[7] То есть крестьянка.

[8] *Пепиньерки* — воспитанницы старшего, педагогического, класса Смольного института, которые выполняли некоторые обязанности классных дам. В праздничные дни им дозволялось уезжать к родным.

[9] *Элькан* Александр Львович (1786—1868) — чиновник департамента путей сообщения. Театральный критик и переводчик. Агент тайной полиции, затем III Отделения. Один из наиболее колоритных персонажей Петербурга 1820—1860-х гг. «Почти не было ребенка,— писал о нем К. Касьянов,— который бы не знал, что под именем «Элькана» известен сутуловатый, темно-русо-кудрявый, гладко выбритый, румяный, с толстыми ярко-красными губами, с огромными, всегда оскаленными белыми зубами, смеющийся, веселый, постоянно чему-то радующийся господин в очках с черною оправою, встречаемый повсюду и почти одновременно, вечный посетитель театров, концертов, маскарадов, балов, раутов... загородных поездок, зрелищ всякого рода и сорта, господин-юла, неутомимый хлопотун, исполнитель возможных и невозможных (для деликатных и уважающих себя людей) поручений, всеобщий фактор, сводчик, знакомый всему Петербургу... владеющий превосходно французским, немецким, английским, польским и итальянским языками, умеющий болтать и на многих других языках; что же касается русского языка, то этот протей говорил на нем так чисто, так приятно, как не умеют говорить даже многие коренные русские люди; он знал все оттенки русского языка, все особенности, тонкости, все поговорки, все пословицы, все русские местные присловья, подражал всем акцентам, цокал, чокал, говорил на «о», на «а», на «е», на «я», смотря по тому, с представителем какой именно местности ему приводилось говорить. Он обладал самыми энциклопедическими познаниями: не существовало той науки, того искусства, которые не были бы ему известны, конечно, поверхностно».

Элькан был постоянным объектом карикатуристов Неваховича, Тима, Степанова и др. Характерную фигурку его можно было увидеть изображенной на вывесках, на ламповых абажурах, на фарфоровых чашках. Какой-то предприимчивый торговец фаянсовой посудой пустил в продажу ночные вазы с довольно схожим портретом Элькана. Их продажу скоро воспретили, т. к. он был изображен в форме государственного чиновника, но сам Элькан успел приобрести несколько экземпляров и потом продал их в своем приятельском кружке за десятикратную стоимость. Были в ходу также гутаперчевые статуэтки Элькана: одна, изображавшая его в светло-коричневом рединготе, со шляпою и зонтиком в руках, а другая в виде популярной в то время танцовщицы Юлии Пастраны: в андалузском костюме, с голыми ногами, выделывающими какое-то замысловатое па. «Ежедневно можно было видеть Элькана у витрины магазина, поясняющего всласть проходящим на всевозможных диалектах и с самыми забавными ужимками и кривляньями, чья это статуэтка; при этом он рекомендовал свою

личность и старался завязать с вами знакомство, что ему часто и удавалось» (*Касьянов.* С. 230—232).

Послужил прообразом Загорецкого в «Горе от ума» А. С. Грибоедова и Шприха в «Маскараде» М. Ю. Лермонтова. Был также выведен в повести Т. Г. Шевченко «Художник».

[10] *Кронштейн* — выступ в стене, подпорка, поддерживающая полку, и т. п.

[11] *Тимпан* — музыкальный инструмент, подобие литавр.

[12] Придворная горничная.

[13] *Лович* (урожд. гр. Грудзинская) Иоанна Антоновна (1795—1831). Вел. кн. Константин Павлович женился на ней после развода со своей первой женой, вел. кн. Анной Федоровной (1781—1860). Согласие на развод и вторичный брак Константина было дано при условии отказа от прав на престол. Отречение Константина держалось в тайне.

[14] Об аресте и «оправдании» Ф. П. Толстого см. с.312—316 наст. изд.

[15] У Бестужева была не одна, а три сестры: Елена (1792—1874), Мария (ум. 1889) и Ольга (ум. 1889). *Мать* — Прасковья Михайловна Бестужева (1775—1846).

[16] Кроме Павла (1808—1846) и Александра Бестужевых, в семье были еще братья Николай (1791—1855) — художник и писатель, Михаил (1800—1871) и Петр (1803—1840), все трое декабристы.

[17] История Павла Бестужева его братом Михаилом излагалась иначе: «Брат Павел воспитывался в артиллерийском училище. В последнее время он был в офицерском классе... Присутствие брата Бестужевых посреди лихорадочно потрясенной 14-м декабря молодежи было опасно. Великий князь ⟨Михаил Павлович⟩ понимал, что эта закваска рано или поздно приведет это тесто в брожение, и он изыскивал все средства выбросить эту закваску... Несколько месяцев спустя ⟨после 14 декабря⟩ великий князь, ...пробегая по офицерским дортуарам, увидел развернутую книгу на одном из столиков, помещавшихся между двумя кроватями. Он схватил книгу — то была «Полярная Звезда». Смотрит, на чем она была развернута,— это была «Исповедь Наливайки» ⟨Рылеева⟩.

— Кто здесь спит? — спросил он гневно, указав на одну из кроватей.

— Бестужев, ваше высочество! — отвечали ему.

— Арестовать его!..

...По следствию оказалось, что книга принадлежала и была читана товарищем его, спавшим на кровати по другую сторону стола. Но ясно было видно намерение правительства так или сяк удалить брата из училища. Эту скрытую идею, облеченную мраком формальностей суда, брат Павел вывел на свежую воду в своем ответе великому князю Михаилу, когда тот убеждал его сознаться в виновности.

— Ваше высочество, я сознаюсь! я кругом виноват, я должен быть наказан, потому что я — брат моих братьев.

...Он просидел около года в Бобруйской крепости и потом... был выпущен на службу... на Кавказ». (Воспоминания Бестужевых. М.— Л., 1951. С. 56—58.)

[18] Имеется в виду дом № 20 по Садовой ул., в котором Крылов жил до 1841 г. Умер он в другом доме — № 8 по 1-й линии Васильевского о-ва.

[19] *Масловский* (Мысловский) *Петр* Николаевич (1777—1846) — протоиерей Казанского собора. Член Российской академии. К арестованным декабристам относился с глубоким сочувствием. О нем см. многочисленные отзывы в записках Н. В. Басаргина, И. Д. Якушкина, Н. И. Лорера и др. декабристов.

[20] *Рылеева* (урожд. Тевяшова) Наталья Михайловна (1800—1853), во втором браке Куколевская.

[21] Письмо Елизаветы Алексеевны к имп. Марии Федоровне начиналось словами: «Notre ange est au ciel et moi surla terre» ⟨Наш ангел на небесах, а я на земле⟩ (Шильдер Н. К. Император Александр I, его жизнь и царствование. СПб., 1898. Т. 4. С. 485). Эту надпись часто вырезали в то время на траурных кольцах.

[22] Известно, что после смерти Елизаветы Алексеевны Николай I действительно собственноручно сжег ее дневники.

[23] *Плерёзы* (фр.) — белые нашивки на траурном платье.

[24] Имеется в виду «Семейный портрет» (холст, масло; 1830; *ГРМ*).

VII

[1] *Закревский Арсений Андреевич* (1783—1865) — генерал-лейтенант, министр внутренних дел в 1828—1831 гг., с 1831 г. в отставке. В 1848—1859 гг.— московский генерал-губернатор. Был женат на Аграфене Федоровне Толстой.

[2] *Красная горка* — первое воскресенье после Пасхи.

[3] *Оленин Алексей Николаевич* (1763—1843) — президент Академии художеств в 1817—1843 гг. По мнению Ф. П. Толстого, «Оленин своим управлением сделал для Академии более вреда, нежели пользы. Алексей Николаевич был слишком самонадеян в своих познаниях и слишком много верил в непогрешимость своих взглядов и убеждений» (*П.* С. 124).

[4] У Олениных были дочери Варвара (1802—1877) (за Г. Н. Олениным) и Анна (1808—1888) (в замужестве Андро де Ланжерон), а также сыновья Алексей (1798—1854) и Петр (1794—1868). А. А. Оленина была предметом увлечения и адресатом лирики Пушкина (в 1828 г. он сватался к ней, но получил отказ ее родителей).

[5] *Всеволожский Всеволод Андреевич* (1769—1836) — действительный камергер. Отец приятелей Пушкина Никиты и Александра Всеволожских, членов литературно-политического общества «Зеленая лампа». Рябово в XVIII в. принадлежало Меншикову, а затем Бирону.

[6] *Завадовская* Елена Михайловна (1807—1874), адресат лирических посланий П. А. Вяземского, И. И. Козлова и Пушкина. В «Евгении Онегине» она явилась прототипом Нины Воронской.

[7] *Шалнер* — сустав.

[8] *Статский советник* — чин 5-го класса.

[9] Описанная выходка И. П. Мартоса имела в основе своей давний конфликт его с Ф. П. Толстым. Последний вспоминал о профессорах Академии: «На меня, первого из дворян, к тому же еще с титулом графа и в военном мундире, начавшего серьезно учиться художеству и ходить в академические классы, они смотрели с каким-то негодованием как на лицо, оскорбляющее и унижающее их своей страстью к искусству; в особенности скульптор Мартос везде с насмешкой и пренебрежением говорил о моем желании быть, в одно и то же время, графом, военным и художником, чего, по его мнению, дворянину достичь невозможно» (*I*. С. 34).

[10] И. П. Мартос был сыном сотенного атамана Прилуцкого повета Петра Мартоса.

[11] *Плойные* — гофрированные.

[12] Памятник Минину и Пожарскому работы И. П. Мартоса был установлен в Москве на Красной площади в 1818 г.

[13] Имеется в виду Григорий Александрович Потемкин Таврический (1739—1791) — генерал-фельдмаршал, фаворит Екатерины II. Памятник, о котором идет речь, находился в Херсоне.

[14] *Истомина* Евдокия (Авдотья) Ильинична (1799—1848; в замужестве Якунина) — знаменитая петербургская балерина. Ей посвящены известные строки в «Евгении Онегине»:

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

[15] *«В мельники»* — карточная игра, то же, что «в дураки».

[16] *Муштабель* — легкая палочка с шариком на конце. Служит живописцу опорой при выполнении мелких деталей картины.

[17] Эта картина А. Е. Егорова называется «Истязание Христа» (хранится в *ГРМ*).

[18] *Шувалова* (урожд. кн. Шаховская) Варвара Петровна (1796—1870) — в первом браке — жена Павла Андреевича Шувалова (1777—1823), во втором — Адольфа Антоновича Полье (1795—1830), бывшего учителя, которому она купила

графский титул. В 1836 г. вышла замуж в третий раз за чрезвычайного посланника обеих Сицилий в Петербурге князя Бутера де Ридали (ум. 1841). Супруги Бутера были свидетелями при бракосочетании Е. Н. Гончаровой с Ж. Дантесом. По свидетельству А. М. Грибовского, после смерти Полье его вдова «сама не хотела жить и целый год ходила на могилу его оплакивать, но сыскался живой утешитель, который вывел из памяти мертвого» (Воспоминания и дневники А. М. Грибовского. //*РА*. 1899. I. С. 130).

[19] *Ламентации* (л а т.) — жалобы, сетования.

VIII

[1] *Чернецовы*: Григорий (1802—1865) и Никанор (1804—1879) Григорьевичи — известные художники. Наиболее значительное произведение — «Парад на Царицыном лугу» (1837; Всесоюзн. музей А. С. Пушкина), на котором представлена обширная портретная галерея знаменитостей 1830-х гг. (в их числе — Пушкин, Гнедич, Крылов и многие др.).

[2] «Николай I был хорошим чертежником и рисовальщиком. Его рисунки собраны в известной коллекции Ваттмара (*РС*. 1880, сент. С. 221); набрасывал он их легко и быстро (см.: *РА*. 1885, III. С. 421). Ф. Г. Солнцев (Воспоминания.//*РС*. 1876, Т. XVI. С. 297—298) признавал за ним известные знания и техническую сноровку. До нас дошли офорты его работы («История кавалергардов», сост. С. Панчулидзев. Т. IV. СПб, 1912. С. 60, 265). В одном старинном альбоме мы видели очень удачную карикатуру его на генерала Ф. П. Уварова». (*Примеч. Н. О. Лернера.*)

IX

[1] Возможно, Коссовская (Кайсовская) Мария Васильевна.

[2] *Барыкова Варвара Павловна* (ум. 1862) — приятельница В. А. Жуковского, посвятившего ей стихи.

[3] *Толстой Федор Иванович* «Американец» (1782—1846) — сын гр. Ивана Андреевича Толстого (род. 1747) и Анны Федоровны Майковой. Начал службу в Преображенском полку. В 1803 г. после дуэли с полковником Дризеном был отправлен родными в кругосветное плавание с экспедицией Крузенштерна (вместо Ф. П. Толстого, страдавшего морской болезнью). В плавании участвовали парусники «Надежда» и «Нева». Ф. И. Толстой плыл на первом из них, сопровождая в качестве «кавалера посольства» камергера Н. П. Резанова, назначенного посланником для заключения торгового договора с Японией.

После высадки на одном из островов, принадлежавших к русским владениям, Толстой добирался до Петербурга сухим путем. Вернувшись в 1805 г., был за свои бесчинства выписан

в Нейшлотскую крепость, где служил более 2-х лет. В октябре 1808 г. возвращен в Преображенский полк, участвовал в войне с Швецией, но вскоре за дуэли с капитаном Бруновым и А. И. Нарышкиным был посажен на некоторое время в Выборгскую крепость. В 1811 г. вышел в отставку подполковником. В 1812 г. вступил в Московское ополчение, был тяжело ранен в ногу при Бородине, произведен в полковники и награжден орденом св. Георгия IV ст. Затем жил в Москве (Сивцев Вражек, 26) и славился как бретер, кутила, картежник, тонкий гастроном. Имел обширные литературные знакомства: с Пушкиным (был посредником в сватовстве поэта к Н. Н. Гончаровой), Баратынским, Батюшковым, Жуковским, Д. В. Давыдовым. Вяземский посвятил Ф. И. Толстому стихи:

Американец и цыган,
На свете нравственном загадка,
Которого как лихорадка
Мятежных склонностей дурман
Или страстей кипящих схватка
Всегда из края мечет в край,
Из рая в ад, из ада в рай,
Которого душа есть пламень,
А ум — холодный эгоист,
Под бурей рока — твердый камень,
В волненьи страсти — легкий лист.

Ф. И. Толстого считают прототипом целого ряда литературных персонажей, в том числе Зарецкого в «Евгении Онегине» и отчасти Сильвио. Л. Н. Толстой очень интересовался своим двоюродным дядюшкой и отозвался о нем, как о «человеке необыкновенном, преступном и привлекательном». Его черты угадываются в образах графа Турбина в «Двух гусарах» и, в какой-то степени,— Долохова в «Войне и мире».

[4] В этом эпизоде, вероятно, имеется в виду плывший с экспедицией Крузенштерна иеромонах Гедеон.

[5] Видимо, речь идет о короле острова Нука-Гивы (Маркизские о-ва) Танега Кеттонове, т. к. у Сандвичевых (Гавайских) островов стоянка экспедиции была недолгой, и в записках Крузенштерна ни о каком короле этих островов не упоминается. На острове Нука-Гивы Толстой скорее всего и был татуирован.

[6] Ф. И. Толстой был высажен на Алеутские острова, за что и получил прозвище «Американец». По мнению его биографа С. Л. Толстого, это мог быть остров Ситха или Кадьяк (более вероятен первый). (См.: Толстой С. Л. Федор Толстой Американец. М., 1926.)

[7] Список умерших для поминания.

[8] На черную доску в клубах выносили нарушителей клубных правил, доступ которым в клуб отныне запрещался.

[9] Цыганку, жену Ф. И. Толстого, звали Авдотьей Максимовной Тугаевой (1796—1861). Свадьба состоялась в 1821 г.

А. М. Толстая славилась своим голосом. Трагически погибла в 1861 г.— ее зарезал собственный повар.

[10] Речь идет о Сарре Федоровне Толстой (1821—1838), любимой дочери Ф. И. Толстого. Она получила хорошее образование, отличалась исключительной одаренностью, но была больна психически. В 1839 г. в свет вышел сборник ее стихов и прозы (в переводах с немецкого и английского языков), встретивший благоприятный отзыв Белинского. Герцен в «Былом и думах» называл Сарру Толстую «необыкновенной девушкой с высоким поэтическим даром».

[11] Прасковья Федоровна Толстая (1826—1890), в замужестве Перфильева.

[12] *Фонтанели* — искусственно вызванное нагноение.

[13] Мать П. М. Волконского — Елизавета Петровна Волконская, урожд. кн. Макулова. Более вероятно, что речь идет о теще П. М. Волконского — Александре Николаевне Волконской, урожд. кн. Репниной (1756—1834), статс-даме и матери декабриста С. Г. Волконского.

[14] Прическа из гладко зачесанных волос с пучком на макушке.

[15] Орденом св. Екатерины I ст. (красная лента через плечо) великие княжны награждались при крещении.

[16] Описанный столик с росписью среди работ Ф. П. Толстого не известен. В 1834 г. им была исполнена роспись на крышке столика «Цветы и фрукты» (*ГТГ*). Сохранился также рисунок 1819 г. «Ветка сирени и канарейка» (*ГТГ*).

[17] Гуашь «Ветка липы в цвету» (1831 г.) хранится в *ГТГ*.

[18] *Венцианова* (Венецианова; урожд. Азарьева) *Марфа Афанасьевна* (1780—1831) — жена художника А. Г. Венецианова.

[19] *Башуцкий Александр Павлович* (1803—1876) — прозаик, публицист, журналист, издатель. Один из родоначальников «натуральной школы». Получил известность также его устный рассказ об убийстве генерала М. А. Милорадовича 14 декабря 1825 г. (опубл.: *ИВ*, 1908, № 1), чему Башуцкий был свидетелем, состоя при Милорадовиче в должности адъютанта.

[20] О Павле Яковлевиче Башуцком (1771—1836) Толстой отзывался как о человеке недалеком, «ничего не знавшем и ничему не учившемся, кроме фронтовой плац-парадной службы» (*I*. С. 40—41).

«Анекдотов о нем до нас дошло множество, но видно, что Башуцкий был очень себе на уме и был далеко не глупцом, а ловким придворным буффоном в стиле грибоедовского Максима Петровича». (*Примеч. Н. О. Лернера.*)

[21] Позднее посещавший вечера Толстого художник П. П. Соколов вспоминал, что гости собирались на них уже после театров и концертов. «Около 12-ти часов ночи начинали съезжаться гости, и покои графа наполнялись веселым говором, смехом и задушевною беседою. Быстро составлялся импровизированный концерт, а затем сами собою завязывались танцы,

и скромный вечер превращался в шумный бал. Известный скульптор Рамазанов, чрезвычайно подвижный и постоянно веселый человек, то садился играть на рояле, то дирижировал танцами и положительно замучивал публику своими бесконечными котильонами. Веселились мы, что называется, вовсю, и старые, и молодые одинаково сияли от истинного удовольствия. Прекрасный ужин, с обилием вина, затягивался до рассвета, после него опять танцы, а затем поиски шляп (тогда шляпы по обычаю не оставлялись в передних) и утомленные, но довольные гости шумною гурьбою высыпали на улицу» (*ИВ*, 1910, № 9. С. 413—414.).

X

[1] Балаган Лемана на Адмиралтейской площади сгорел 2 февраля 1836 г., т. е. позднее описываемых событий.

[2] *Турчанинова* Анна Александровна (1774—1848) — модная целительница в 1820—1830-х гг. В молодости писала стихи. И. М. Долгоруков вспоминал о ней как о «девушке умной, ученой» (Долгоруков И. М. Капище моего сердца. М., 1890. С. 361). *Магнетизм* — старинное название гипноза, объяснявшегося «истечением магнитных флюидов».

[3] *Месмерическое* — от месмеризма, названного так по имени врача 2-й пол. XVIII в. Месмера, лечившего с помощью «животного магнетизма».

[4] В своих записках Ф. П. Толстой оценивал Ф. В. Булгарина как «человека не глупого, хотя и плохого романиста». «Вскоре после моего с ним знакомства,— писал он,— я узнал, что Булгарин не пользовался хорошей репутацией, поэтому впоследствии я с ним совсем не сходился» (*II*. С. 134).

[5] *Фризовая* — из грубой шерстяной ворсистой ткани, напоминавшей байку.

[6] *Трубецкая Мария* Васильевна (1819—1895) — в первом браке за полковником Алексеем Григорьевичем Столыпиным (1805—1847), во втором — за св. кн. Семеном Михайловичем Воронцовым (1823—1882), сыном знаменитой Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, воспетой Пушкиным. Фрейлина двора, близкая подруга вел. кн. Марии Николаевны, и по некоторым сведениям возлюбленная вел. кн. Александра Николаевича (будущего царя Александра II), М. В. Трубецкая играла видную роль в свете и, по отзывам современников, была «олицетворением того, что в те времена называлось львицей» (*Соллогуб*. С. 509). Выведена под собственным именем в повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат».

По свидетельству А. О. Смирновой-Россет, во время лечения у Турчаниновой в Петербурге «рассказывали, что из немного кривого плеча княжны Марьи Трубецкой вылезали волоса и катились слезы» (Смирнова-Россет А. О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 191).

[7] *Царь Давид*—иудейский царь, автор библейских псалмов.

[8] *Батеман* (батман) (ф р.) — танцевальное движение.

[9] Перечислены амплуа театральных актрис (*субретка* — бойкая плутоватая служанка; *инженю* — молоденькая наивная девушка и т. д.).

[10] *Клодт* фон Юргенсбург *Петр Карлович* (1805—1867) — скульптор. Наиболее известные работы находятся в Лениграде: конные группы на Аничковом мосту (1833—1838), памятник И. А. Крылову в Летнем саду (1848—1855) и конная статуя Николая I на Исаакиевской площади (1856—1859).

[11] *Фуляровый* — из легкой и дешевой шелковой ткани.

[12] *Кукольник Нестор Васильевич* (1809—1868) — драматург и прозаик.

XI

[1] То есть одержимая видениями.

[2] Между лопаток.

[3] Пьеса Н. В. Кукольника об освобождении России от польской интервенции в нач. XVII в. Впервые была представлена в Петербурге 15 января 1834 г. в бенефис В. А. Каратыгина и благосклонно принята Николаем I, пожаловавшим автору перстень. Неодобрительно отозвавшийся о пьесе «Московский телеграф» Н. А. Полевого был закрыт.

[4] *Белосельская*-Белозерская (урожд. Козицкая) Анна Григорьевна (1773—1846).

[5] Сын К. В. Нессельроде Дмитрий Карлович (1816—1891) был женат на Лидии Арсеньевне Закревской (1826—1884).

[6] *Онёры* (от ф р. hônneur — честь, почесть); здесь: поклоны; *ригодон* — движение одноименного танца провансальского происхождения; *pas de пижон* (ф р.) — «голубиный шаг»; *pas de баск* (ф р.) — «баскский шаг», *антреша* (антраша) (ф р.) — прыжок на двух ногах, во время которого ноги, разведясь несколько раз, быстро скрещиваются.

[7] *...декламировать с анфазом...* — здесь: с пафосом.

[8] *Розен* Егор Федорович (1800—1860) — литератор, издатель альманахов «Царское Село» (1830) и «Альциона» (1831—1833), сотрудник «Литературной газеты», «Современника» и др. изд. Автор либретто оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя».

[9] *Петров Осип Афанасьевич* (1807—1878) — оперный певец, бас. Первый исполнитель партии Ивана Сусанина в опере Глинки «Жизнь за царя».

[10] *Воробьева Анна Яковлевна* (1817—1901; в замужестве Петрова) — оперная певица, контральто. Первая исполнительница партий Вани в опере Глинки «Жизнь за царя» и Ратмира в «Руслане и Людмиле».

[11] М. И. Глинка был автором музыки к драме Кукольника «Князь Холмский», написал на его слова цикл романсов «Прощание с Петербургом».

[12] *Каратыгин Василий Андреевич* (1802—1853), трагический актер. *Каратыгина* (урожд. Колосова) *Александра Михайловна* (1802—1880) — драматическая актриса.

[13] Возможно, речь идет о дочерях Елизаветы Григорьевны Чертковой (урожд. гр. Чернышевой; 1805—1858) — сестры декабриста З. Г. Чернышева и А. Г. Муравьевой, поехавшей в Сибирь за мужем-декабристом. Е. Г. Черткова была женой известного коллекционера Александра Дмитриевича Черткова (1789—1858). Их дочери: Елизавета (р. 1829; в браке кн. Голицына), Софья (р. 1831; в браке Ермолова) и Александра (р. 1834; в браке Винтулова).

[14] Дача Лавалей находилась на Аптекарском острове, на берегу Малой Невки.

[15] *Редькин* (Редкин) *Петр Григорьевич* (1808—1891) — юрист, профессор Московского университета. Летом 1835 г. находился в Петербурге, где сдавал экзамены на звание доктора прав.

XII

[1] Е. Ф. Юнге в своих мемуарных заметках, предназначенных для Л. Н. Толстого и написанных по его просьбе, вспоминала: «Моя сестра Мария Федоровна Каменская была известная в Петербурге красавица. Когда она, девушкой, гуляла под руку с отцом и им встречался император Николай Павлович, то последний осаживал лошадей и выходил из экипажа, чтобы пройтиться и побеседовать с ними, и тем ужасно сердил моего отца, который, приходя домой, говорил: «Ну нет, если он опять это сделает, я его побью» (*ЛН*. Т. 37—38. С. 642).

[2] Смысл этого эпизода кроется в обстоятельстве, хорошо известном современникам: во фрейлины в те годы нередко жаловали девушку, обратившую на себя «высочайшее внимание». Оказавшись при дворе, она становилась на более или менее длительный срок царской фавориткой, а затем выдавалась замуж за кого-либо «лично известного» императору. И жених, и родные воспринимали такое сватовство чаще всего как особую милость. Ф. П. Толстой с его независимым характером и чувством чести, как видно из рассказа, повел себя не так, как было «принято».

[3] Имеются в виду: *Екатерина* Дмитриевна (а не Ларионовна) *Кушелева* (урожд. Васильчикова; 1811—1874), жена гр. Григория Григорьевича Кушелева (1802—1855) и ее сестра Татьяна Дмитриевна (р. 1823) (в замужестве Строганова) — известная красавица.

[4] *Линейка* — экипаж с сиденьями в виде двух диванов, расположенных по долевой оси спинками друг к другу.

[5] *Куафер* (ф р.) — парикмахер.

[6] Из тонкой шерсти.

[7] Полоска ткани, пришитая изнутри к лифу и прикрывающая вырез.

[8] *Лаваль* (урожд. Козицкая) Александра Григорьевна (1772—1850) — хозяйка знаменитого салона, владелица дома на Английской набережной (ныне наб. Красного флота, д. 4). Мать княгини Е. И. Трубецкой, последовавшей в Сибирь за мужем-декабристом. В 1826 г. по Петербургу ходили слухи, что накануне 14 декабря 1825 г. А. Г. Лаваль вышивала знамя для восставших, за что была вызвана в III Отделение и там тайно высечена. Графиня Лаваль не была в описываемые годы вдовой: ее муж Иван Степанович (Жан-Франсуа) умер в 1846 г.

[9] *Сухозанет* Иван Онуфриевич (1788—1861) — генерал от артиллерии, генерал-адъютант. В 1819—1826 гг. начальник артиллерии Гвардейского корпуса, участвовал в подавлении восстания 14 декабря 1825 г. Потерял ногу в сражении при Вавре в 1831 г.

[10] В действительности бал у Юсуповых состоялся позднее, уже после гибели Пушкина, в пятницу, 26 февраля 1837 г. (См.: *Пушкин в письмах*. С. 189).

[11] *Кн. Юсупова гр. Сумарокова-Эльстон* Зинаида Николаевна (1861—1939). Ее сын, известный своим участием в убийстве Распутина — кн. Феликс Феликсович Юсупов, гр. Сумароков-Эльстон (1887—1967).

[12] Судя по письмам семьи Карамзиных, балы при дворе начинались в это время в 8 часов вечера (*Пушкин в письмах*. С. 184).

[13] Ср. в «Евгении Онегине» Пушкина:

...в умолкший, тесный круг
Подобна лилии крылатой
Колеблясь входит Лалла-Рук
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою
И тихо вьется и скользит
Звезда-Харита меж Харит.

(Лалла-Рук — поэтическое прозвище Александры Федоровны по маскарадному костюму героини Т. Мура, который она надевала в 1821 г.)

[14] *Демидова Аврора* Карловна (1808—1902) — одна из красивейших женщин своего времени, адресат многих стихотворных посланий, в том числе Вяземского и Баратынского («Девушке, имя которой было Аврора»: «Выдь, дохни нам упоеньем, соименница зари...»). Мемуаристка ошиблась: мужем Демидовой был не Анатолий, а его брат Павел Николаевич (1798—1840), после смерти которого она вышла замуж вторично, за Андрея Н. Карамзина (1814—1854), сына историка. Анатолий Николаевич Демидов (1812—1870), состоявший одно время при русском посольстве в Риме, имел титул князя Сан-Донато, пожалованный ему королем Италии; был женат на родной племяннице Наполеона I — Матильде, графине де Монфор (дочери Жерома Бонапарта).

[15] В. А. Соллогуб вспоминал об А. К. Демидовой: «Посреди

роскоши, ее окружавшей, она оставалась, насколько это возможно, проста; мне часто случалось встречать ее на больших балах в одноцветном гладком платье, с тоненькой цепочкой, украшавшей ее великолепную шею и грудь; правда, на этой цепочке висел знаменитый демидовский бриллиант-солитер, купленный, кажется, за миллион рублей ассигнациями» (*Соллогуб*. С. 444).

[16] *Плетнев* Петр Александрович (1792—1865) — литературный критик, журналист, историк литературы. Профессор, с 1832 г. ректор Петербургского университета.

[17] А. И. Теребенев первым исполнил скульптурный портрет Пушкина, но не бюст, а статуэтку. В «Художественной газете» 1837 г. Н. В. Кукольник оценивал ее так: «В голове много сходства, в самой же фигуре и костюме можно бы пожелать и большей точности, и большей простоты, но по воспоминаниям исполнять подобные условия весьма трудно» (с. 161—162). В том же 1837 г. появились скульптурные бюсты А. С. Пушкина (с посмертной маски поэта) работы С. И. Гальберга (в Петербурге) и И. П. Витали (в Москве).

[18] С этого портрета существует литография 1827 г. работы Е. И. Гейтмана.

[19] П. П. Каменский учился в Московском университете.

XIII

[1] *Дубельт Леонтий Васильевич* (1792—1862) — генерал от кавалерии. Начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением в 1839—1856 гг.

[2] Фигура Л. В. Дубельта неоднозначно оценивалась современниками. В молодости он подозревался в принадлежности к тайным обществам. А. И. Герцен в «Былом и думах» писал о нем: «Дубельт — лицо оригинальное, он, наверно, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии... Много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было».

[3] *Швальня* — помещение для шитья.

[4] Рецензия Ф. В. Булгарина на сборник П. П. Каменского появилась 22 апреля 1838 г. (№ 89) в «Северной пчеле». Рецензент, в частности, заявлял, что Каменский «имеет решительный талант» и что, «кроме Марлинского, никто так хорошо не описывал Кавказии и Загорья, как г. Каменский». «Незнаком я и не дружен с автором,— писал Булгарин,— не говорил с ним десяти минут сряду. Никогда он не печатал статей своих в моих журналах, а напротив, всегда печатал и печатает их в журналах моих неумолимых противников. Тем лучше! г. Каменский подкупил меня! Именно подкупил своими повестями».

[5] Об отношении Ф. П. Толстого к Ф. В. Булгарину см. примеч. 4 гл. 10.

[6] *Кабрируя* (от ф р.: cabrer) — поднимать на дыбы.

[7] *Поезжане* — должностные лица свадебного обряда и званые гости, сопровождавшие молодых в церковь.

ПРИЛОЖЕНИЕ

М. Ф. КАМЕНСКАЯ

ЗНАКОМЫЕ. ВОСПОМИНАНИЯ БЫЛОГО

(стр. 270)

Печатается по тексту первой публикации: Время, 1861, № 7.

Беллетризированные очерки М. Ф. Каменской имели мемуарную основу. Под городом Васильевом легко угадывался Васильевский остров, под «училищем рисования» — Академия художеств. Столь же прозрачны в большинстве случаев псевдонимы действующих лиц: Головастовы — Головачевские, Лазин — Лабзин, Момзен — Гомзин, барон Юргенс — барон Клодт и т. д.

Сопоставление текста очерков с «Воспоминаниями» дает представление о писательском приеме М. Ф. Каменской: разновременные эпизоды свободно компоновались, переносились на других персонажей, и в результате создавалось живое и занимательное повествование. При создании литературно-обобщенных образов семейства Шепотковых писательница использовала некоторые эпизоды из жизни семьи художника А. Г. Венецианова (главным образом обстоятельства кончины жены и мужа), также черты внешности их и их дочерей и некоторые особенности творчества живописца. Это послужило поводом к конфликту со старшей дочерью А. Г. Венецианова — Александрой Алексеевной (1816—1882), воспринявшей очерк Каменской как пасквиль на свою семью. «В прошлом 1861 году в июльской книжке журнала «Время»,— писала А. А. Венецианова,— появилась статья Марии Каменской под заглавием «Знакомые», в которой она хоть под именем Шепотковых, но так явно описала наше семейство, так беспощадно истерзала насмешками и ложью всю добрую память о моем отце и для своего красного словца не пощадила и моей матери, что давно таившееся в душе моей желание взяться за перо для того, чтобы как дочери вернее других написать об отце все, что знаю, разгорелось во мне еще сильнее». Результатом явились полемические «Записки» А. А. Венециановой (Алексей Гаврилович Венецианов. Статьи. Письма. Современники о художнике. Л., 1980. С. 214—235).

Несмотря на собирательный характер очерков М. Ф. Каменской, они сообщают немало примечательных подробностей — автобиографических и бытовых. Именно «Знакомых» имел в виду Д. В. Григорович, когда писал в своих «Литературных воспоминаниях»: «Академический быт того времени еще лучше моего описан в книге М. Ф. Каменской» (Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1987. С. 54).

Ф. П. ТОЛСТОЙ

ИЗ «ЗАПИСОК»

(стр. 308)

Толстой работал над «Записками» в последние годы своей жизни. Начало их — рассказ о детстве и юности — публиковалось в журнале *РС* (1873, 1—2, 4); обширные фрагменты были также включены в состав воспоминаний Т. П. Пассек «Из дальних лет». Последняя публикация осуществлялась по рукописи записок, переданной мемуаристке вдовой художника и его дочерью Е. Ф. Юнге. Позднее рукопись была утрачена.

Помещаемый отрывок печатается по изд.: Пассек Т. П. Из дальних лет. Т. 2. М., 1963. С. 382—390.

[1] *Бенкендорф* Александр Христофорович (1783—1844) — генерал-адъютант. С 1826 г. шеф жандармов и начальник III Отделения.

[2] *Глинка* Федор Николаевич (1786—1880) — поэт. Член ранних декабристских организаций.

[3] Ф. П. Толстой был арестован 15 февраля 1826 г.

[4] *В. Ф. Адлерберг* стал графом только в 1847 г.

[5] Ланкастерская система взаимного обучения заключалась в обучении старшими учениками младших чтению, письму и счету; получила название по имени своего создателя Дж. Ланкастера. Была широко распространена в России в 1-й пол. XIX в., использовалась в декабристской практике. Ф. П. Толстой вместе с Н. И. Гречем возглавлял в Петербурге «Вольное общество учреждения училищ по методе взаимного обучения».

[6] То есть декабристский Союз Благоденствия (1818—1821).

[7] П. И. *Пестель* не был офицером Главного штаба. В 1813—1821 гг., числясь в разных полках, был адъютантом П.Х. Витгенштейна. В 1821 г. получил чин полковника и стал командиром Вятского пехотного полка. Ошибка памяти Ф. П. Толстого могла быть вызвана воспоминанием об аксельбантах, которые носил Пестель: они полагались как адъютантам, так и офицерам Главного штаба.

[8] В Союзе Благоденствия состоял капитан Измайловского полка Александр Александрович Кавелин (1793—1850). О наличии у него братьев сведений не имеется.

Е. П. ШТЕЙНГЕЛЬ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕДЕ МОЕМ ФЕДОРЕ ПЕТРОВИЧЕ ТОЛСТОМ И О МАТЕРИ МОЕЙ МАРИИ ФЕДОРОВНЕ КАМЕНСКОЙ

(стр. 317)

Воспоминания Екатерины Павловны Штейнгель (урожд. Каменской; 1850 — после 1929) были написаны ею по просьбе сотрудников Государственного Литературного музея в 1929 г. Публикуются впервые, по авторской рукописи, хранящейся в *ЦГАЛИ* (ф. 1956, оп. 2, ед 21).

[1] Дочери Ф. П. Толстого от второго брака: Екатерина (в замужестве Юнге) и Ольга (в замужестве Дмитриева; 1849—1869).

[2] *Иванова* (в замужестве Толстая) *Анастасия Ивановна* (1817—1889) — дочь армейского капитана; воспитывалась в семье Ахвердовых. Брак ее с Ф. П. Толстым был заключен в 1840 г.

[3] Сыновья М. Ф. Каменской: Гавриил Павлович (1853—1912) и Павел Павлович (1858—1922).

[4] Первое опубликованное произведение М. Ф. Каменской — пьеса «Искал булавочку — нашел жену» (СПб., 1851). Очерки «Знакомые. Воспоминания былого» («Воспоминания города Васильева») были опубликованы в 1861 г. Стихотворная сказка «О дедушке Январе...» была напечатана в журн. «Народное чтение» (1859, № 6); сказка «О мудром царе...» вышла отдельным изданием (М., 1860). Роман «Пятьдесят лет назад» был помещен в журн. «Отеч. записки» (1860, № 10—12); роман «Своя рубашка ближе к телу» (первоначальное название «Непетый») был опубликован дважды: в журналах «Светоч» (1860, № 1—3) и «Живописное обозрение» (1880). Роман «Бабушкин внук» печатался в «Ниве» в 1894 г.

[5] Драма «Лиза Фомина» напечатана не была; кроме того, М. Ф. Каменская была автором пьесы «Старина» («Пантеон», 1852, № 4).

[6] «Лиза Фомина».

[7] Особой формы чепец, носившийся в Эльзасе (Франция).

[8] Анна Павловна Каменская (1839— 1893) вышла замуж за Н. Н. Карлинского в 1857 г., а по разводе с ним, в 1862 г.— за присяжного поверенного С. Л. Барыкова. Под фамилией Барыкова получила известность как поэтесса. Печаталась с 1876 г. В 1880-х гг. была близка к народовольцам, а затем к толстовцам, в частности к В. Г. и А. К. Чертковым.

[9] *Юнге Эдуард Андреевич* (1833—1898) — врач-окулист, профессор Медико-хирургической академии.

[10] Ф. П. Толстому было 88 лет.

[11] *Штейнгель Владимир* Иванович (1783—1862) — декабрист, член Северного общества. Толстой мог быть знаком с ним еще в юности, т. к. Штейнгель тоже служил во флоте.

Н. О. ЛЕРНЕР

ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМУ ИЗДАНИЮ 1930 г. «ВОСПОМИНАНИЙ» М. Ф. КАМЕНСКОЙ

(стр. 329)

В 1930 г. Комитет по популяризации художественных изданий при Государственной академии истории материальной культуры в Ленинграде планировал выпустить отдельное издание «Воспоминаний» М. Ф. Каменской. Готовил книгу известный литературовед, пушкинист Николай Осипович Лернер (1877—1934); он же был автором предисловия и комментариев. По невыясненным причинам публикация не состоялась; набор уже готовой книги был рассыпан.

Не свободная от крайностей и социологизма литературоведения 1920-х гг., в ряде случаев спорная по оценкам, статья Н. О. Лернера тем не менее представляет несомненный интерес для истории критического осмысления «Воспоминаний». Кроме того, нельзя не воздать должное попытке Лернера вернуть книгу «Воспоминаний» Каменской в живую литературу.

В наст. изд. статья Н. О. Лернера публикуется по корректурному экземпляру издания 1930 г., сохранившемуся в коллекции Л. А. Глезера (Москва).

[1] *Сарра* — жена библейского патриарха Авраама, в доме которого жила рабыня *Агарь*, взятая Авраамом в наложницы.

[2] Скандал, устроенный профессору Малову, подробно описан Герценом в «Былом и думах» (ч. I, гл 6). В результате шесть человек, и в их числе Герцен и П. П. Каменский, были посажены в карцер.

[3] Сатирическая поэма «Сказка про то, как царь Ахреян ходил Богу жаловаться» (СПб., 1883) — наиболее значительное из произведений А. П. Барыковой. Была издана анонимно в подпольной типографии «Народной воли». Приписывалась А. К. Толстому, Козьме Пруткову. Ходила в списках, использовалась в народнической пропаганде среди крестьян, многократно переиздавалась за границей. (См.: Русские писатели. 1800—1917. Биогр. словарь. Т. I. М., 1989. С. 168.)

[4] У вел. кн. Владимира Александровича (1847—1909) были дети: Кирилл (р. 1876), Борис (р. 1877), Андрей (р. 1879), Елена (р. 1882).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

Каменская М. Ф.

К18 Воспоминания/Подгот. текста, сост., вступ. ст. и коммент. В. Боковой. М.: Худож. лит., 1991. 383 с. (Забытая книга).

ISBN 5-280-01767-1

«Воспоминания» принадлежат перу М. Ф. Каменской (1817—1898), представительнице прославленного рода Толстых, дочери художника и известного медальера Ф. П. Толстого. Увлекательный рассказ об эпизодах личной жизни мемуаристки перемежается с повествованием о ее встречах с замечательными деятелями пушкинской эпохи, среди которых — Пушкин, Гоголь, Крылов, Н. В. Кукольник, Булгарин, А. Н. Оленин, Толстой «Американец», И. П. Мартос, М. И. Глинка, П. К. Клодт, Брюллов и многие другие. В «Приложении» помещена повесть писательницы, а также мемуары ее отца и дочери.

К $\frac{4702010101-168}{028(01)-91}$ КБ-3-49-91 ББК 84Р1

М. Ф. Каменская

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор *Г. Колосова*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Синицына*

Корректоры *Л. Лобанова, М. Чупрова*

ИБ № 6608

Сдано в набор 27.07.90. Подписано в печать 18.06.91. Формат 84 × × 108[1]/32. Бумага типограф. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,58. Уч.-изд. л. 22,35. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-4071. Заказ № 1094. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диапозитивы изготовлены на Можайском полиграфкомбинате В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 43

Отпечатано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28


2p.